

Алексей Л. Ковалёв

ДОМ
В
ПЕЙЗАЖЕ



ZAL Productions
2020

Ковалёв А. Л.
Дом в пейзаже
Zal Productions, 2018 – 170 стр.
ISBN : 9783966332545
Copyright © Alexey L Kovalev, 2020

Алексей Л. Ковалёв

Дом в пейзаже.

Жанне Владимировой

«Если мы наследуем землю, мы обязаны этим не «умелому администрированию», а чему-то похожему на артистическую тонкость и творческий дух».

Саймон Тагуэлл

Пейзаж.

Со скрежетом и визгом движение остановилось. Внезапным скрежетом и продолжительным визгом. Пейзаж продолжает возникать и уплывать назад, но связь разорвана. Я не перемещаюсь в нём, и нет выбора – куда податься. От меня больше ничего не зависит. Может быть так было и прежде, хотя казалось, что своим существованием как-то влияешь на события, Иногда – на людей. Что способен своими руками произвести нечто и удивить, а то и порадовать других, как и они тебя. С этим покончено, я изъят из пейзажа, он с мной больше не считается. Надо ли возвращаться? Тяжёлый вопрос. Не так уж я уверен, что смогу, даже если захочу. В конце концов, пусть плывёт, куда ему заблагорассудится. Похоже, он утратил нужду во мне. А я никогда и ни у кого ни о чём не просил.

Где же я всё-таки оказался? Где-то здесь. В моём распоряжении собственная память и та часть памяти общечеловеческой, которой я успел овладеть. Кроме того, упущенный пейзажем я продолжаю за ним наблюдать. И если ему мои новые впечатления не нужны, они всё ещё могут разнообразить это странное место, где я теперь нахожусь. Попробую порадовать самого себя или хотя бы удивить.

Он всё ещё прекрасен.

Все старания искалечить его военными действиями, беженскими лагерями, горами мусора и лишёнными красоты постройками влиятельных или незаконно обогатившихся хозяев уходят впустую. Холодно наблюдают за осквернением скалистые вершины, деревья мотают кронами, гневно рокочут воды, и затем пейзаж неспеша прожёвывает уродство, возвращаясь к первозданному величию, но и отвечая всердцах на наглость стихийными бедствиями.

Некогда в гармонии с красотой шла бурная, жизнеутверждающая возня населяющих пейзаж разумных существ. Они ведут себя по-прежнему бурно, но жизнь утверждают уже немногие. Гармония несёт урон, пробует приспособиться, искажая свою природу, теряет влияние. У большинства в ушах звуковые капли. Слушать других стало неинтересно. Неважно даже, интереснее ли то, что вливается в уши – оно, по крайней мере не требует ответа, и человек забывает язык. Но в самом деле: сколько же можно любоваться уродством!

Наука, последняя надежда, широко заметая с некоторых пор живые души, примеряя ореол святости, взялась поколебать доверие к твёрдому миру, отучить человека спотыкаться о камень на дороге, состоящий, как она утверждает, из пустоты. Но никак не

удаётся протащить сквозь него ногу, приходится спотыкаться, конца дороги не видно, торопиться некуда, беседы затихают.

И когда замедляется ход событий, оставляя незавершёнными прежние авантюры, можно, избавившись от их шума, услышать, о чём бормочут те, кто разговаривает сам с собой, кого ни понять, ни остановить; кто не желает повторять сюжеты о несбыточных местах, о радужных утопиях и мрачных дистопиях и занят единственным обитаемым местом, стараясь разглядеть эту аплатопию¹ – оп-ля-топию, как тут же поспешат её окрестить, если услышат, неутомимые балагуры

1. Разрыв.

Тем временем, миром овладевает новое поветрие.

Название его столь неблагозвучно рифмуется со способом избавления от отходов, что заставляет морщиться честного грамотея. И даже приличного аналога ему в языке не найти. Увы, многие из последних манифестаций так безжалостно раздирают ткань сознания, что речь становится неопрятной – неясно даже, кому она адресована. Но допустим, из сочувствия к прежнему благозвучию, мы выберем наименее оскорбительное для слуха слово «безликость».

Те, кто влеком делом своих изошрённых рук, и те, кто сопротивляется этому влечению, те, кто находит в нём исторический смысл, и кто прозревает в развитии событий всеобщую гибель – все имеют дело с одним и тем же явлением – стиранием различий в мире, полном многообразия. Надо бы его задержать и остановить, но никто не знает причин начавшегося распада и не надеется их отыскать. Самое впечатляющее зрелище ныне – сидящая фигура, голова которой уже не опирается на руку в глубоком раздумье, а зажата в ладонях так, что и лица не видно.

Но помимо бессилия в этой фигуре мерещится что-то ещё. Нечто пробуждающее память об уединении...

Его общественная форма одиозна. Прежние попытки её осуществить провалились и кажутся всё менее осуществимыми. Только что этот инстинкт вновь явил свой хмурый лик, как нервная реакция на рвущиеся из рук вожжи прогресса. Народы, десятилетиями спасавшиеся от ужаса последних войн с помощью разумного сосуществования, вдруг взялись заявлять о своих – ущемлённых, как оказалось, правах и стали разрывать союзы. Однако, сама идея настолько себя исчерпала, что никому не приходит в голову всерьёз её изучить. А истина, возможно, прячется как раз в её абсурдности. Она у всех на виду, только выглядит отталкивающе, потому что смотрят на неё сквозь судорожные жесты обиды и негодования, и чистый символ необходимого всем покоя и уединенности ускользает от внимания. Как и древний урок человечества, запечатлённый в библейском мифе.

Безумный, неправдоподобный проект, оскорбляющий здравый смысл и явно неосуществимый... Но если кому и испробовать его, то наверно самой юной среди стран, богатой идеями, устойчивой в государственном управлении, подвижной в общественных нововведениях и притом – самому лидеру в последнем, смущающем всех поветрии.

Выраженный в самых простых словах, замысел звучал бы так:

«Взгляните, как прекрасна, велика и богата природой наша страна. Какие разные и,

¹. Аплатопия, (греч. Απλά τοπία), простой пейзаж.

по большей части доброжелательные, трудолюбивые и талантливые люди в ней живут. Не заслужила ли эта земля любовного и бережливого ухода за собой? Так ли уж нуждаемся мы в данный момент в чрезмерной роскоши, в экзотических яствах, шумных международных перепалках, путешествиях и развлечениях? Не сможем ли потерпеть без них, пока не обретём мир в своей душе и не станем готовы предложить этот мир остальным народам?».

Оторопев от старомодной речи, немногие сразу найдут, что тут можно возразить. «А?.. Что?.. Что он сказал?», – станут спрашивать, вынув заглушки из ушей, те, кто по растерянным лицам окружающих догадался, что нечто происходит. Но будет уже не до них, как и им только что ни до чего не было дела.

Начинаться поворот должен постепенно – он опасен. Как если бы ты внезапно обнаружил, что сосед по вольеру, к которому ты в общем-то привык, который не вызывал особо нежных чувств, но и не представлял угрозы, успел тем временем превратиться в хищного зверя. Он, может быть, и сам ещё не вполне сознает, что перед ним очередная жертва, но это уже дело считанных минут. И ты понимаешь, что находиться рядом с ним значит обречь себя на растерзание. Вы уставились друг на друга в немом напряжении, которое ты стараешься, по крайней мере не усилить, медленно подвигаясь к выходу. И лишь в последний момент, уже на пороге, уловив в его глазах и дрогнувших мышцах готовность к прыжку, быстро делаешь оставшийся шаг и захлопываешь за собой дверь, в которую чудовище, возможно ударится, не одолев инерции броска. Но его судьба тебя не тревожит, нужно лишь оставить его взаперти.

С такой же степенью осторожности нации предстоит высвободить себя из удушья, постепенно снимая одно за другим многочисленные щупальцы опутавших её связей и обязательств, с тем чтобы в решительный момент, не колеблясь более, взять на себя личную судьбу и закрыть границы.

Удержать такой манёвр в секрете будет, конечно, невозможно. Хотя бы потому, что гражданам надлежит знать, что им предстоит. Но от сознания и самих граждан, и остальных жителей планеты, до которых всё же дойдут некоторые слухи, настоящая суть перемены, скорее всего, ускользнёт – слишком парадоксальна идея, и сильна привычка не доверять жестам правительств, как всего лишь очередной интриге. Привыкают уже некоторое время и к тому или иному варианту обособления – в неуклюжих формах всевозможных отказов, выходов, разрывов и возведения стен. На эту путаницу тоже смогут вероятно положиться пионеры доктрины герметизма. Но однажды дверь должна будет захлопнуться.

Для обретения географической завершённости можно предложить соседям на севере и юге пренебречь разногласиями и объединить усилия, и они, допустим, согласятся.

Новое объединение продолжит принимать всех, желающих туда попасть, но предупредит, что обратного пути не будет, по крайней мере, в течение двух-трёх поколений. Внутри продолжит поступать информация со всего мира, мир же лишится каких бы то ни было сведений о том, что происходит на севере одного из полушарий. Некоторое время будут технически выполняться поставки по уже существующим торговым соглашениям, но вскоре баланс импорта и экспорта станет постепенно склоняться в сторону ввоза, и в той степени, в какой он необходим, останется на минимальном уровне. Посольствам других стран будет велено свернуть свою деятельность, все зарубежные представительства вернутся домой, и дипломатия продолжит развиваться, как чисто

теоретический предмет. Изъяв себя из внешнего мирового процесса, Содружество откажется принимать участие в делах других стран. Просто исчезнет из виду.

В неловком положении ощутит себя космополитическая по своей сути наука: местные учёные будут располагать преимуществом знакомства с достижениями зарубежных коллег. Те же лишатся сведений о любых направлениях развития за закрытыми границами. Возможно, сокрывшиеся люди науки испытают чувство вины за такую, не совсем честную игру, но есть надежда, что остальной учёный мир отнесётся к решению сдержанно и будет терпеливо ждать изобилия новых открытий в не таком уж далёком будущем.

Единственную область, которую следовало бы оставить открытой в обе стороны, это медицинские и фармакологические исследования, если бы их удалось вывести из коммерческого оборота. Предположим, что врачи вспомнят Гипократа и откажутся от спекуляций на своих патентах. Предприниматели же, с их апокалиптическими заклинаниями о том, что без рыночной конкуренции все исследования заглохнут, раскроются наконец в своём облике непристойных зазывал.

Населению останутся гарантированными все гражданские права, кроме одного – связи с миром отныне станут односторонними. У вас будет возможность знать, как развивается жизнь ваших близких и друзей зарубежом, но сообщить им о себе и о жизни вокруг или навестить их вы больше не сможете. Тем, кому такие лишения покажутся чрезмерными, будет предложено покинуть континент заранее. Придётся повозиться с Интернетом. Но на то страна и была его изобретателем, чтобы оказаться в состоянии прибавить к мировой системе собственный «Интранет» для внутренней информации и переписать протоколы, изымающие эту информацию из внешнего обращения. Может быть и внешний мир попытается придумать какую-нибудь стену. Хотя для этого его частям пришлось бы сначала хорошенько договориться между собой, что представляется маловероятным.

Первой их реакцией наверняка будет чувство угрозы, всегда сопутствующее чьей-то повышенной секретности. Но все разведывательные усилия – тот минимум внешних средств, который ещё останется у жадных наблюдателей – опасности не подтвердят. Спутники не обнаружат ни изменений в оборонном строительстве, ни наращивания вооружений. Ощущение опасности постепенно уступит место жгучему любопытству, а поскольку все попытки его удовлетворить останутся тщетными, со временем угаснет и оно. Мир смирится с тем, что часть западного полушария скрылась от обзора, и вернётся к доколумбовым временам.

* * *

Не стоит терзать воображение, заглядывая в будущее. Проверить справедливость догадки можно будет лишь лет через пятьдесят, многих из нас уже не будет на свете, и вряд ли это взбредёт в голову тем, кто доживёт – им хватит своих забот. В остальном мире тоже грядут перемены. Они прижмут без всяких фантазий, а предсказывать их – занятие праздное.

Оправдаются ли подобные надежды, нет ли – коллизия выпорхнула откуда-то и просит отнестись к ней со вниманием. Приходится ей уступить. Не так уж часто эти бесплотные гости проявляют настойчивость. Даже если она обманывает нас, стоит потрудиться, чтобы убедить себя, что идея бесплодна.

И вот в поле зрения возникает один из тех, кого похожие мысли посещали, и кто в результате принимает некоторое участие в подготовке плана.

2. Дружеское назидание и высшая школа.

Картины будущей жизни, возникавшие по мере приближения исторической даты, не идут ни в какое сравнение со внезапным ощущением тишины, которая воцаряется этим утром. Он проводит выходные дни у приятеля и его жены в горах Вирджинии. Величественный рассвет, заливающий долину, как будто приподнимает над континентом, оставляя во мгле остальной мир. И вдруг он начинает понимать, насколько непредсказуемо должна будет измениться жизнь соотечественников.

«Всю жизнь мне хотелось встретить наставника, - думает Николас, - Теперь, когда от этих поисков пора отказаться, я, кажется, догадываюсь, что именно надеялся от него услышать: «Человечеству предстоит жить долго и, в основном, неблагоприятно. Наверно не так тяжело, как в самые мрачные времена истории, но и без утешительного приближения к совершенству. Приняв такую перспективу взамен привычного и всегда обманывающего ощущения, что через год всё изменится, может быть удастся как-то иначе, более спокойно и удовлетворительно освоиться в настоящем. Пока же ты никак не хочешь признать, что существуешь в состоянии непрерывной истерики. Она незаметно изматывает, порождает многочисленные болезни, но самое главное – мешает размышлять о действительности последовательно, в полную меру ваших, всё ещё не исчерпанных возможностей. Так что, не верь предвидениям, кроме разве тех, которые в той или иной форме намекают, что человек продолжит свой многотысячелетний путь примерно в том же обличье, которым он располагает сейчас. Все остальные предсказания, и светлые, и пугающие, рождает как раз эта глубоко прячущаяся истерика...».

Вот этих слов ему и не хватало.

Но и расслышав их наконец, он всё ещё не удовлетворён. Нигде нельзя освоиться по-настоящему, если не испытываешь воодушевления, а оно до сих пор тоже, кажется, носило истерический характер. Если начинать новую жизнь, придётся поискать для него серьёзных оснований.

- Завтракали уже? – спрашивает Маркус, который рано утром уезжал по каким-то своим делам, а теперь бесшумно вернулся.

- Только кофе. Как дороги?

Сверху спускается Елена.

- Как может быть на дорогах с утра в воскресенье? Ждешь катастроф? Я надеялся разделить воодушевление.

Ник усмехается.

- Что тебя-то так воодушевляет? – спрашивает жена.

- Много, многое, многое... Пятнадцать минут – и я открою вам обоим глаза на истинную природу воодушевления. – Маркус уходит наверх.

Они пьют кофе на террасе, висящей над крутым склоном за которым лежит долина с островками низких зданий, выходящими дорогами и другим горным перевалом вдалеке.

- Только что сам об этом думал.

- Наверно, не ты один. Но вообще он это умеет – влезть без спросу. А что у тебя?

- Что мы знаем о нём? Об этом чувстве, когда вдруг посетит неожиданный замысел, не сулящий ни славы, ни денег. И одно только сознание, что ты можешь сделать

это своими руками, поднимает в собственных глазах, придаёт уверенность, возвращает смысл существованию.

- Это ведь редко бывает, кажется. Все как-то обходятся.

- Без воодушевления можно жить, да. Умалённое достоинство. Как жизнь, лишённая творчества. Или любви. За зверьми наблюдаешь иногда – может показаться, что они счастливы, но воодушевлением это не назовёшь.

- Ты собаку никогда гулять не выводил?

- Ну, брось. Конечно они бывают возбуждены, даже сильнее, чем мы. Я не об этом говорю. Что за кофе?

- Тот же самый. Готовить не умеешь.

- Как и испытывать воодушевление, - хозяин дома возвращается. Елена уходит за свежей порцией для него и завтраком для всех.

Они познакомились давно в одной из общих компаний, но до последнего времени виделись от случая к случаю. Недавнее развитие событий объединило мужчин общей работой и обнаружило более глубокое родство. Маркус, один из тех блестящих изобретателей и предпринимателей, которые создавали в последнее время огромные мировые компании и фантастически богатели, представлял странное, промежуточное поколение русской иммигрантской общины, которая быстро рассеивалась, теряя связи с метрополией. Эти несколько тысяч, детьми привезённые в страну родителями, бежавшими от тоталитарной химеры, быстро стали американцами, сумев при этом сохранить трудно уловимый след русской культуры, не осознаваемый ими самими. Николас, начинавший карьеру как журналист, но довольно быстро ушедший в преподавание и вот уже полтора десятка лет учивший студентов языку и истории литературы, был старше и принадлежал к поколению родителей Маркуса.

Некоторое время ничто не нарушает величавый покой долины. Завершив завтрак, Ник отсаживается от стола подальше и закуривает.

- Вот любовь, да? – начинает Маркус, - Я считаю, что любить значит радовать, делать счастливым. Живёшь вместе, наслаждаешься обликом, ощущаешь родство – это счастье. Но высший восторг – видеть, как засветилось радостью лицо избранника. Разве не так? Ты об аксиархизме слышал, конечно?

- О Лесли? Слышал. Очень расположен к нему.

- Замечательно. Развивая аксиархизм, можно сказать, что изначально, беспричинное Добро с его безмерной потенцией и созидательным инстинктом – то, что способно вызвать к жизни мироздание, это и есть мысль Высшего Разума о существовании, пронизанном любовью и наполненном любящими и любимыми. И вот такой мир создан. Творца любить не получается, ты не можешь сделать Его счастливым, если Он – вся полнота. Но можно любить Сотворённое. Наверно это самый драгоценный дар и благословение данные человеку. Все остальные дары – ощущения, чувства, разум, сознание – необходимые инструменты для осуществления радостного труда любви. Я думаю, что любой акт творчества – технического, научного, художественного, духовного, философского – содержит в себе желание кого-то обрадовать. Может быть, это и называют любовью к человечеству.

Проповедь обрывается. Заметно, что Марк ещё не выговорил того, что собирался, но ему как будто не хватает решимости сделать это единым духом. Помогать ему, однако, никто не спешит.

- Самое острое переживание любви приходит вместе со встречей единственного. Одно ожидание или предчувствие этой встречи оберегает человека от одиночества. А

утрата уже обрётённого способна ввергнуть в первозданный мрак, где ещё некого и некому любить, где нет жизни, а та, которая по независимым законам природы продолжается, становится лишённой смысла, нечеловеческой, правильно я говорю?

Николас не отвечает. Он спокойно смотрит в глаза говорившему, ожидая продолжения.

- Человек – только подобие Бога, его созидательные возможности ограничены. Там где одиночество Создателя влечёт его к творению миров, земное одиночество может увлечь к отчаянию. И открывается пропасть между любовью ко всему сотворённому – чувством небесным, почти божественным и любовью к одному существу, в котором сошлись воедино все приметы мироздания – земным чувством, знакомым одному лишь человеку, который иногда способен возвести это чувство в степень, превосходящую все пределы, за что и вынужден бывает расплатиться...

Голос Маркуса обретает уверенность, даже некоторую жёсткость.

- ...Чтобы не истребить Божий дар, сберечь существование, человеку приходится совершить тяжёлое усилие и пройти этот обратный путь к нелюбви, к небытию – испытать подобие смерти. И в этом мраке, без чьей бы то ни было помощи вновь ощутить, что главное – это сама возможность любви. В древние времена человек обладал привилегией пользоваться помощью самого Творца. Иова, во всяком случае, Он сумел образумить. Нам приходится полагаться на самих себя. Возможно, Он считает нас достаточно зрелыми для такого испытания.

Теперь молчание длится так долго, что становится неловким.

- Пойду пройдуся, - говорит Николас.

- С ума сойти, до чего ты бываешь туп. Не терпится тебе излагать свои откровения? Ты даже не знаешь толком, о чём говоришь.

Марк опускает голову. Затем вновь поднимает её, но голос его звучит тише и не так уверенно, как прежде.

- Ты должна понимать, что происходит. Как ты думаешь, почему он взялся за нашу работу?

- Это его дело. Хватит того, чтобы он сам знал.

- А почему он курит по две пачки в день?

- И это тебя не касается. К чему ты клонишь?

- Ему всё равно. Для него ничего не меняется вот уже сколько лет. А он, может быть, единственный, кто способен вытянуть это наше погребённое сокровище на свет божий. Мы полны надежд, уговариваем себя, что всё будет хорошо, но чтобы осуществилось то, на что мы надеемся, этого мало. Я знаю, о чём говорю, я наблюдаю за этой бандой ярких умов, благодетелей человечества всю свою жизнь. До последнего времени я был одним из них. У них есть всё, кроме одного – они не ощущают, разучились ощущать жизнь саму по себе.

- Ты прекрасно это демонстрируешь.

- Поэтому и нужен такой как Ник. Возможно, и он уже на это не способен, но у него есть шанс.

- И ты решил взять его за шиворот, потрясти, пока не проснётся?

- Я рискую, хочу попробовать. Вот ты ближе к нему, чем все – ты знаешь какой-то другой способ? Пока, мне кажется, даже тебе это не удалось.

- Потому что нет никакого способа. Оно не так делается, не насильным вмешательством.

- Да ведь всё – насильное вмешательство! Душа моя, а смерть жены – не вмешательство?

- К этому, во всяком случае, никто рук не прикладывал.

- Откуда мы знаем, какие тут руки действуют? Может, вся моя роль тем и ограничена, чтобы запустить нашего приятеля.

- Ты в нём какого-то мессию видишь что ли?

- Нет, не мессию. Живую душу, один из наглядных и заразительных примеров, каких мы давно уже не видели. И ждать перестали.

- И ты всё это ему выкладывал?

- Ну, зачем же. С какой стати? Это его забота. Да я бы и не знал, что ему сказать. Я говорю тебе, потому что ты услышишь больше, чем я в состоянии выразить. Слава богу, что успел, пока его нет. Давай не будем больше к этому возвращаться.

* * *

Выйдя наружу, Ник с минуту размышляет, не сесть ли в машину, чтобы уехать домой. Он испытывает редкое чувство привязанности к этой паре, не сомневается во врождённой деликатности обоих, и, стало быть, неожиданное, ничем не спровоцированное обращение приятеля к запретной теме не может быть случайной оплошностью. Но разбираться в этом не хочется.

Глядя через дорогу на уходящий вверх крутой склон, он несколько раз вдыхает запах сосновой хвои и отказывается от желания сбежать. Неспеша, стараясь не поскользнуться на сухих иголках, он начинает подниматься.

Его попросили, воспользовавшись своими университетскими связями и общим знанием того, как работает высшая школа в стране, собрать представительную группу педагогов и предложить им пересмотреть академическую основу учебных программ. Он хмыкнул, было, вообразив свою неприятную, никому не знакомую персону в роли поводыря известных теоретиков, авторов исследований и опытных учителей. Но люди, взявшиеся за дело, не шутили. Они объяснили ему, что отныне всё будет развиваться немножко не так, как прежде, что неопытность его для них не секрет – все они теперь в некотором смысле неопытны, и что пришла пора набраться храбрости и опыт приобрести. А хотели они понять, почему так сокращается число студентов гуманитарных дисциплин и увеличивается армия безработных преподавателей, и придумать, как остановить этот опустошительный процесс. В их вежливой настойчивости пряталась какая-то сила, не совсем ему знакомая, но отливающая уверенностью. И когда он в последней, уже обречённой попытке выскользнуть спросил, каким чудом их выбор пал на него, ответ оказался столь же бесхитростным: им показалось, что такая идея может его увлечь.

Николас попросил неделю, пояснив, что хотел бы обдумать, достанет ли ему внешних средств и внутренних ресурсов, чтобы взяться за работу, и отсрочку получил, а вместе с ней и двух ассистентов, которые могли помочь ему с внешними ресурсами. Одним из этих временных помощников неожиданно оказался Маркус. Он, как выяснилось, и поставил приятеля в это непривычное положение.

Составляя в течение следующих нескольких дней список сохранившихся в памяти и выуженных из доступных сведений имён, начиная чуть не с Алана Блума, который уже не мог участвовать в дискуссии, но первым, кажется, забил тревогу полвека назад, Ник одновременно пробовал прикинуть, откуда же следует приступать к этой немислимой

образовательной реформе. И вдруг нашёл несколько, оставшихся не услышанными голосов, которые утверждали, что дело вовсе не в отсутствии интереса студентов к литературе, истории и остальным гуманитарным предметам и их тяге к практическим навыкам, как принято было думать. Юные умы разочаровывал способ, которым эти предметы преподавались.

Зародившееся в шестидесятые годы увлечение университетской профессуры модернистскими методами исследований завершилось их повальным интересом к разыскиванию самых удалённых, самых экзотических явлений культуры и лишило гуманитарное образование главного преимущества – служить защитой от близорукости. Сами студенты вряд ли отдавали себе отчёт в этом изъяне, но изучать историю, как бездонный колодец курьёзов и разочарований, им стало неинтересно.

Это упорное давление модернизма Николасу было хорошо знакомо. Его собственное положение в университете удерживалось лишь благодаря скромному, но устойчивому интересу учащихся к его семинарам. Объединив эти, едва слышимые голоса, можно было попытаться ситуацию изменить.

Пять с половиной тысячелетий люди влекли казавшееся всем вразумительным существование, наполненное замечательными достижениями практического и духовного изобретательства, пока не довели свои чувства до нового, перестроившего всё мироощущение осознания места человека во Вселенной. Все прежние представления собрались в фокус, и открылась прямая связь сына человеческого с самой основой мироздания. Впервые возникло ощущение перспективы, сколь бы многоликой и, по большей части, фантастической она ни выглядела.

Следующие полтора тысячелетия человечество разбиралось с этим своим положением в мире и в результате пришло к выводу, что новая роль в космосе требует соответствующего выражения человеческого места в земном устройстве. Если каждый наделён персональными правом и ответственностью перед Творцом, то не следует нашим ближним отнимать у нас эти права и пренебрегать собственной ответственностью.

Можно было бы, взяв за основу описанную выше прогрессию, предположить, что следующее прозрение наступит скорее. Но это ошибка нетерпения. Любая истина, даже утвердившись в сознании большинства, продолжает существовать лишь как скрытое требование и в реальной жизни осуществляется только время от времени, скудно и медленно. Осваивая новые представления о самом себе, человечество продолжает влачить житейское существование, а оно порождает незнакомые обстоятельства, которые осложняют работу над собой.

Спустя всего сто лет после выдающегося прозрения о правах человека, которое ему вручило Просвещение, человечество, оглушённое внезапным взрывом научных открытий и технологических достижений, быстро последовавшего за ними массового производства и необходимостью устройства огромной части населения, оказавшейся не у дел, растерялось. Отложив на время способность к глубокому мышлению, оно поспешно сочинило систему идей, показавшихся верными, поскольку они хоть как-то объясняли происходящие перемены и как будто позволяли с ними справиться. На самом деле эта система, получившая имя «идеологии» и представлявшая собой искусственную подмену необходимого истинного мышления – философии, породила целый ряд новых неожиданных и разрушительных событий в виде мировых войн, мирового масштаба революций, массовых политических противостояний, усугублённых ядерной угрозой и разрушительных экономических кризисов.

Следовало бы отдать дань удивительной жизнеспособности человечества, которому удаётся, преодолевая подобные несчастья, продолжать влачить своё существование. Но вот всего лишь через век с небольшим, кое-как совладав с минувшими потрясениями, мы уже готовы были наступить на те же грабли. На этот раз кризис опять связан со стремительным прорывом в области науки и технологии, влекущим за собой развитие информационной лавины, автоматизации производства, глобализации экономики, вопиющего финансового и экономического неравенства и огромного количества людей, вновь остающихся не у дел.

И уже заметны были попытки создания новой идеологии, объясняющей и оправдывающей необходимость именно такого развития событий. Она ввела такие свежие категории, как «рыночный мир» – вместо общего мира, «временная нищета» – вместо неравенства, «частность проблем» – вместо структурных и системных изъянов, «узкая сосредоточенность» – вместо общей перспективы и тому подобные приёмы овладения ситуацией. Более того, теперь силы, главенствующие в процессе разработки технологических, производственных и коммерческих новшеств, стремительно разбогатевшие и продолжавшие обогащаться, прямо заявляли свои права на управление обществом, поскольку именно им, как они утверждали, известны способы решения всех проблем, и, раз у них пробудилась совесть, они лучше чем кто бы то ни было подготовлены к тому, чтобы эти решения провести в жизнь, опираясь на успешный опыт своего предпринимательства.

Это новое поколение, не ведая того, продолжало долгую, принёсшую человечеству неисчислимы бедствия традицию тех, кто «знает, как надо» – социальных доктринёров, религиозных фанатиков, националистических вождей и диктаторов. В данном случае речь шла по существу об устаревшей и отжившей с их точки зрения форме государственного управления, да и самого государства, то есть – о своего рода мирной революции и общей власти новой просвещённой аристократии, которая действительно одарила мир замечательными изобретениями, преуспела в техническом и коммерческом умении делать огромные деньги, но пропустила мимо своих глаз и ушей всю мировую культуру.

Им и должны мы были доверить попечение о человечестве.

Первое подозрение вызывало то обстоятельство, что выращена была эта многочисленная когорта активным сотрудничеством (несмотря на святую конкуренцию) наследников прежних крупнейших собственников и финансистов и воспитана на «Евангелии богатства» – знаменитом манифесте отца филантропии Эндрю Карнеги. Но если воспитателей трудно было заподозрить в особой любви к ближнему, новое поколение стало испытывать некое подобие угрызений совести – что как будто уже привело к возникновению множества благотворительных инициатив самого полезного, даже международного характера, и этот благородный оттенок способен был расположить к нему уставшее население, вводя его в заблуждение относительно духовных и интеллектуальных возможностей новых идеологов.

За их сочувствием и благожелательностью прятались высокомерие и унижающая снисходительность, которых сами они не сознавали, не удосужившись познакомиться с опытом человечества. Они несомненно слышали о том, что существуют благо, совесть, достоинство, но очень смутно представляли себе, как всё это осуществляется в жизни. Так причудливо выглядело новое высокотехнологичное варварство.

Если верить истории, быть может его приход неизбежен и даже приведёт в далёкой перспективе к необходимым преобразованиям – если, конечно, культура сумеет устоять, терпеливо образумить и просветить дикарей. К осознанию этой нелёгкой правды и

удалось в результате прийти, благодаря ли случайному влиянию светлых и готовых действовать умов или Провидению – что, в сущности, может быть одно и то же.

Стране предстояло, избавившись от внешних влияний, чуть подождав, пока выветрятся ложные представления о социальном устройстве, неспеша побродить по «пустыне» – которая на свежий взгляд оказалась богатым и многообещающим краем в западном полушарии – возвращая, тем временем, поколениям позабытую мудрость.

Он стоит на гребне горы, неподалёку от станции подъёмника, откуда начинается долгий спуск в долину. Поверху его сопровождают тросы с зависшими, неподвижными сидениями. По сторонам спуска на равном расстоянии торчат снегодувы, поддерживающие во время сезона устойчивый покров – к радости любителей горных лыж. До сезона ещё далеко, но пейзаж не кажется пустынным, он сохраняет память об оживлённом перемещении вверх и вниз потока лыжников, этих неутомимых поклонников быстрого скольжения и медленного подъёма, открывающего мир с высоты птичьего полёта.

Этот опыт ему незнаком. Разглядывая покачивающиеся на ветру люльки, покрытую сухой травой землю под ними и вслушиваясь в весёлые голоса и гул лебёдок, оставшиеся висеть в воздухе с прошлой зимы, он воображает, что мог бы, в конце концов, испытать и его. Почему бы нет... Подниматься, обнявшись на тесном сиденьи, и затем падая и поднимая друг друга на ноги, долго скользить в пологую бездну к горящему камину и рюмке граппы... Но некоторые вещи остаются за пределами обзора. Как Венеция, куда он не поедет теперь, даже если пустят. Нет, это не тема для беседы о воодушевлении.

* * *

Вернувшись, он застаёт Марка всё там же на террасе, работающим на своём ноутбуке. Елена, как оказалось, отправилась за покупками, поскольку вечером ожидалась гости – их дочь и сын со своей семьёй.

- Эх, я не сообразил. А куда она поехала? Может мне её догнать, помочь?

- Справится. Я понятия не имею, где её теперь искать. Разминётесь, скорее всего. Ты мог бы свой вторник освободить?

- Если найду замену. Тебе весь день нужен?

- Сенаторша одна попросила слетать с ней в Индиану, и я хотел бы взять тебя с собой.

- А что в Индиане?

- Встреча с избирателями. Они чаще стали это делать.

- Ты-то при чём? Избираешься куда-нибудь? Или народ бунтует?

- Никто не бунтует. Как, однако, тебя влечёт к драматизму. Всё развивается на удивление спокойно. Я даже не очень понимаю, как это возможно. Видимо люди в самом деле устали и даже готовы потерпеть в случае чего. Но хотят, чтобы им напоминали время от времени, что происходит. Это справедливо. А меня она берёт, я думаю, чтобы в дороге поговорить – им тоже, знаешь, поддержка нужна. А мне – твоя.

- Я её знаю?

- Видел наверно по телевизору, но встречался вряд ли. Ты и был-то у них там раз два всего, кажется. Алис Уотерс. Замечательная женщина.

- Хорошо. Скажешь, куда явиться.

- Мы заедем за тобой в девять. Но сегодня ты, я надеюсь, останешься ещё?
- Не так уж ты меня испугал, чтобы удирать...

3. Власть.

Знакомясь в машине по дороге в аэропорт, Ник решает извиниться за своё, вероятно незапланированное вторжение. Средних лет, смуглая, вероятно латиноамериканского происхождения женщина – как-никак, одна из тех немногих, которые управляют жизнью в стране.

- Совсем нет, - отвечает сенатор Уотерс, - Это, можно сказать, неожиданный подарок. Я знакома с вашей работой. Мне самой должно было прийти в голову попросить вас о встрече. Может быть и Маркуса не пришлось бы беспокоить.

- Маркус нисколько не обеспокоен. Если только это не намёк, что вы предпочитаете обойтись без меня.

- Сидите спокойно, молодой человек, и не кокетничайте со мной. Знаете, Николас, я рано поняла, чем хочу заниматься, и это не касалось ни гуманитарных наук, ни искусства. Но всегда было жаль, что нельзя прибавить к суткам ещё несколько часов, чтобы успеть почитать побольше. Когда остаётся время только так, взглянуть на то-другое, это совсем не одно и то же. Кстати, Марк, а что там ваши коллеги говорят? Нельзя как-то день удлинить?

- Между прочим, можно. Наши средства вы вряд ли рискнёте использовать, а вот как раз Ник должен знать об этом гораздо больше, если я не ошибаюсь.

- Трудно вам приходится с вашими недорослями? Удаётся что-нибудь?

- Если бы не было так смешно, наверно было бы труднее. А удаётся ли – вероятно узнаем лет через двадцать.

- Да, так можно сказать обо всей нашей жизни теперь...

Уже в самолёте сенатор просит разрешения уединиться на полчаса, чтобы почитать какие-то бумаги. Но вскоре разговор возвращается к студентам. Любопытство Алис Уотерс представляется неподдельным.

- Вы сказали, что они вас смешат.

- Да, чудно за ними наблюдать. Выглядят они, как самостоятельные, взрослые люди. До последнего времени они ухитрялись поддерживать свою самостоятельность ещё и демонстрацией равенства: нам, мол, сказали, что ты что-то там знаешь – ну давай, расскажи. А мы посмотрим, годится нам или нет.

- О, это очень похоже. Мы были точно такими же в университете.

- Они обсчитались. Их моральное преимущество состояло в высокой плате за учёбу и будущих долгах, а когда эта плата снизилась и стала широко доступной, оказалось, что никто им ничего не должен. Что узнать придётся больше всего о самих себе.

- Так вы их совсем распугаете.

- До нас постарались. Я этих цифр не знал, а пока мы с Маркусом собирали кое-какие сведения, оказалось, что пятьдесят лет назад гуманитарный диплом получал каждый пятый из выпускников. Сейчас – один из двадцати. Да, возможно теперь они ещё сократятся. Ну что ж, зато те, кто придут, будут знать, зачем им это надо. Тогда и нам будет не до смеху. Вы знаете, что смешнее всего? Несмотря на легкомыслие, мы удосужились создать глубокие традиции и замечательные программы, а китайцы, которые здесь учились, об этом догадались. Они утверждают, что здесь их научили мыслить вне

пределов обывательского здравого смысла. Позвали экспертов из Фонда Фулбрайта и провели у себя в Гонконге реформу высшего образования с упором на гуманитарные дисциплины. «Я не знаю, чем буду заниматься после университета, но знаю, кем хочу быть», - один из студентов сказал. Оказывается у него всегда была мечта стать человеком Ренессанса. По крайней мере, можем гордиться тем, что Китаю помогли.

- Ничего, скоро это кончится, больше ни куска не получат, - вмешивается Марк, - Весь остальной Ренессанс дома остаётся.

- Давайте, давайте. Дерзайте, - улыбается Алис.

- Но, я не думаю, что вам сколько-нибудь легче, чем нам, мадам сенатор.

- Алис, пожалуйста. Ну почему же? При всех расхождениях каждый из нас знает всё-таки, о чем идёт речь, а притворяться с некоторых пор стало неловко. Так что наши сложности вполне тактического характера. А вот вам, как я понимаю, нужно сначала создать себе достойного собеседника, а потом ещё и образумить его – двойной труд.

- Может быть, даже тройной, - замечает Маркус. – Прежде чем создавать собеседника, приходится избавлять их от путаницы в представлениях об открытости и о равноценности идей. Кажется, это равнодушие «открытостью» называется. Я вот, например, даже после университета был в этом отношении дурак-дураком.

- А что вас спасло?

- Не знаю. Счастливая случайность. Я её и не заметил.

- Иногда кажется, что вообще всё происходящее – счастливая случайность.

- Нет, я так не думаю, - отвечает Ник, - Среди нас одновременно живут и действуют самые разные идеи, иногда совершенно несовместимые, которые нельзя представить существующими бок о бок. Видим мы только одну и находимся под её влиянием. А потом вдруг обнаруживается и другая. Каким образом в стране, где рабство было узаконено до такой степени, что никто о нём и не задумывался, возникла идея Декларации Независимости с её преамбулой, в принципе отрицающей идею рабства и в результате уничтожившей его? Это были те же люди...

- Подождать приходится.

- Сроки всё же укорачиваются. Хотя и не так быстро, как хотелось бы. А может быть, и в этом есть какой-то смысл, чтобы не наломать дров сгоряча...

- ...сказал господин учитель, - подводит черту возникшему молчанию Маркус.

- Простите. Я разболтался. Могу я спросить, что нас ждёт в Индиане?

- Мы всё с углем разбираемся...

- Чистым сделать или совсем забросить?

- Ну да, всякая техническая муть. Это не самое интересное. А вот наши друзья в Колумбийском университете сочинили «искусственные деревья», использующие смолу, которая всасывает двуокись углерода прямо из воздуха быстрее, чем обычный фотосинтез. Лес из миллиона таких деревьев размером в автомобиль может за год изъять из атмосферы двенадцать процентов углекислого газа, который мы туда выпускаем. И всё у них готово к массовому производству.

- А что же мы не действуем?

- Рынка нет. Никто не разбогатеет на этом. Так что надо денег найти. А!.. Это скучные подробности. Давайте я вам лучше анекдот расскажу. Крупнейшая компания в Мерривилле, обеспечивающая электроэнергию на всём севере Индианы, подала заявку на переход своих электростанций с угля на ветровую энергию. А угольное лобби – есть там такая, как бы некоммерческая организация, СЭП, Сообщество энергетической политики, понимаете ли... Тратит бешеные деньги, стараясь эту заявку отклонить, и защищая

угольные шахты в Вайоминге. Чтобы поддерживать свободный рынок надо тратить большие деньги. Адам Смит в гробу ворочается...

- Разве о нём кто-то ещё помнит?

- Ну как же. Очень любят его «невидимую руку», которая обеспечивает процветание рынку. Ту самую, за которую в порядочном обществе можно было бы схватить вора. Но эта рука – невидима. Смиуту, я думаю, и в голову не приходило, что эта его «рука» способна столь же невидимым образом залезать в чужой карман.

- А избиратели ваши знают об этом?

- Вот мы и посмотрим. Узнают в конце концов. Кто это сказал, я не помню, что выбирать себе правительство вправе лишь тот народ, который постоянно находится в курсе происходящего

- Джефферсон, кажется...

- Вот и расскажем им, вы – о Джефферсоне и Китае, а я – об искусственном лесе. Марк, а вам есть, что рассказать?

- Я как-то не думал об этом. Да и новости мои тут ни к селу, ни к городу. Как концерт капиталистов. Но по ходу дела соображу что-нибудь, если нужно.

- Я вспомнил, кстати, к разговору об одновременных идеях. Знаете, кто категорически отказывался сокращать гуманитарные программы? Вест Пойнт. Неожиданно, а? Их декан, бригадный генерал считает, что когда имеешь дело с жизнью людей, нужно быть способным не только принимать решения, но и думать о последствиях этих решений и для тебя самого, и для всех, кого они касаются. То есть, вот этот солдат понимает, что есть разница между умением что-то делать и пониманием того, что происходит.

- Дай нам Бог всем хоть приблизительно понимать, что происходит. Марк, у меня есть послание к вам.

- Это уж и не послание, похоже, а прямо-таки распоряжение.

- Вы бы собрали как-нибудь ваших вундеркиндов и намекнули им, чтобы они поторопились выяснить отношения со своей корпоративностью. А то они всё благотворительностью увлекаются и делают вид, что остальное их не касается. Или ждут, когда мы попросим. Лучше бы не дожидались – поломали бы свои ясные головы и предложили несколько собственных идей. Чем, например, рекламу в их социальных сетях заменить, которой скоро не будет. Или как они собираются со своими акционерами управляться, когда доходы пойдут вниз и спекулировать станет нечем. Вы ни о чём таком случайно не беседуете между собой?

- Алис, это производственный секрет. Я даже удивляюсь, что вы рассчитываете на мою откровенность.

- Я понимаю. Вопрос был риторический. Дело в том, что все ваши изобретения вы совершаете со скоростью света – здесь же вдруг притворились тугодумами или лентяями, что уж вовсе на вас не похоже. О ветеранах ничего нового не слышали?

- А что там случилось?

- Тоже своего рода производственная тайна, можно даже сказать – военная. Но я вам её открою. Скоро они познакомят вас со своим Манифестом. И заявляют они в нём следующее. Что до сих пор они старались не вмешиваться, поскольку считали себя выполнившими свой гражданский долг. Но теперь предупреждают все горячие головы, что на каждого любителя насилий найдётся полсотни ветеранов. Гуляйте, мол, развлекайтесь своими нацистскими, расистскими или иными игрушками, но не вздумайте тронуть пальцем хоть одного соотечественника, который выразит вам своё недовольство.

Больше всего мне понравилась та часть, где они утверждают, что народное ополчение, о котором говорит Конституция, это именно они – безоружные ветераны, а никакая не Национальная ассоциация оружия и прочие, страстно вооружающиеся безумцы. «Не заблуждайтесь, - говорят они, - новой гражданской войны не будет. Нам даже армии не понадобится, чтобы поставить вас всех на место».

- Ничего себе. Сами они придумали или им подсказали?

- Не стыдно вам?

- Но вас не пугает этот энтузиазм?

- Энтузиазма я тут никакого не вижу. Всего лишь спокойное предупреждение, по моему, очень своевременное. И вам хорошо бы поторопиться. Но вот мы и садимся, кажется...

Опасаясь, что не скоро удастся ещё раз встретиться с человеком, который вероятнее всего мог бы ответить на вопрос, не дающий ему покоя, Николас всё же решается напоследок его задать.

- Как это вам удалось?

- Кому это – «вам»?

- Ну, вам, демократам... Инициатива-то ваша наверно была?

- Вот видите, вы даже не обратили внимания, как быстро всё смешалось и перевернулось. Я, кстати, республиканка. Можно наверно сказать, что инициативу мы упустили. Да это и не важно. Республика, демократия – это ведь равноценные вещи. Одно от греков, другое от римлян, а в переводе означает одно и то же. Одни были сильны обществом, другие – законом. Оба одинаково важны, и лучше всего, когда работают вместе. А инициатива вообще родилась в третьем месте, да ещё и в Канаде, как внепартийная общественная платформа, и до поры была политически бездомной. «Наши надежды не содержатся в вашем избирательном бюллетене» – вот так безжалостно они нас поправили. Так что самым важным оказалось, кто первым её усвоит. Удалось нам на самом деле очень мало пока. Хотя я надеюсь, что самое трудное всё-таки позади. Мы слишком долго были одержимы духом роста. Перед таким крутым поворотом надо быстрюю езду замедлить, чтобы не вылететь в канаву. Это и было самым трудным – какой-то убедительный образ найти, объясняющий неизбежность замедления. Как ни странно, картинку эту нам предоставила Европа, Исландия. Речь в этой «исландской саге» шла всего лишь о кармане, а это всегда понятнее всего. Там предлагалось два варианта: каждому платить по сто долларов в месяц в течение пятнадцати лет, чтобы разделаться с государственным долгом, или через те же полтора десятилетия обанкротиться и стать колонией. И конечно американцы выбрали свой собственный, третий вариант – ни на чьи условия не соглашаться. Оказывается все эти Международные Валютные Фонды и Всемирные Банки так распоясались, что всему миру ультиматумы предлагают. То есть, просто с нашей собственной территории, из-за плеча Белого Дома что-то диктуют? А не пошли бы они все... в Женеву... Вот этот темпераментный порыв всё и решил. О финансистах, за которых как раз и пришлось бы эти сто долларов выплачивать, и которые бегут из страны, я уж не упоминаю.

- А как же ООН?

- Если останутся объединёнными и денег наберут – найдут, где поселиться..

4. Déjà vu

- Я очень сожалею, Ваше величество, что обстоятельства помешали мне первому нанести вам визит, и что наше знакомство нарушает все мыслимые приличия.

- Чепуха. В сравнении с неприличием, которое вы продемонстрировали Георгу Третьему, – мелкая неловкость.

- Георг Третий был великий монарх, но он повёл себя, как родитель, которому ребёнок докучает одной и той же просьбой – он перестал обращать на нас внимание.

- А между тем, он заглянул в будущее раньше ваших федералистов. Одно время он считал даже, что вся эта ваша возня возникла из-за его решения отменить рабство.

- Ещё одно из его заблуждений.

- Да, да, «все рождены равными...», и так далее. И ещё двести лет расизма. Я шучу. Приличия меня беспокоит меньше всего.

Визит молодого британского монарха проходит без обычной шумихи. Главное внимание к нему в новых обстоятельствах мог бы проявить внешний мир, но у него нет средств эту встречу наблюдать – она не освещается прессой. А любопытство внутри страны минимально, ибо никаких последствий этот визит не обещает. Если повод к нему можно ещё вообразить, то цель, при очевидном сворачивании страной международных отношений, ускользает. Многие главы государств мечтали бы оказаться на месте короля Уильяма, но разосланное недавно Обращение с уведомлением о грядущем закрытии границ, со всей недвусмысленностью такую возможность исключала. Только личное письмо Президента Его Величеству предоставляло право на встречу королю Великобритании, если таково будет его желание.

Персонал Белого дома в этот вечер сведён к абсолютному минимуму. Двери Овального кабинета закрыты, и в ближайшие час-два их могут открыть только война или сам президент Дэвид Бернс.

- Следует ли рассматривать ваш визит, как представительство мирового сообщества?

- Я полагаю, что именно так склонно видеть его само сообщество. Но я не нахожу причин кого бы то ни было представлять, кроме самого себя. И не собираюсь никого знакомить с нашей беседой. Мне захотелось узнать, что творится в вашей голове. И меня устроит та мера, в какой вы склонны мне это приоткрыть.

- Mano a mano....

- Dixisti.

Собеседники, встречающиеся впервые в жизни, всё ещё продолжают стоять, но напряжённость медленно растворяется, очищая свежий воздух непринуждённой беседы.

- Не хотите ли с чего-нибудь начать, господин президент?

- Что же нового могу я вам предложить, Ваше Величество, кроме утомительной привычки Североамериканских территорий заявлять о своей независимости? Кажется, это становится нашим способом существования, и опыт свидетельствует о том, что никто тут ничего не может поделать. Но вашей державы эта американская *idée fixe* коснулась впервые и самым непосредственным образом, и, пожалуй, только с вами я готов её обсуждать во всей её дикости и беременности последствиями. Вы – наш единственный возможный собеседник.

- Ну что ж, принимая во внимание недавние события в Европе, я вынужден признать, что многие, включая британцев, успели перенять у вас эту пагубную привычку

покидать устоявшиеся союзы. Но не налоги же побудили вас в этот раз столь решительно разрывать отношения со старым миром?

- И они тоже, хотя в последние пятьдесят лет они приобрели новые и самые разнообразные формы. Разумеется, не только в них дело. Боюсь, что мы перестали быть вменяемым партнёром и собеседником.

- Мой дорогой друг, этому вряд ли кто поверит. Тем более, что такого рода поступки обычно демонстрируют чувство морального превосходства.

- Вероятно так это выглядит. Что не означает, однако, что подобное чувство является причиной, и даже что оно вообще имеет место. Мы ведь постарались развеять такую интерпретацию в своём Обращении. Там ясно говорилось об отсутствии каких-либо обид или претензий. Изменилось наше отношение к установившемуся экономическому порядку. Так что решили попробовать по-своему. А уговаривать мы никого не вправе.

- Что случилось, Дэвид»?

- Уильям... Могу я так к вам обращаться?

- Уильям, Бил... Как вам удобнее.

- Ничего не случилось, Билли. Мы случились. Наш побег, наше пуританство, наша революция, гражданская война, экономическая мощь, до сих пор тлеющий внутренний разлад, и – ощущение, что мы оказались внутри «беличьего колеса», которое сами и построили, и желание вылезти из него, посмотреть на мир, начать жить...

- Начинаете вы, положим, с того, что от этого мира отворачиваетесь.

- Не от мира. От некоторой его части. Весь мир мы ведь редко охватываем взглядом. А то, что мы способны увидеть вокруг себя, заслуживает, как нам показалось, более пристального внимания.

- Странное чувство... Наверно это от неожиданности, но я не могу избавиться от какого-то беспокойства, отчасти напоминающего чувство сиротства.

- Мне кажется, это заблуждение – эта подсознательная привычка полагаться на Америку. При всём саркастическом критиканстве нашего самодовольства, самоуверенности, безапелляционности и агрессивности, где-то в глубине сохраняется вера, что, в случае если все потеряют голову, и вконец разругаются, Америка придёт на помощь и всё поставит на места. Не знаю, откуда взялось убеждение, что мировой порядок держится организационной мощью, и если не она, то всё рассыплется и все перессорятся. Я начинаю догадываться, что держится он совсем другим – тем, что всё ещё умеет сопротивляться этой мощи. И что она-то как раз пытается мир разрушать, уничтожая живые силы, которые необъяснимым образом сохраняют жизнь в каждой отдельной деревне и вполне способны вырастить деревню мировую.

- А вы подумали о том, что мы, не удостоившиеся таких догадок, начнём спешно вооружаться?

- Это ведь никогда не спасало... Да, Билли, я думаю об этом. Я даже представляю себе, что кто-нибудь может решить, будто это и есть наша главная цель – чтобы вы все друг друга перебили. Ну, тогда это вас и остановит, как ещё один коварный умысел Соединённых Штатов, хотя доказать его вам всё равно не удастся... Советов у меня нет. Мы слишком больны. В самой стране остались силы, противодействующие этой идее. Я ещё не знаю, чем обернётся это противостояние. Но в любом случае хочу, чтобы оно осталось нашим внутренним делом. Это наша специфическая болезнь, и никто кроме нас не сможет её излечить. Я подозреваю, что этот затянувшийся внутренний кризис косвенным образом оказывал влияние и на всех остальных и в немалой степени был причиной сложившегося в мире неблагополучия. Даже если нам не удастся с ним

справиться – хотя я верю, что здоровое начало всё ещё сильно – но даже в этом прискорбном случае мы, по крайней мере, избавим от этого недуга вас, продемонстрировав его разрушительную силу. Единственное, что утешает мою совесть, это надежда, что через полвека, если вы к тому времени не справитесь сами, мы будем в гораздо более подходящей форме, чтобы помочь.

- Пока, однако, кому-то придётся вас заменить, и претенденты, если не внушают ужас, то вызывают глубокое недоверие.

- Я не возьмусь ничего предсказывать, но Китай, да и вся Азия, кажется, сами ещё решают – в каком направлении развиваться. Россия – да, это непредсказуемая угроза. И лучше бы, конечно, предстать перед ней в некотором единстве. Но почему бы вам, например, не заменить НАТО союзом с Китаем и не удерживать её в кольце? Арабы лишаются влияния из-за нефти. Африка с трудом, но встаёт потихоньку на ноги сама по себе. Может быть всё ещё до нас началось. А внезапное осознание этой тайной уверенности в нас, в связи с тем, что не на кого больше полагаться кроме самих себя, что «барин» отбыл в бессрочный отпуск... Может быть такой психологический шок, политическое сиротство, пользуясь вашими словами, заставит быстро взрослеть, вдруг увидеть истинную – ничтожную цену всем национальным и прочим амбициям. Считается как будто, что при исследовании лучше уметь обращаться с инструментами. Один замечательный поэт посоветовал не применять в области общественных наук нашу современную оптику, поскольку её высокая разрешающая способность позволяет ясно видеть детали за счет целого. Тогда как главным достоинством прежних столетий была способность держать в фокусе и то, и другое.

- Слишком весело всё это выглядит. Вступать в союзы важнее, чем выходить из них. Хотя бы потому, что это требует усилий и, стало быть, является борьбой с энтропией. Кроме того, это означает брать на себя обязательства. Короче говоря, рождение союзов – работа созидательная... С другой стороны, ваше новое объединение – тоже союз... Но я доволен. Я узнаю гораздо больше, чем рассчитывал.

- Рад, что не разочаровал вас. Надеюсь, мы видимся не в последний раз. Вам, ваше величество, двери открыты в обе стороны. Наше историческое родство и ваша репутация этого заслуживают.

- Боюсь, что репутация как раз и удержит меня от дальнейших визитов. В короне очень неудобно подглядывать в замочную скважину.

- Но что же мы стоим... Прощу вас. Скотч?.

- «Аберлауер», если найдёте, пожалуйста.

- Какое совпадение!

Президент приносит из бара бутылку, ставит её на стол рядом с сифоном с содовой, стаканами и ведёрком льда и останавливается у дивана, пока его гость медленно движется по кругу, читая надпись, бегущую по краю ковра. Это несколько цитат из высказываний прежних глав государства. По традиции и по выбору нового хозяина кабинета они каждый раз меняются вместе с ковром. Сейчас их всего две: традиционное определение власти из Гетисбергской речи Линкольна и слова Джона Кеннеди «Ни одна из проблем человеческого предназначения не превышает возможностей человека».

Наконец Уильям возвращается к дивану, и оба садятся.

- Должно быть утомительно – каждый день подвергаться назиданиям. Может быть их почаще менять?

- Это уж была бы совсем невозможная дерзость. Хоть с какими-то правилами нужно считаться. Я хотел было прибавить ещё несколько слов насчёт времени для

обновления убранства дома и времени для перезакладки фундамента... Тут, всё-таки есть некоторое библейское дыхание. Но – слишком длинно, не совсем точно, да и нет нужды часто об этом напоминать, вы правы.

Билли готовит себе напиток, Дэвид пьёт скотч неразбавленным..

- Надеюсь, Шотландия не лишит вас этого удовольствия в обозримом будущем.

- Что ж, они пока единой веры. А вы вот лишаете своих соотечественников возможности взглянуть на Старый свет. Печально.

- Потеря большая. Но пока они догадятся в полной мере, насколько это важно, мы, я надеюсь, сумеем снять запреты. И взгляд окажется свежим, не обременённым прежней путаницей. Во всяком случае, это будет в большой степени их собственный выбор.

- А вы? Лично вам не грустно остаться без Парижа, Берлина? Впрочем, это ведь ваш соотечественник сочинил «Праздник, который всегда с тобой». Как-то подозрительно красиво звучит, а?

- Пожалуй. Мне жаль, что я лишён возможности лично выразить своё восхищение Её величеству.

- Я предлагал ей лететь вместе. Она отказалась и, вероятно, была права. Вряд ли нам удалось бы поговорить в присутствии жён.

- Женщины чувствуют такие вещи лучше нас. И всё же я прошу вас передать Её величеству наши самые тёплые пожелания.

- Передам, благодарю вас. Дэвид, есть у меня одно недоумение. Как это у вас получилось? Весь мой опыт и познания в истории, правда весьма скромные, свидетельствуют, что такое осуществить невозможно.

- Опыт вас не обманывает, Билли. Но говорят, нечто является невозможным до тех пор, пока не случается. А что в этот загадочный момент происходит... Трудно сказать. Может быть, стечение многих обстоятельств. Ну, и нужно, конечно, немножко потерять голову, пережить некоторый вариант безумия. Скажу лучше так: проделать этот трюк ещё раз я бы не решился.

- Не уверен, что я способен на что-либо подобное.

- Мне претит выглядеть так, будто я знаю что-то, неизвестное другим, но мне кажется, что на это никто из нас не способен. Можете быть уверены, однако, что в некий момент вас просто подтолкнут. То есть, если этому моменту вообще суждено случиться. В любом случае, это довольно тяжкий, устрашающий опыт, при всей удовлетворённости его результатами. Желать его пережить было бы противоестественным. А кроме всего прочего – ничего ещё не получилось. Пока это всего лишь пробные шаги...

- Ну, хотя бы так. Вы оставляете мне возможность сочувствовать вам. Это утешает.

Они обменялись несколькими соображениями о детях, о том, как осложняет им жизнь это назначение в верховные отпрыски – временное в Америке и бессрочное в Англии. Президент поинтересовался впечатлениями монарха о недавней попытке его державы выскользнуть из объятий европейских соседей, и оба согласились, что ситуации несравнимы, и что попытка эта лишена настоящих оснований и добра не принесёт.

Внезапно король обрывает себя на полуслове и после паузы выговаривает медленно и не совсем уверенно:

- Дэвид, это совершенно не моё дело и, признаться, я мало что в этом понимаю, но мне представляется, что вам нужно будет очень много денег. Есть они у вас?

Президент смеётся.

- Если бы тщеславие меня не удерживало, я мог бы решить, что Ваше величество предлагает мне взаимь.

- Нет. По крайней мере, пока – нет. И потом, я смутно представляю себе, какими средствами обладает моя семья, и насколько они сопоставимы с вашими нуждами. Как вам известно, подданные избавили нас от всех этих расчётов. Так что я просто спрашиваю наобум. Хотя, насколько я всё же могу вообразить, такого рода долг некоторым образом уже существует – среди ценных бумаг у британского правительства есть и ваши. Но это деньги не мои.

- Да, Билли, всё так. На вашем месте и я не постеснялся бы задать подобный вопрос. В двух словах ответ может быть таким: пока мы, кажется, способны будем выплачивать проценты по внешним долгам без того, чтобы брать новые. Скоро начнём избавляться и от самих долгов, что, как я подозреваю, вновь очень не понравится нашим бывшим партнёрам. И если не случится чего-то вовсе непредвиденного, в конце концов начнём обходиться собственными средствами. Может вас удовлетворить такой прогноз?

- Я слышал что-то об этой идее. Как это называется? Автаркия? Но ведь, насколько я понимаю, эта система была несколько раз испробована и оказалась порочной. И чаще всего ею пользовались для подготовки к войне – в Германии, Италии...

- Нас заинтересовала не совсем автаркия, во всяком случае – не её крайний абсолютный вариант. Как любая система, доведённая до абсурда, она становится разрушительной. Скорее всего можно говорить об антиросте, отказе от производства ради производства и потребления ради потребления. О сдержанности, своего рода. А она вынуждает изъять себя из мировой экономической гонки, которая подчинена этим тенденциям. Не стану отрицать, что мы сами, вероятно, и запустили эту гонку. И это – ещё один повод остановиться. Так что экономически речь идёт не о полной изоляции, а о моральной автаркии, о трезвом взгляде на свои потребности. Тоже не бог весть какая новая идея – ей по крайней мере уже лет пятьдесят, и продолжают её развивать прежде всего ваши, европейские специалисты, а малые страны потихоньку пробуют проводить в жизнь – Боливия, Эквадор. Но у нас очень мало времени...

- Надеюсь, что ваши счетоводы не ошибаются. И всё же, просто из запальчивости хочу оставить вам надежду, что в случае чего один из моих карманов – ваш. Если уж на то пошло, не отставать же вашей бывшей метрополии в этом конкурсе нравственного совершенства.

- Предложение почтительно принято. Но мы кажется спускаемся с высот к простым карманным чувствам. Я не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность. До настоящей минуты я и не предполагал, что вся эта глобальная эпопея нуждается в обычном человеческом выражении. И понимаю теперь, как много потерял бы, если бы вы не предоставили мне шанс уместить такое расставание в одном рукопожатии.

- Эх вы, сентиментальный бунтарь. Доведёте меня до слёз.

- Но скажите, Уильям – какая величественная картина! Обидно, что некому её запечатлеть.

- Обидно не это. А что какой-то пройдоха наверняка что-нибудь нафантазирует на эту тему.

- Если уже не сделал этого.

Оба поднимаются. Король протягивает руку первым.

- Сохраняйте страну как можно дольше, господин Президент. Британия за вас в ответе.

- Не беспокойтесь, Ваше величество. Североамериканские территории не уклонятся от ответственности перед Старым светом.

* * *

Проводив гостя, президент возвращается к дивану и некоторое время сидит в одиночестве, пытаясь вспомнить какую-нибудь подробность, пустяк, который послужил толчком к его окончательному решению. Причин было много, и все они побуждали к действию. А всё же должна была существовать одна самая нестерпимая, наткнувшись на которую он перестал сравнивать все остальные.

В тот день, на второй год его президентского срока, после нескольких ободряющих телефонных бесед с единомышленниками среди конгрессменов и своих министров, Дэвид вышел из кабинета и увидел в пустом коридоре одинокую фигуру пожилого уборщика, сидевшего на стуле со своим пылесосом у ног, облокотившись на колени и опустив голову. Он так давно работал в Белом Доме, что охрана к нему не присматривалась.

Президент сел рядом.

- Стиви, ты выглядишь так, будто несешь на своих плечах всю тяжесть мира.

- Да? Ну, какое там... Это у тебя весь мир на плечах. У меня скоро совсем ничего не останется.

- Ох, прости... Я слышал, что у тебя жена больна.

- Врачи говорят – ещё, может быть, месяц.

- И ничего сделать нельзя?

- Можно. Лекарство изобрести. Но для неё уже поздно будет.

Они продолжали сидеть молча, и он думал: да, считается, что у меня на плечах весь мир. Я и сам это знаю. Но веса его не чувствую. Уж не говоря о тяжести... Может ли такое быть? Вот ложится на мои плечи горе этого человека – малая доля его, и я лишаюсь дара речи. Допустим, потому что ничего тут не могу поделать. А из того, что могу – что делаю? Кого я возьмусь утешить, если меня самого не прижимает к земле даже возможность удержать мир от падения? Чтобы приспособить себя к этой должности, я учился не принимать во внимание частности, не отзываться на них сердцем, и теперь, преуспев, обнаруживаю, что больше не связан с ними. Где-то там зависла гигантская вселенная частностей, которая и есть мир, а я, делая вид, что готов подпереть её плечом, вишу рядом и вместе с ней опускаюсь во тьму.

- Я слышу тебя, Стивен. Я слышу тебя...

Тяжёлая ладонь легла на его колено и, опершись на него, старик поднялся.

- Спокойной ночи, президент. Пойду.

«Пойдём», - молча откликнулся президент Дэвид Бернс.

5. Пора.

Потомки готтов и скальдов, норманнов, франков и бриттов, индов, персов, монголов, хабириков и славян худо-бедно поделили в конце концов землю и разъединились, назвав себя разными народными именами. Однако, вскоре самые неуёмные особи начали потихоньку стекаться в одно место, сохраняя отчасти национальные особенности. Какой-то нездешний свет, выжигавший племенную гордость, звал их собраться под сенью своего символа, поднявшего в конце концов позолочённый факел в заливе Атлантического океана.

Ещё не вполне сознавая, что их сюда привело, они продолжали некоторое время притворяться просто ещё одним народом, отвоевавшим себе место во всемирном соперничестве. Но новое сообщество оказалось настолько разнообразным и вольнолюбивым, что поневоле выбрало себе случайное имя, никак не напоминавшее о происхождении пришельцев и лишённое кровавой и угарной родовой тяги, которая продолжала разорять остальной мир. И постепенно им становилось всё яснее, что они и есть мир – двойник того внешнего, но без заложенной в нём разлагающей силы, способный благополучно и быстро развиваться, и если повезёт – послужить остальным примером для подражания. А новые поселенцы всё прибывали и прибывали...

До праведничества им было далеко. За тот срок, что успели прожить в заблуждении, они натворили много бед, навязав некоторые из них и другим народам. Грех этот им ещё предстояло осознать и искупить. К такому труду они исподволь и готовились.

* * *

Алис Уотерс, отвечая на вопрос, не упомянула о подробностях недавних событий, которые были общеизвестны.

Исторический шанс действительно возник вместе с результатами очередных выборов, приведших к власти демократов в обеих палатах Конгресса и в Белом доме. Никто не считал демократов воплощением добродетели – они были участниками того же коррупционного, потерявшего управление процесса, хотя, по традиции и негласному общему мнению, идея благосостояния каждого была им ближе к сердцу, чем их политическим соперникам.

Поднятая выборами и согретая убедительной победой волна внезапно выплеснула твёрдое решение: «Сейчас!». Победители оглянулись вокруг и на простой вопрос: кто распоряжается общественной системой, вынуждены были услышать столь же простой и оглушительный ответ: никто. Жизнь в стране полностью овладел капитализм, а сам по себе он, как оказалось, не предусматривает никакой общественной системы: каждый берёт себе столько воды, сколько возможно, и никто не тратит сил на починку каналов. Все по отдельности ведут себя рационально, а в итоге царит коллективное безумие. Оно же, в свою очередь, превратилось в кризис политический, когда правительство оказалось неспособным принимать решения, а за ним обнаружился культурный кризис, разделивший нацию пополам.

Следовало воскресить идею общественного договора, и в совместном обращении к гражданам страны Конгресс и Белый дом выступили с призывом, который и стилем, и трезвостью сильно отличался от знакомых речей.

В нём прежде всего содержалось признание, что человек не может волевым усилием изменить свою природу, но при этом достиг такого уровня, что способен изобрести общественные механизмы, которые способствуют такому изменению или препятствуют ему, и что пока он отдаёт предпочтение последним. Тем временем, прогресс в биологии и цифровой технологии обещает многократно усилить воздействие этих механизмов без его сознательного участия в выборе, и человек, скорее всего, не успеет воспользоваться ими в разумных целях.

Авторы обращения призвали сограждан освежить в памяти историю возникновения их союза и укрепить в сознании, что представляет собой государство, какова роль правительства в жизни страны, что такое политическая воля, и чем чревато её отсутствие. Отдавая себе отчёт в том, что страна разделена, они напоминали, что опыт – особенно

опыт последних десятилетий – убеждает в бесплодности одних призывов к единству, что если оно и достижимо, то лишь на уровне личного общения. Но при этом не следовало забывать, что Соединённые Штаты Америки – единое государство и единый народ, исторически, географически и политически, который не может нормально развиваться, будучи раздираем внутренним противоречием, что в таком положении ни один закон, ни одна реформа не будет проведена в жизнь. Авторы приводили в пример Закон об ограничениях на оружие, который поддерживало подавляющее большинство населения, и который, тем не менее, не удавалось принять. Независимо от справедливости или ошибочности этого закона такая ситуация свидетельствовала о нездоровьи общества, объединенного общим убеждением, но лишённого воли.

Обращение прямо и недвусмысленно признавало, что есть два, исключаящих друг друга пути, из которых следует выбрать один, и что этого не произойдёт в отсутствие государственного волеизъявления. Один путь – путь меньшинства, которое недовольно правительством. Выбрать этот путь, ещё больше сократить функции власти и лишить её большинства полномочий, означает совершить поворот к анархии, где принимать решения будут сильнейшие, те, кто обладает подавляющим влиянием, то есть самые богатые из граждан, которые составляют весьма незначительную часть населения. Они станут преследовать цели, выгодные только им, и осуществлять эти цели они будут любыми средствами, среди которых самое простое – сила, то есть, это путь к авторитаризму и диктатуре, путь явно не американский, который страна отвергла при самом своём возникновении. Бунт против такого поворота событий, к которому, как предполагается, может всё ещё привести врождённое чувство свободы, будет на самом деле проявлением той же анархии, поскольку даже его успех оставит открытым вопрос о том, во имя какого общественного устройства он был осуществлён.

Другой путь – путь нынешнего большинства, способного выразить правительству доверие, предоставить ему относительную самостоятельность, и следовать законам, которые будут приниматься демократическим способом, в соответствии с конституционным устройством государства. Этот путь откроет возможность эксперимента, опыта, а благодаря исправленной системе выборов, легко будет впоследствии найти другой путь, более правильный, если этот окажется неудовлетворительным.

Способом сдвинуться с места авторы обращения считали необходимость провести общенациональный референдум о доверии демократически избранной государственной власти в её трёх, конституционно определяемых ветвях – законодательной, исполнительной и судебной, и подтвердить её полномочия в определении дальнейшего развития страны. В референдум предлагалось включить в качестве основного механизма по возрождению доверия к власти, вопрос о реформе избирательной системы, предполагающей отменить уродливую роль денег, противоречащую принципам демократии, упразднить коллегия выборщиков, сделав голосование прямым, и объявить уголовным преступлением любое противодействие свободному выборному процессу.

Предполагалось, что в результате такого референдума окажутся выполненными две задачи. Прежде всего станет очевидным преобладающее настроение гражданского общества – его решимость развивать страну или его удовлетворённость существующим положением вещей. Во-вторых, будут приняты или отвергнуты две новые поправки к Конституции – одна устранил корумпирующую роль денег в избирательных кампаниях, другая отменит институт коллегии выборщиков.

Как отмечалось в обращении – и подтверждалось его содержанием – предлагаемый референдум не преследовал интересов какой-либо партии или особой группы населения и оставался открытым для любых возможных мнений, но сделал бы очевидным для всех выбор, который предпочтут американцы.

Называлась дата голосования по референдуму, которое, в отсутствие чрезвычайных обстоятельств, должно было состояться через две недели. Упоминание о чрезвычайных обстоятельствах было справедливо воспринято обществом, как предложение выразить неформальные чувства по поводу предстоящего голосования. Всюду прошли демонстрации, которые перекрыли энтузиазмом бурную полемику, развернувшуюся было в средствах массовой информации.

Самое яростное сопротивление пытались оказать так называемые «защитники свободы», исподлобья глядевшие на правительство и прикрывавшиеся ядовитой угрозой социализма. Эта животная ненависть, простиравшаяся от свирепой борьбы с прививками до лицемерной её поддержки владельцами корпораций, которые без зазрения совести пользовались услугами властей в предоставлении им субсидий, налоговых льгот и, в крайних случаях, просто государственной щедростью, когда речь шла о выкупе из банкротства – то есть вполне социалистическими приёмами, каким-то загадочным образом совмещалась с признанием справедливости социального и медицинского страхования, обеспечения правительством бесплатного школьного обучения, финансирования транспортной и энергетической инфраструктуры, научных исследований, музеев и общественных заповедников и бесчисленных грантов в области образования и культуры – опять же явных примет социалистического устройства.

Неистовые противники социализма предпочитали не замечать, что основой столь ненавидимого им строя было отсутствие частной собственности и государственное планирование – вещи заведомо невозможные в Америке, которые и в голову не пришло бы кому-то защищать. Не желали они признать и то, что самая сладкая идея социализма – светлое будущее, во имя которого нынешним поколениям следует затянуть пояса, буквально повторяла главную идею позднего капитализма, утверждавшую неизбежный приход благополучия для всех, если дать богатым собственникам безудержно развиваться и торговать сейчас. Недаром эту доктрину называли «стекающей экономикой» – и никто не спрашивал, как медленно или как долго будет это благополучие сочиться. Практика же убеждала, что пока ничего не только не стекает, но даже не капает, а разрыв в доходах всё увеличивался.

Обратить пристальное внимание на это противоречие удалось представителям самого сугубого капитализма. Несколько знаменитых предпринимателей упрекнули фанатиков свободы в подлоге и предложили им не брать на себя защиту того, что им не принадлежит. Но главное, они обратили внимание всех на очевидную путаницу в терминологии. И политики, и обыватели продолжали по привычке использовать эти определения двух экономических систем, тогда как ни та, ни другая не касались принципов государственного устройства, и речь на самом деле должна была бы идти о форме Общественного договора. «Капитализм, заявили они, то есть мы – сами о себе позаботимся, если вы откажетесь от праздных причитаний, займётесь собственным образованием и сообразите, наконец, чего вы от нас ждёте».

Не так уж много времени понадобилось, чтобы увидеть, как за последние пятьдесят лет изменил общество слабо управляемый экономический фаворит.

Созидание давно стало в стране уделом немногих, а то, что незаметно пришло ему на смену и упорно провозглашалось развитием, ростом, было всего лишь однообразной гонкой производства и потребления. Все остальные формы деятельности постепенно стянулись к этим двум и им подчинились. А как же чистая наука, - спросите вы, - технология транспорта, строительства и здравоохранения, изобретение новых лекарств, наконец? Само собой. Но как только в умах укореняется верховенство прибыли, она всасывает все возможные отрасли хозяйства, включая образование, которое тоже становится, по преимуществу, средством чьего-то обогащения. И лишь скромные государственные институты продолжают ещё заниматься, собственно, делом, как таковым. Ну, правда, ещё военные, у которых тоже свой интерес.

Производить скоро стали вещи ненужные или эфемерные, такие как неупотребимая в быту мода или фирменные символы, прибавлявшие товарам рыночную стоимость, которой те не заслуживали, ничем другим не отличаясь от таких же товаров других фирм, циклопические спортивные зрелища, лишённая содержания массовая культура и её система скоропортящихся звёзд, вездесущая избыточная реклама, спекулятивные безденежные фонды – дым, одним словом, которого, как считается, не бывает без огня. И огонь, конечно же, пылал – в виде локальных войн по ложному поводу, которые тоже стали предметом производства. Войн быстротечных, то есть вспыхивающих и гаснущих быстро, а затем в заброшенном виде длящихся без конца, как залежалый товар, который некуда выбросить.. Но – войны! Люди гибли, их родные лишались покоя...

Из-за того, что долг страны всё увеличивался, в такой же фантом превращалась доселе безупречная ценность её финансовых обязательств, становясь товаром, который она продаёт на международном рынке, подобно автомобилям.

Излюбленное, бесконечно повторяющееся у политиков в сочетании с любой программной статьёй выражение «двигаться вперёд» утрачивало смысл. Было ли у людей представление о будущем, даже самом недалёком? Как они видели себя и свою страну впереди, через 15-20 лет? А если отказываешься смотреть вперёд, можешь оказаться там, где тебе очень не понравится. Но чтобы возникла возможность выбора, необходимо представление о вариантах, и вот его-то как раз очень долго старались затушевать, с одной стороны искажая картину существующей реальности, с другой – заведомо шельмуя, не давая их даже обсудить, иные возможности.

Страна производила достаточно товаров, чтобы её жители не испытывали нужды, и это создавало ощущение стабильности. Широко доступный кредит прибавлял к этому ощущению иллюзию равенства и неограниченных возможностей. Но цель экономики была не в этом, и благополучие граждан интересовало её меньше всего. Цель сместилась в сторону необузданного обогащения тех, кто искусственно создавал спрос и удовлетворял его, нисколько не заботясь об истощённых ресурсах, о нравственности, разлагающейся из-за власти денег в общественном устройстве, и, в конце концов – о самих людях, которые превращались в сырьё и временное средство производства и платежа. При этом обогащающиеся ухитрялись купить и использовать в своих целях правительство, одновременно разжигая к нему вражду, что бы ему не дай бог не дали заняться своим прямым делом. Рядовым гражданам оставалась всего одна цель – поддерживать житьё, допустим всё более комфортабельное.

Существование такого рода может быть не стоит и усилий. Некогда подобное благополучие уничтожило процветающий Рим, где довольные жизнью патриции один за другим предпочитали самоубийство. Человечество влезло на тренажёр, спутав его

бесконечную ленту с обычной дорогой, хотя им самим этот снаряд был и придуман, и построен.

Перебирая возможные варианты, можно было вспомнить, например, о Руссо и, перефразировав его, попытаться делать город, а не только дома.

Вероятно, сыграл свою роль в перемене общественного настроения и фантастический последний президент уходящей эпохи, который умудрился завоевать своих избирателей лапидарным двойным приёмом: «Во-первых, я так богат, что мне не грозит оказаться купленным, - заявил он, - а во вторых, вы можете доверить мне исправление корумпированной системы, потому что я знаю её снизу доверху: я сам использовал её уязвимость как бизнесмен, я покупал политиков, я уклонялся от налогов, я уводил свои предприятия за рубеж – кто же лучше меня осушит это болото?»

Такое признание само по себе могло бы насторожить, а то и оттолкнуть здравомыслящего человека, однако люди поверили, что этот жулик может ни с того, ни с сего перестать быть жуликом, как ни трудно было вообразить, что могло бы совершить такую радикальную перемену во взрослом мужчине 70-ти лет, всю свою жизнь успешно следовавшем этим разбойничьим принципам.

Более того, здравомыслие, которым пренебрегли, немедленно подтвердило свою состоятельность: президент и его кабинет тут же начали с немислимой скоростью обслуживать интересы собственных деловых предприятий и прежних владений. В первые же часы вступления в должность он призвал к обширному сокращению налогов на корпорации, и объявил о намерении отменить три четверти установлений, регулирующих экономику и финансы. Всё это предоставляло значительные выгоды самым богатым, включая членов его кабинета, его семьи и, разумеется, его самого.

Осталось ли это незамеченным, или его поклонники среди избирателей сочли, что такой размашистый задира заслуживает права «погулять по буфету», или понадеялись, что, позаботившись прежде всего о себе и своих друзьях, он всё-таки не забудет в конце концов и о них – вопросы эти утонули в шуме толпы, которую президент продолжал развлекать с развязностью конферансье, нисколько не беспокоясь о её заботах.

Но были и те, кто с ужасом наблюдал, что творится со страной, будучи не в силах образумить веселящуюся толпу. Взаимная вражда тех и других обострялась.

Что ж, до сих пор его избиратели не знали толком, от чего они страдают, и никто не помог им назвать эти силы. Сам того не ведая, это сделал их кандидат, объединив все разрушительные инициативы в своём лице. В конце концов люди, может и не очень охотно, но вынуждены были поискать настоящего врага и обидчика.

Пренебрежение человеческими делами прогнозировало мир для вымышленного, стерилизованного рода людского, которого в природе не существует. У людей возникло тошнотворное ощущение, что их не существует не только в этом воображаемом будущем – их нет уже и сейчас. С таким не примиришься.

Поддержка идеи Референдума оказалась преобладающим настроением. Его провели, и началось время реформ, в ряду которых своей очереди ждали Североамериканский союз и его обособление. К словам «двигаться вперёд» постепенно возвращался смысл.

6. Какая она – литература?

- Здравствуйте. Я вижу, лица ваши покидает выражение растерянности. Надеюсь, вы смирились со пребыванием на наших семинарах, как бы вы не относились к самой кафедре...

- Факультет ненужных вещей, - раздаётся мужской голос, поддерживавший ироническую интонацию Николаса.

- Как, как?

- Извините, профессор.

- Нет, вы не извиняйтесь, это замечательное определение. Вы сами придумали или вам где-то попало на глаза?

- Я думаю, это хорошее название для бестселлера.

- Поздравляю вас. Надеюсь, вы его напишете. Жаль, что опоздали с находкой лет на семьдесят. Но это за рамками нашего курса...

- А что, была уже такая книга?

- Была. Её написал русский писатель, Юрий Домбровский. Она переведена на английский, так что найдёте, если охота. Название вы уже нашли.

- А о чём там речь?

- А-а... Хм.. Да, в сущности, о том же, чем я собираюсь заняться с вами сегодня. Но давайте так договоримся. Наш предмет – западная литература, и времени у нас не так уж много. Если кто-то ещё из вас действительно захочет роман прочитать, и желание поговорить о нём удержится, мы отведём время и ему. Но только после того, как освоим всё, что нам полагается по программе. Идёт? А пока вернёмся к трагедии.

Класс, состоящий из полутора десятков юношей и девушек, оживает, доставая из рюкзаков и сумок тетради.

- С каждой темой нам приходится возвращаться к одному и тому же вопросу: почему важно изучать историю литературы? Есть ли в ней смысл помимо простого любопытства? Интересных вещей в мире очень много. Но вы обратили внимание, как часто и как легко мы пользуемся в жизни понятиями из литературного обихода? И дело не в том, что литература обеспечивает нам словарь. Такие слова, как драма, коллизия, сюжет, персонаж, не только обозначают ситуацию, но наполняют её дополнительным, углублённым значением. Когда мы называем трагедией любое, более или менее крупное несчастье, мы не обязательно связываем это слово с его изначальным смыслом. Но в подсознании непременно относим данное событие к общему мировому процессу в целом. Это позволяет нам оставаться в пределах непрерывной культурной традиции, а без неё человечество было бы не в состоянии поддерживать осознанное существование. Мы уже говорили с вами о всяких технических подробностях происхождения этого термина. Они, может быть не так уж важны, хотя от каждого из них – от сатиров, дионисийских празднеств и так далее – тянутся самостоятельные нити, пронизывающие духовную культуру. Но давайте сосредоточимся сейчас на самом главном содержании понятия «трагедия». Я предложил вам «Эдипа» Софокла и надеюсь, вы все его прочли, равно как и другие варианты этого мифа. Вопрос такой: есть ли разница между мифом, как таковым и его интерпретацией Софоклом и, если есть – в чём она?

Поднимаются несколько рук, и Ник обращается к Сюзан, тёмноволосой, улыбающейся девушке, сидящей далеко от него, в самом конце аудитории.

- Это как преждевременная разгадка. В мифе всё сразу известно.

- Ну, ну, продолжайте...

- В этом разница.

- Но ведь события одни и те же. В чём тут фокус?

- Ну, у Софокла разбираешься постепенно, не сразу...

- А разве не лучше сразу? Время вещь драгоценная...

- Не знаю... Так кажется, легче понять что к чему.

- Так детективов никто читать не станет, - это уже парень. Он вещает медленно, с ленцой.

- А их надо читать?

- Интересно...

- Произошло убийство. Мы уже знаем, кто, как и за что убил. И нам неинтересно. А вот если никто ничего не знает, нам сразу хочется следить за работой следователя. Но что с человеческой точки зрения важнее – само убийство или как его раскрывают?

- Убийство, конечно, - сразу несколько голосов.

- Значит, следствие – это нечто второстепенное. Что-то, что, в сущности, отвлекает наше сознание и чувства, уводит их от самого важного события. Тогда, как художественный приём он этически порочен. По вашей логике вся мировая литература это искусный способ отвлечь нас от сути дела, порча человеческого естества. Но если бы её не было, жить стало бы не так уж интересно. Вы услышали: «Великая мировая литература», и сразу согласились. В чём же её величие? Можно было удовлетвориться мифом – там всё сразу ясно. Правда скучновато. Но на этот случай есть детективы, хотя великими их называть вроде и неловко.... Ладно, заедем с другой стороны. Мы с вами о мифах немного говорили уже... Кто помнит – как мы определили язык мифа? Я имею в виду язык, как средство сообщения...

- Как символический, обобщающий.

- Символический. Мы в жизни символами почти не пользуемся, в крайнем случае метафорами. Стало быть, миф говорит с нами на ином уровне. На него надо подняться – или к нему спуститься, это требует усилий, а у нас много дел, и не всегда понятно, ради чего туда подниматься. Сюзан заметила, что в трагедии разбираешься постепенно, не сразу. Для этой цели автор особым образом выстраивает сюжет. Можно ли сказать, что в мифе сюжета нет?.. Сюзан?

- Я не знаю. Как будто бы есть. Там ведь тоже какая-то последовательность событий.

- Но она почему-то не захватывает, как вы говорите – не даёт разобраться...

- Да, там всё всегда начинается сначала и один поступок ведёт за собой следующий. А по-другому и быть не может.

- Верно. И так никогда не бывает в жизни. Жизнь человека никогда не начинается сначала. Как только он обретает способность себя сознавать, он оказывается вброшенным в течение событий в их разгаре. Он редко может охватить картину целиком, ему трудно разобраться в последовательности событий, часть которых ему просто неизвестна. Аристотель в своей «Поэтике»... Вы не пугайтесь этого имени, мы всё ещё остаёмся в сфере литературы. В этом своём труде он как раз впервые попытался дать определение трагедии. Он там приводит слова Агафона – Агафон считался четвёртым великим трагиком после Эсхила, Софокла и Еврипида. «Ведь правдоподобно, - говорит Агафон, что происходит и много неправдоподобного». Миф был первым изобретением, которое помогало удерживать картину целиком. Это ещё не искусство – бесхитростная форма, как бы прямое знание-впечатление, своего рода догадка о сложности мироздания, его эскиз. Он не создаётся, а узнаётся интуитивно, и при простой передаче бытовым языком

утрачивает познавательную силу. Поэтому мы считаем, что он говорит с человеком на другом уровне сознания. Но нам по-прежнему нужно разобраться, эта задача остаётся нерешённой. Вот тогда и возникла идея взглянуть на миф в иной перспективе, человеческой: как он будет выглядеть, если поместить его в условия нашей жизни, где «происходит много неправдоподобного»? То есть, дать нам возможность в нём поучаствовать. Теперь давайте откроем книгу, и вы познакомите меня с первой сценой. Что нам удаётся из неё узнать?

- Что в городе мор, царь и жители думают, как спастись.

- Царя зовут Эдип, так и сама пьеса называется. Что о нём известно?

- Он чужой, пришелец, его возвели на трон в благодарность за то, что он избавил город от Сфинкса, отгадав его загадку...

- Подождите. Я вас прошу – перечитайте прямо сейчас первую сцену и постарайтесь быть внимательными. Я подожду.

На несколько минут аудитория погружается в библиотечную тишину. Николас наблюдает за своими учениками, и в груди его поднимается волна нежности и гордости. Эти мальчики и девочки, едва успевшие оторваться от своих наушников, телефонов и телевизоров, спокойно сидят здесь, в столице наивысшей державы, в средоточии политического и исторического катаклизма и читают Софокла...

Как жаль, что у него остаётся всего час времени. Но может быть это к лучшему, следует помнить, какой долгий путь им предстоит, и набраться терпения. Наконец головы одна за другой отрываются от текста.

- Нашли что-нибудь о Сфинксе?

- Нет. Только, что какое-то существо наложило на город дань, а Эдипу удалось фиванцев от этой дани освободить. Так его называют – спаситель.

- Это очень важно. Если вы хотите понять, что является собой художественное произведение, надо читать или смотреть, или слушать именно это художественное произведение, довериться ему. Результат окажется непредсказуемым и очень, очень значительным для каждого. Но не привносите в чтение своего прежнего опыта и уж во всяком случае – каких-либо предварительных знаний о предмете, о котором идёт речь. Вы слышали о Сфинксе ещё до того, как взялись за книгу, и это ведь не принесло вам особого откровения. Автор по какой-то причине не хочет, чтобы вы думали сейчас о Сфинксе – он обращает ваше внимание на другое. На что?

Возникает неловкое молчание.

- Ничего, не напрягайтесь. Что ещё мы узнаём из этой сцены – только не бегите впереди повозки.

- Ну, про царицу – он получил её в супруги вместе с царством.

- А ещё... царь, послал в Дельфы брата царицы, чтобы узнать у оракула, как спастись от эпидемии.. И все ждут его возвращения.

- Очень хорошо. Как вам кажется, стоит подумать, почему решили к такой радикальной мере прибегнуть?

- Так ведь уже во второй раз – сначала эта птица, теперь мор. Тут может быть вмешательство каких-то высших сил, и надо – к самим этим силам обратиться за разъяснениями.

- Похоже на правду. Есть ещё какие-нибудь соображения?

- Я бы по-другому на это посмотрела, - это опять Сюзан, только она сейчас не улыбается. – Испытания повторяются. И может быть в самом городе что-то не так, у

самых жителей... Надо было покопаться в собственной жизни – может, нашли бы причину всех этих несчастий. А они ищут помощи со стороны... Впрочем, что-то тут не так.

У Ника захватывает дух. Такого он не ожидал. За ними, оказывается, не угонишься...

- Очень интересно. Остаётся посмотреть, разовьётся ли как-нибудь это наблюдение.

- А как же не развивается? – увлечённо продолжает девушка. – Когда Креонт из Дельф возвращается, он что говорит? Надо, мол, найти убийцу бывшего царя и изгнать его из города. А они понятия не имеют, кто это был, во-первых – не позаботились в своё время выяснить. Это во-первых, а во-вторых – он ещё и в самом городе живёт, далеко искать не надо. Так что, как-то у них в Фивах всё не по-людски...

Её сокурсники улыбаются, им кажется, что профессора слегка прижали.

- А мы, тем временем подошли вплотную к самому сердцу трагедии, к её основной пружине. Мы слышали, что судьбой руководит Рок. Что такое Рок, нам трудно себе представить, помимо того, что это, видимо, какой-то высший закон – или несколько законов – преступив который, чаще всего по слепоте, ибо он не человеком написан и скорее всего ему неведом, мы вынуждены следовать неумолимой цепочке событий. Эта же культура открыла явление диалектики или, по определению Сократа – майевтики, «искусства рождения». Смысл его в энергетическом феномене, когда из напряжения, создавшегося противоположно направленными силами – мыслями, идеями, чувствами – прямо из него не вытекая, рождается понимание – не той или иной ситуации, а лежащего в её основе смысла. Вот этот феномен и призвано вновь и вновь возрождать искусство, в том числе искусство трагедии, где читатель – или зритель – поставлен в преимущественное положение по сравнению с действующими лицами, уникальное положение, позволяющее ему в полной мере испытать влияние этого напряжения и пережить просветление, называемое опять же греческим словом катарсис. Если мы, как это нам с помощью Сюзан, удалось сделать, улавливаем оттенки, мы начинаем чувствовать, что корни происходящего с городом спускаются всё дальше в прошлое. И чем упорнее люди отказываются поглубже заглянуть в самих себя, тем плотнее они увязают в трясине текущих событий. Это и есть наше уникальное преимущество читателя – удерживать одновременно две живые мысли, противоречащие друг другу на наших глазах. А ведь все основные события ещё впереди. Но талант и мастерство художника таковы, что он даёт нам возможность узнать очень много, почти ничего ещё не сказав. Можно представить себе, что нас ожидает. «Приобретать знания чрезвычайно приятно не только философам, - Аристотель написал, - но и все другим, только другие уделяют этому мало времени». К нам с вами это последнее не относится, но и наше время не бесконечно. Вам придётся ещё раз вернуться к Софоклу и написать для меня пару страниц о том, за счёт чего, по-вашему, поддерживается в «Эдипе» трагическое напряжение, и что за откровение мы получаем в результате катарсиса. Я вам даю неделю. А к следующему разу освежите в своей памяти «Гамлета», и мы поговорим о трагедии другого рода.

7. Божий город.

- Мы полагаемся на Тебя, Господи. Мы знаем, что всё в твоей власти. Мы молимся о даровании мудрости управлению заводу, мы молимся о даровании мудрости нашим лидерам и профсоюзу, мы говорим от лица всех рабочих, всех поставщиков... Потому, что

мы знаем – это не только мы, это касается многих людей, включая и наши церкви. Не стоит забывать и об этом.

Небольшая, опоясанная поребриком площадка с флагштоком в центре расположена прямо перед центральным зданием завода, растянувшимся чуть не на километр. Её, присыпанную снежком, окружают около сотни человек, которые собрались здесь в надежде утолить своё отчаяние молитвой. Люди слушают молча. За их спинами, метрах в двухстах видны огромные фургоны, время от времени проносящиеся по межштатному шоссе, построенному незадолго до открытия здесь автомобильного завода Дженерал Пауэрс. Эта, оплаченная федеральными и штатными властями дорога обеспечила компании ни с чем несравнимое преимущество. Земля, которую ДжиПи купила у местного жителя Абея Радцки, тоже стоила по нашим временам – копейки. Сын Абея Тэд до сих пор живёт здесь, вспоминая, как его сёстры вынуждены были надевать заштопанные майки, чтобы участвовать в школьных соревнованиях по баскетболу...

Холодно.

- Мы признаём, что в своих нуждах полагались на самих себя и на эту компанию. Сейчас позволь нам полагаться больше на Тебя. Мы знаем, Господи, что Ты властвуешь надо всем – над корпорациями, пусть многомиллиардными, это ничего не значит, ты властвуешь надо всем. Иеремия глава 29-я, стих 11-й: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».

Не так легко собравшимся на это бдение поверить, что намерения корпорации, объявившей об остановке производства, совпадают с Господними. Их головы опущены, глаза закрыты.

Эни Блэквуд отделяется от толпы и, держа в руке листок бумаги, подходит к пастору, одежда которого будничностью своей ничем не отличается от её пятнистых защитных штанов и зимней куртки.

- У нас есть несколько просьб о молитве... Просьба Кена Смита сохранить завод работающим... Ларри и Тони – сделать всё возможное... Сид Кроно – у него двое детей работали на заводе. Теперь они работают в другом штате, так что их семья разделилась. Но у него есть надежда... Дэйв Грин – чтобы наши рабочие места здесь сохранились, и чтобы у наших детей тоже было место работы. Чтобы у нас было будущее...

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.... Но не по нашему желанию, а по Твоей воле, - добавляет Эни неожиданно слова совсем из другого места Евангелия, как будто смиряя надежды, уже не вполне уверенных в своих правах людей. И это может означать, что воля Его не предусмотрит их желаний. Что Он решит не приводить пока Своё царство и лишит их хлеба насущного, и долгов не простит, и сочтёт нужным ввести их в искушение...

Ещё один член церковного совета, с Библией в руках выходит в середину. Это, как видно, учёный муж, толкователь.

- Что я хочу сказать – Бог всегда отвечает на молитвы. Иногда он говорит «нет», иногда он говорит «да», иногда он говорит «подождите и увидите». Но все молитвы бываю́т отвечены в силу веры. У нас должна быть вера. Мы не можем хранить её сегодня и забыть о ней завтра. Мы должны верить каждый день...

- Давайте теперь споём вместе.

Не очень стройно, но с увлечением люди подхватывают хорошо известные каждому слова.

Боже, храни Америку,

Край святых чудес.

Не покидай её и направляй её

Во тьме – сиянием с небес.

От высоких гор и бескрайних долин,

До океанской пены волн.

Боже, храни Америку -

Мой дом, мой любимый дом.

«Нис», маленький семейный ресторан на Солт Спринг, в двух милях от завода. Вот уже пять лет это излюбленное место встреч за завтраком, ланчем и обедом. Сюда съезжаются некоторые участники бдения. Никто кроме владельцев ещё не знает, что дни ресторана тоже сочтены.

- Они были прекрасными соседями, и я на них рассчитываю. Знаете, если они хотят реорганизовать производство, им гораздо легче это сделать, когда завод стоит.

- Я слышал, ДжиПи надеется продать завод начинающей компании в Лавленде...

- А что за компания?

- Какая-то рабочая лошадка, «Уилхорз». Но у неё как будто неплохо идут дела – грузовики на батареях, довольные покупатели, полно заказов...

- Они предлагают работу, только на других заводах, а то и на другом конце страны..

- Я слышал про Миссури, а ещё где?

- Тенесси, Кентукки, Нью-Йорк, даже Техас...

- В Миссури, в Вентцвиль полтора́ста человек согласились ехать. Но люди не хотят уезжать. У некоторых детям особый уход нужен или старым родителям... И почему вдруг надо тащиться Бог знает куда?

- Не поедешь – медицинскую страховку потеряешь и другие выгоды. Потом и вообще ни на один завод не возьмут. Поставщикам деталей вообще ехать некуда. ДжиПи только своими профсоюзниками занимается. А работали поставщики на тот же Дженерал Пауэрс.

- Меня раздражает, как они рекламируют, - говорит Джефф Лоренс, - Уговаривают всех покупать внедорожники вместо нормальной машины. Люди там смотрят и прикидывают: а сколько футболистов влезет? А доски для сёрфинга войдут? У них широкий выбор – двухдверные, четырёхдверные, внедорожники, но рекламируют они только внедорожники. Мы тут с женой пошли к дилеру «Кадиллака»: хотим взглянуть на двухдверную модель, говорим. На нас смотрели, как на сумасшедших...

- Кому вообще нужны внедорожники? Может быть, потому что дороги плохие? А они сто лет обещают исправить инфраструктуру... Такое впечатление, что между собой договариваются – что чинить, что продавать...

- Бросьте вы ворчать. ДжиПи много полезного сделала для города...

Это Тэд Радцки. Мы уже встречали его на собрании у завода.

- ..Они школы построили, канализационную систему, которой не было, административные здания – и всё на налоги, которые они платили городу, нам это не стоило ни копейки... – он запинается вдруг. - Конечно, таких налогов они давно уже не платят... Говорят, с них теперь берут вполонину меньше. Но в то время это было очень полезно для жителей. Когда в пятьдесят шестом они начали строить завод, люди съезжались из Пенсильвании, Западной Вирджинии, даже ещё дальше. И мы – семья наша – заложили для них парк передвижных домов. В первые годы и строители там жили, и рабочие... Надо понимать такие вещи. Люди быстро могут избаловаться. Сейчас приезжают сюда, когда дороги уже построены, школы построены, им платить за это не надо. А если бы мы не приняли в своё время эту компанию, как доброго соседа, ничего этого не было бы, и никому в голову не взбрело сюда ехать. Вы все упёрлись в этот завод... всё о себе, да о себе. Надо вперёд смотреть. О детях своих подумайте. Вон новая компания собирается здесь огромные склады товаров построить...

- Ну ты-то не о себе хлопчешь, конечно. Там, где они строить собираются – это не твоя земля, случайно? Что наши дети там делать будут? Товары с полки на полку переключивать? Не вешай лапшу на уши, Тэд! И ДжиПи у вас землю купил, и на домах для строителей вы заработали, теперь ещё на своих трёхсот акрах зарабатываешь... Повезло твоей семье, и дай тебе Бог здоровья. Только не надо нам о выгоде для города лекции читать. Никто не спорит, что индустрия городу полезна. Но и мы тут не сложа руки сидели. «Добрые соседи»! Наши ребята может быть лучшие специалисты во всей корпорации. Мы им отличные машины делали и учиться не уставали, и работали всё лучше и лучше. И шоссе наше очень им пригодилось с самого начала. В последние десять-двадцать лет чего только мы им не отдавали, чтобы дела их поддержать. Они рабочие смены сокращают – и мы соглашаемся. Отменяют повышение зарплаты, бонусы – и мы говорим: ну, как же, надо помогать нашей компании, мы же соседи. В третьей смене рабочий получает половину денег за ту же работу – ничего, мы говорим, как-нибудь продержимся... Мы и были добрым соседом, и чем всё кончается? Спрос на модель иссяк, они говорят. Так они сами этот спрос и создают, как Джеф говорит. Никак со своим рынком не могут разобраться, а выезжают – то на нашем горбу, то на государственном. Я вот всё думаю: такая могучая, знаменитая копорация, на весь мир известная – да почему же этот гигант на своих ногах не держится? Будут он реорганизовывать завод, не будут... Не хочу я их реорганизации, и видеть их здесь больше не хочу. Зачем? Какого хера нам нужен этот бегемот? Что нам его новые модели, раз они через год опять потребителю разонравятся? Пусть уж действительно кто-то новый купит завод и настоящим делом займётся.

- Нет, это ты зря... Они же стараются, с профсоюзом обсуждают...

- Ничего не зря! И нечего с ними обсуждать. Обсуждать можно с живым человеком, а там живых людей нет, одна «корпоративная личность». С этого всё и началось. Спроси у Рика, он тебе расскажет, что за трюк они провернули с Поправкой.

- Так референдум-то был – там ведь об этом речь шла?

- Правильно. Вот ДжиПи и отвечает на референдум: вы нас права голоса лишаете? Ну мы тогда завод-другой и закроем. У вас свои интересы, у нас – свои.

- Не совсем так, - Ричард Шульц с самого открытия новой средней школы преподаёт физику и математику. Его любят дети, родители уважают. – Может быть стоит подождать. Джи Пи со своими интересами никуда не денется. Без нас и без заводов они не проживут.

Беседа принимает слишком общий характер и на время затихает... К политическим темам здесь относятся по старинке – это дело тёмное и чужое. Для особо ушибленных.

- В семидесятых у нас ума хватало не жрать это дерьмо, - никак не может успокоиться сорокалетний сборщик Джим Уолш, - Умели бастовать. И за себя постоять. Скрутили нас, вот и всё. Теперь наши профсоюзные лидеры всё больше толкуют о том, как хорошо они научились с начальством работать. Сотрудничают они, понимаешь! Накануне банкротства управление просит у профсоюза уступку в сотни миллионов, и союз голосует «за». Начальство не враг, нам говорят, и профсоюз не враг. Нет у нас врагов, а мы всё в дерьме. Сами мы себе враги что ли»? «Синдром Лордсвиля» – помните, что такое? Таким титулом нас наградили, когда полторы тысячи не выходили на работу три недели и заставили корпорацию потерять сто пятьдесят миллионов долларов. Теперь у нас другой синдром: «Чего изволите». Не знаю. Может туда им и дорога. Вон в Швеции «Сааб» обанкротился, и никто его не выкупал – рынок, так рынок. Любуйтесь теперь на эту белую кобылку – «Круз» этот, который последним с конвейера сошёл. Решили оставить в городе. Какие нежные чувства! Не знаю, о чём вам эта красотка будет напоминать, а по мне, так подарить её этой суке из Отдела по связям с общественностью и – скатертью дорога.

- Слушайте, вот мы сидим в «Нисе», да? А что это за название? Чьё это имя, знает кто-нибудь?

- Какая разница? «Нис» и «Нис». Слышал японскую сказку о длинном имени?

- Ну-ка, ну-ка...

- Было такое поверие народное, что человек с длинным именем дольше живёт. Родился мальчик в семье, мать сочинила ему имя, а когда после родов ей предложили его сказать, она успела только начать: «Звать его будут Чон...» и умерла. Ну, Чон, так Чон – всё-таки воля матери и так далее... Подрастает он, пошёл со сверстниками играть у колодца, и упал туда. Мальчишки прибегают к родителям: «Скорее, скорее, ваш Чон упал в колодец!» Побежали, вытащили. Спасли, одним словом. А отец тем временем женился опять, и опять сын рождается. На этот раз мать покрепче оказалась и имя выговорила. А имя такое... Готовы? Раскройте уши пошире. «Аньюдо-Конюдо-Моперанонюдо-Хиронюдо-Сетаканонюдо-Хриоманобето-Химето-Хомето-Инотрико-Чони-Чони-Чобикуни-Чоторабицуни-Ногонабицуни...

Начинается неудержимый хохот.

...Анаяма-Канаяма-Амоосу-Комоосу-Моосига-Моосига-Ясикуантони-Сейтоко-Мокуна-Мокуна-Мокудзиба-Мокудзиба-Кохето-Итито-Хихиндзи-Иски.

- Ну ты даёшь! Как ты запомнил-то?

- Что раньше не рассказывал?

- Некогда было. Теперь самое время сказками развлекаться. Надо дальше рассказывать или и так понятно?

- Тоже небось провалился?

- Провалился. Ребятишкам не выговорить было одним духом, пришлось несколько раз сначала начинать, так что опоздали... Теперь они подучились – «Ниссан» и всё. Ну а у нас ещё короче. Только спасать некому.

Берни Морено, дилер из Кливленда, слушает молча, даже не улыбнулся.

- Я предложил им не останавливать производство «Круза», - рассказал вдруг, - Я куплю у вас сто восемьдесят тысяч машин, говорю, и сделаю международную компанию цифрового такси, как «Убер». Завод сможет оставаться открытым ещё несколько лет. Тем временем, вы позаботитесь о том, как быть с ним дальше. Если бы это случилось, три

тысячи человек сохранил бы свои места, не считая всех поставщиков деталей. Работать завод продолжал бы в две смены. Они отказались. Как мне ответили – «после оценки экономических характеристик сделки». Короче говоря, мы сами решаем свои проблемы, а как – не ваше собачье дело...

- Рик, а что там за история с Конституцией?

- Да я не уверен, что вам охота это слушать. Не японская сказка и не такая уж смешная.. Время позднее. Вон Сил на нас уже поглядывает... Что, хозяйка, пора по домам?

- Сидите. Мне самой интересно.

Сильвия Гор едва удерживается, чтобы не признаться, что ДжиПи нанесла непоправимый удар и ей, что через две недели сидеть будет негде. Бойтся расплакаться. Пять лет назад они с мужем осуществили свою давнюю мечту, открыв этот ресторан для всех своих соседей по городу...

- Это такая древняя история... Даже не верится, что до сих пор нам приходится её расхлёбывать. Был такой сенатор Роско Конклин, который в 1868 году принимал участие в составлении Четырнадцатой Поправки. Потом он стал заниматься юридической практикой, а через несколько лет во время одного из разбирательств в Верховном суде, вытащил из архива дневник, в котором как будто записано было, что Объединённый Комитет Конгресса, составлявший текст этой поправки, колебался – какой использовать термин: «гражданин» или «лицо», и в результате выбрал «лицо» – по словам Конклина, именно для того, чтобы оставалась возможность включить в это понятие кооперации. Суд ему поверил и отказался рассматривать жалобу, в которой истцы утверждали, что 14-я Поправка, запрещающая лишать личность защиты, не относится к корпорациям. Это не было даже формальным решением суда, поскольку дело так и не рассматривалось, но в самом отказе было сказано: «Мы считаем, что относится». Вот и всё. С тех пор все, кому охота, вольны заявлять, что «корпоративная личность» – тоже человек. И наделили это анонимное устройство таким количеством прав, что с ним и не потягаешься. Может кто помнит, как Стивен Кольбер шутил: «Вы дочке своей разрешите пойти на свидание с корпорацией?.. Смотрите, кто к нам на обед пожаловал – нефтяная вышка...». А если трезво помотреть – как эта условная личность может «думать»? О праве на аборт, например? Корпорация не может быть живым человеком, потому что она не живёт естественной жизнью, как он, и не умирает естественной смертью, а значит не способна и размышлять о смысле жизни. Задача корпорации – работать для людей, и всё. Для этого она создаётся и получает от правительства разрешение на своё существование. Кстати, кто-то о Референдуме вспомнил... Один из новых законов, которые обсуждаются, как раз об этом: договор об учреждении корпорации должен быть рассчитан на определённый срок и затем возобновляться. Если компания не выполняет своих обязательств, она теряет право на существование. А «корпоративная личность» ставит наши с ней отношения с ног на голову... Там много ещё всяких подробностей вокруг этого дела накручено, но вас и так, я вижу, в сон клонит...

Спят в Лордсвиле больше, но беспокойнее. Потому что не здоровая усталость сейчас вознаграждается сном, а тоскливая и незнакомая тревога. И дело даже не в обрушившемся на жителей неблагополучии – им не привыкать справляться с бедой. Но у самой беды какой-то расплывчатый характер. С какой стороны к ней ни приступишь – она выскальзывается из рук, и мнится, что не в самом городке дело и даже не в произволе запутавшегося в своих правах и обязанностях богатого работодателя. Как будто наползает непроглядный туман, с которым не знаешь как быть, потому что он не природой рождён.

8. Один. Тени разума.

Пустота дома обступает со всех сторон. Потеряв хозяйку, он разом обмяк, провис всеми прочными, стоявшими десятилетия стенами. Оставшиеся внутри приметы былой жизни лишились резкости, застыли, утратив речь, и ни о чём не напоминают. Обитатель жилища старается реже смотреть на фотографии. Он выдерживает этот безмолвный натиск небытия безотчётно, не понимая, каков смысл продолжающегося действия.

Много сил уходит на то, чтобы не позволять себе думать об этом, не отворять дверь, которая впустила бы всю необъятную суть происшедшего. Жизнь раскололась на понятную часть, где природа, здравый смысл и физические подробности события не вызывают вопросов, и другую, которая вся – один невозможный вопрос о полном неправдоподобии и противоестественности случившегося. Первая оставляет возможность следовать дневным обычаям, работать и поддерживать отношения с малым кругом оставшихся знакомых. Вторая, уступи он её вопрошанию – не оставит в живых ничего. Факт неоспорим, его концепция – непостижима. И, как если бы высшие силы не пожелали считаться с пределами души, на обе эти половины надвигается временами тревожная тень нового несчастья.

Рядом с ним продолжается жизнь ещё одного существа, слишком загадочного, чтобы он мог, не обинуясь считать его родственным себе. Их без сомнения связывают отношения отца и дочери, они дружны, и можно с уверенностью сказать, что любят друг друга, хотя природа этой любви представляется неведомой. Ему, по крайней мере, такой род любви незнаком и не совсем понятен.

Жизненные интересы ни в чём не пересекаются. Её любопытство можно было бы сравнить с вежливым и прохладным вниманием постороннего. Его внимание к обстоятельствам её жизни ограничивается пристальным наблюдением и уважением к независимости и скрытности. Но это ещё приемлемо.

Отец и мать девочки выросли не в традициях тесных семейных связей и не придавали особого значения кровному родству. Семьи их оказались непрочными. Обоих родителей вместе они видели очень недолго. Может быть и это оказало влияние на отсутствие у них непрременной тяги к каждому члену семьи.

Их собственная новая семья, однако, сложилась на основе пронзительного внутреннего родства, и распад ей не грозил. Появление третьего участника обогатило их свежими чувствами и драгоценными взаимными обязательствами, которые, тем не менее, располагались в стороне от обычного семейного инстинкта. Единственным, что могло его напоминать, была строгая привязанность к праздникам – и общим и персональным, к радости совместного застолья и тщательно выбираемых подарков, даже когда в праздновании участвовали всего трое.

Тем более опустошающим оказывается отсутствие у дочери подлинного интереса к этому обычаю, сразу же обнаружившееся и никакими силами не восстанавливаемое. Правда и дуэт уж слишком мало походит на настоящий праздник.

Следующей неожиданностью становится случайно вырвавшееся признание, что у неё, по существу, никогда не было матери. Это никак не сочетается с тем, что знал о чувствах обвиняемой он, и выглядит, как всплеск преувеличенной подростковой обиды. Но ей уже тридцать лет. Он не рискует спросить, хранит ли дочь похожие сантименты в отношении отца. И этот вопрос остаётся без ответа.

Как получилось, что ощущения родителей и ребёнка до такой степени не совпали, он понять не может. Просматривая в памяти их долгую совместную жизнь он всё больше

убеждается в том, что мог бы позавидовать ей из-за устойчивого и заботливого присутствия в её судьбе матери и отца, чего сами они были в своё время лишены.

Но он как и прежде верит, что встреча с другим, к которому станешь испытывать чувство безотчётной близости и привязанности, истинной и глубокой любви, зависит от случайности, что иногда эта случайность длится недолго, а бывает и так, что она вовсе не суждена. И что этот феномен не имеет никакого отношения к кровному родству. Но никак не удаётся поместить в эти представления отношения с дочерью. Они остаются двусмысленными, требуют разрешения и пугают возможностью ещё раз подтвердить этот закон.

И безмолвие вокруг. Часто возникает потребность уйти от этих стен. Он выбирается из дому и проделывает догие ночные прогулки по округе, примеряя себя к открытому пространству. Время утекает незаметно, он возвращается спокойным, защищённым на краткий срок от не знающей пощады пустоты.

* * *

Увидев на экране телефона имя Елены, Николас оценил его, как обычное дружеское напоминание о взаимном бытии. Но успев взглянуть на часы, насторожился.

- Леночка, что случилось?

- Не пугайся, ничего особенного. Ты не спишь?

- Нет, нет, я тут заработался.

- А так, всё остальное в порядке?

- Как будто да.

- Слушай, надо бы тебе с Маркушкой поговорить.

- Сейчас?

- Ну, не обязательно... Хотя лучше не тянуть особенно.

- Я могу приехать, но это ещё два часа...

- Мы тут у дома твоего. Я просто не знала в какой ты форме.

Николас выглядывает в окно и видит их машину.

- Идите сейчас же! Что за глупость в самом деле.

Он открывает дверь и выходит им навстречу, но ещё минуту-другую они остаются в машине. Таким он Маркуса пожалуй не видел.

- Ну, вот твой гуру, можешь расслабиться наконец.

- Видал, как новая медицина с пациентами справляется? – В голосе Марка отсутствует обычная уверенность. – Нет чтобы упечь истерика в какое-нибудь тихое местечко. А прямо – в лапы другого психопата, чтобы совсем его до припадка довести.

- Тише этого местечка вам не найти. «Гуру»? Это ещё откуда?

- Я пойду почитаю чего-нибудь, можно?

- Я думал мы чаю попьем, у меня «наполеон» есть.

- Вы поговорите сначала, а потом и чаю выпьем. Я спать не собираюсь.

Ник провожает её в комнату, которая остаётся нежилой. Елена – единственная, чьё присутствие здесь его не смущает, и кого эта комната не пугает тоже.

- Как у Наташи дела?

- Спит.

- Ну, будь молодцом, - говорит она, целуя его в щёку, - Он ничего, только что-то очень растерялся.

Заваривая чай, Николас поглядывает на друга и пытается определить, с какой стороны подобралось к нему это странное состояние. Маркус продолжает молча улыбаться, что больше походит на ухмылку, и при этом не поднимает глаз.

- Ты извини. Не знаю, что на неё нашло. Мы были тут в одном доме, да как-то нескладно получилось, повздорили с хозяином – он мой старый приятель, и поехали домой... А она меня сюда привезла. Я рад тебя повидать лишний раз, но насчёт «гуру» – это всё чепуха, конечно...

- Я, может быть, у тебя в долгу за откровенность, которой ты меня недавно огорошил. У меня нет возражений, хотя вопрос воодушевления, как ты его определил, таким способом всё-таки не решается. Давай, пей чай и начинай исповедь. Насчёт чего повздорили?

- Видишь ли, нам кажется, что мы нашли причину неблагополучия. Наверно и не ошиблись – во всяком случае, хочется в это верить. Но за причиной, которая нам открылась, маячит более опасная угроза. И лучше бы обдумать её уже сейчас, а то наши усилия могут и разочаровать.

- Так кто из нас склонен к драматизму?

- Ты помнишь, о чем меня Алис спрашивала? Она волнуется о пустяках. Мы не просиживаем штаны и давно уже не грезим о благотворительности. То, что нас заботит, не очень легко описать. Мы сами ещё не знаем, что с этим делать.

- О чем речь?

- О цифре.

- Ты понимаешь ведь, что тебе придётся на человеческом языке со мной разговаривать, да?

- Понимаю. Значит так. Сеть уже переполнена информацией, с которой мы пока не умеем справляться – её принято «мёртвой» называть, она застряла, как в горлышке бутылки и продолжает накапливаться – и не сумеем, пока не появится новая машина, а она вот-вот появится.

- Искусственный разум?

- Да, да, искусственный разум, квантовый компьютер, молекулярная электроника, цифровой симбиоз, новые алгоритмы – называй, как хочешь. Способ обрабатывать информацию, нам пока неведомый. Вполне вероятно, что среди этой информации содержится какой-то демон, который многократно умножит возможности тех, кого мы сейчас пытаемся обуздать. Мы можем изъять себя из этого процесса, но не остановить его. Ты понимаешь, что тот, кто первым положит руку на такую машину, приобретёт власть, масштабы которой даже вообразить невозможно. Вопрос в том, надо ли в этой гонке участвовать.

- Ты не преувеличиваешь?

- Об этом я и говорю. С искусственным интеллектом приходит новый метод мышления – совместно с машиной, а с ним – новые идеи. Машины, способные усваивать информацию, пока недоступную, предоставят нам знания – в соответствии с заказанными требованиями. Каковы будут эти требования по нынешним временам, ты сам можешь вообразить. И тот, кто овладеет наиболее мощными машинами, будет контролировать мир. Мы уже забрались в такие дебри информационного леса, что мало кто понимает, куда мы, собственно, движемся. И ни у кого нет уверенности, что там откроется – дивные поляны, или абсолютные джунгли. А что это – реальность или фантом, пение Сирен, нужно решать сейчас. Броситься в эту гонку, чтобы прийти первыми и не потерять преимущества, или предоставить остальным эту... лотерею, в сущности.

- Я понимаю. Это как сочинять конституцию для внепланетных поселений и решать вопрос о персональном владении оружием. Где-то я уже читал о таких проектах...

- Вот-вот. Ещё очевиднее это в автономном вождении.

- В чём?

- Автомобиль без водителя. На подъезде к перекрёстку у него могут отказать тормоза. Чтобы запрограммировать его, проводят статистические исследования, выпрашивая у отстранённого от руля человека, кого бы он предпочёл задавить: беременную женщину или старика; ребёнка или бизнесмена; и так далее. Кое-какие общие принципы определяются. Например, лучше спасти человека, чем собаку. Но как тебе нравится сама постановка вопроса?

- Я бы не взялся за такое программирование.

- Тебя не попросят. Глава этих исследований прямо говорит, что целиком полагаться на предпочтения публики конечно нельзя, но следует учитывать общественное мнение, возможную реакцию на будущие дорожные происшествия. В самой возможности найти решение он не сомневается.

- То есть, математически выразить моральный выбор?

- Более или менее. Самые дотошные из них хотят после того, как эту формулу отыщут, соединить её с наилучшими нравственными теориями, которые предлагает философия. Такой компот тебя устроил бы? Какие из них – лучшие? Бизнес и рынок, тем временем, поторапливают с производством, а принимать участие в решении этих проблем отказались, наткнувшись на такой вот казус: по твёрдому общему убеждению, надо спасти большее число людей, даже жертвуя пассажирами самого автомобиля. И эти же убеждённые говорят, что такую машину не купят. Вот тебе в двух словах – вся этика рынка. Но мы отвлеклись. В конце концов, от этого бесшофёрного вождения можно отказаться. Я имею в виду более опасные вещи. Мы можем в затворничестве отточить и отполировать наш топор, а раскрыв двери встретить квантовый аннигилятор – даже без оператора, кстати.

- Или не встретить...

Пожав плечами, Марк оставляет вопрос без ответа.

- Это ты называешь лотереей?

- Это я называю бессонницей и ночным кошмаром.

- А к чему твои коллеги склоняются?

- Разные есть люди. Но в общем-то они готовы в этой гонке участвовать.

Сложность в том, что тут нужно объединяться с биотехнологией, у которой своих проблем хватает; и во-вторых, изоляция в этом случае работает против нас, потому что шанс кое-что пропустить очень велик. Но главное всё-таки – это самый первый вопрос: нужно это человечеству или можно обойтись?

- Ты же говоришь, что процесс остановить нельзя.

- Ну, на любой остроумный вопрос у нас есть любой остроумный ответ...

- Ах вот что. Костёр нового обскурантизма и мракобесия.

- Что ж, мы многое с ног на голову ставим. Может настала такая пора, когда в самый раз тормознуть нового Сцилларда. И это окажется не обскурантизмом, а вполне нравственным выбором. Технология расщепления ядра – это ведь как раз из тех открытий, которые принесли больше практического вреда, чем пользы. И теоретическое его значение не очень велико. В любом случае через 200 лет уран кончится. А вот поймать этот момент, когда после того, как открыли нейтрон, расщепили ядро, выпустили гигантскую энергию, изобрели контролируемый процесс её высвобождения – и не

податься в сторону практического её использования – это ведь, пожалуй, не мракобесие, а здравый смысл. А те, кто туда подался – уже и не чистые теоретики, и руководствовались не совсем научным поиском. Тогда это не костёр, а противопожарные меры...

- Ну хорошо, сами себя мы можем приостановить, но как ты повлияешь на остальных?

- Вот ты мне и посоветуй. Тогда я и с сенатором могу разговаривать или ещё с кем-нибудь.

- Что ж ты меня не спросишь? – раздался голос Лены, которая оказывается уже некоторое время стоит в дверях, прислушиваясь к разговору. – Я бы тебе сказала. И не надо было бы мучать Колю среди ночи.

Николас встаёт и, усадив её за стол, идёт за чашкой.

- Уравняйте свою цифровую галиматью в правах с медициной, и будете все работать вместе.

- Нереально.

- Мне кажется, это возможный вариант, - поддерживает её Ник. – Вам даже легче будет это сделать, наверно. Это их лаборатории существуют на деньги корпораций и от них зависят, а вы умудрились стать и тем, и другим – сами себе хозяева.

- Тоже уже не хозяева. Вливаемся в ту же корпоративную систему.

- Некоторое время назад, - продолжает Елена, - чуть не разразился большой скандал. Вы помните, может быть. Вдруг начали увольнять из лабораторий биологов-китайцев. Причём очень агрессивно себя повело ФБР. Разнёсся слух, что Китай крадёт нашу интеллектуальную собственность, и, стало быть, все их соотечественники, даже те, кто здесь гражданство получил, тайно работают на родину. Ну, чуть не гестапо началось. Всё это бред, конечно – обычный научный обмен, без которого трудно вообще работать. Может быть, было пару случаев, когда кто-то взял домой свои бумаги. Ни о каком шпионаже тут речи быть не могло. Не станет учёный такой чепухой мозги засорять. Наверно и у Китая совесть не чиста, но одно к другому не имеет отношения. Теперь, как будто одумались, и к медицинским исследованиям карантин не относится. Вот и вы – расставайтесь со своими секретами и берите с нас пример.

«Карантин», повторяет Ник про себя. Это слово ни у кого ещё не связывается с новой политикой. А ведь очень может быть, и его следовало бы принимать а расчёт, имея в виду теперешнюю географию.

Марк, тем временем, готовится к главному своему вопросу, сформулировать который труднее всего.

- Хорошо. Допустим это осуществимо. Теперь я попробую вам описать, что происходит внутри, чего вы знать не можете. В медицине идёт острое соперничество, которое изуродовал рынок. Тут может быть достаточно напомнить, что есть глубокая разница между тем, чтобы изобрести лекарство и получить за это вознаграждение, и тем чтобы придержать своё открытие, пока не выжмешь из него как можно больше денег, не особенно задумываясь о тех, кого оно не успеет вылечить. В цифровой революции речь идёт о фундаментальных идеях, о мировой власти. И мы уже с ней рядом. Когда находишься по соседству с могучими идеями, создаётся сильнейшее напряжение. Это, пожалуй, новая война – может быть последняя. Во всяком случае, ничего подобного человечество ещё не испытывало. И это не противостояние добра и зла. Это сугубо внутрочеловеческое столкновение рассудка с культурой – двух равноценных свойств человека, предназначенных для его совершенствования, но каким-то диким образом оказавшихся в конфликте. Страх перед искусственным разумом неверно адресован и

вводит в заблуждение. На самом деле это неосознанный страх перед разумом заблудшим, уже присутствующим без всяких открытий. И только потому, что именно ему предназначено создать человеческие автоматы, они нас заранее пугают. Не этих будущих монстров следует бояться. Тут не какая-то внешняя сила, подобная микробу, стремится разрушить живой организм – он начинает разрушать сам себя. Внутренний дефект, искажённая структура человеческой природы. Хоть о селекции мечтай... Но кто будет отбором заниматься? Единственное, что может быть доступно – попробовать сохранить и способствовать умножению разумной, ещё не изуродованной части человечества.

- Разве реформа образования не этим продиктована?

- Случайная догадка. В любом случае этого мало, и всё это слишком медленно.

Злополучный Лео Силлард, верша свои гнусные делишки, сказал однажды, что для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день быстрее большинства.

Маркус распространяет необычную раздражающую волну и, поглядывая на его жену, Ник начинает понимать, что её обеспокоило и заставило на ночь глядя привезти его сюда.

- По-твоему, может быть способ это ускорить?

- Нет. Но можно заняться производством вирусов, которые сведут с ума весь их искусственный интеллект...

- Это уж в самом деле – война.

- А ты думал, я роман тебе излагаю?

- Кто ещё силён в этих делах? С кем надо считаться?

- Китайцы... Насчёт вирусов – наши с тобой компатриоты на этом сидят, но они нам не союзники.

- И ты считаешь, что сговориться там не с кем, в Китае?

- Там пока правительство распоряжается. Но ты не слушаешь, что я говорю – о чём сговариваться-то?

- Знаете что, вы не хотите пройтись вокруг дома? Сейчас хорошо, тихо... Мне это всегда помогает.

Все трое как будто догадываются, что подвешенный вопрос утекает за рамки времени и не предполагает скорого ответа. На коротком отрезке пути вдоль Пятидесятой дороги, который им предстоит пройти, прежде чем свернуть на параллельную улицу, никто не произносит ни слова. Шоссе в этот час пустынно, лишь очень далеко впереди одинокой кобальтовой точкой светится сигнал стоящей полицейской машины.

Перебирая всё сказанное Маркусом в попытке найти тот пункт, с которого можно было бы продолжить разговор, и не находя его, Ник спотыкается вдруг о как-будто бы посторонний вопрос: почему друзья обращаются именно к нему? То, чем он отличается от остальных знакомых Маркуса, гораздо более сведущих в изложенных проблемах – это, пожалуй, лишь его принадлежность к другой области, к миру культуры. А попытка выснить отошения с коллегой, как он понимает, привела к скандалу.

Они сворачивают направо и движутся в обратном направлении. Эта улица более разнообразна в архитектуре домов, но столь же пригородна в их общем стиле. Сентябрьские ночи стоят тёплыми.

- В твоём противопоставлении рассудка и культуры последняя играет очень пассивную роль. Это неизбежно – рассудок агрессивен, настойчив, если не сказать назойлив. Его предложения требуют ответа, взаимодействия. Самый активный элемент культуры это, пожалуй, искусство, но ведь оно в некотором смысле самодостаточно. То есть, оно активно в той мере, в какой к нему обращаются. Как, собственно, и религия.

Какая же может быть война с безоружным противником? Просто побоище, истребление. Ты готов предположить, что ресурсы культуры исчерпаны?

- Этого я не знаю.

- Ну подожди. Лена, я и вообще большинство – не опасны, у нас к вашим секретам доступа нет. Но ведь и ты вроде не поддался ещё безумию. О чём тебе наяривает твой рассудок, ты знаешь. А что поддерживает в тебе ту, вторую часть твоего существа? Сенаторша спросила, что тебя спасло, и ты отмахнулся – случайность, мол, я даже и не заметил. Так если вспомнить всё-таки.

- А о чём шла речь? – спрашивает Лена, - Может, я тебе напомню? Я ведь знаю, когда ты бросил свои прежние замашки...

- Да нет, это ерунда. Ты про актрису эту что ли? Мало ли бывает сильных впечатлений. Один случай ничего не решает.

- Нет, не один случай. Я тебе много чего могу назвать. Ты только всё трусишь чего-то.

- Что за актриса? – переспрашивает Николас.

- Не надо. Вы берётесь за какой-то психоанализ. Это моё дело, в конце концов.

- Да? – не уступает Лена, - Зачем же так безобразно низко вдруг оценивать одно из самых важных своих переживаний. Наших. Заодно и её куда-то в небытие задвигаешь...

- Ну и рассказывай сама, раз вспомнила.

- Придётся. Не думала, что когда-нибудь буду такое объяснять... Был один вечер... Год назад?

- Больше.

- Пусть больше... В общем так скажу. Я в театр не ходила, перестала ходить, потому что скучно стало, ничего особенного я там не ждала. Теперь не могу собраться, потому что... Ну, как будто опасаясь. То есть, очень хочется – но очень страшно. Такого ощущения я нигде больше не испытывала, и не думаю, что его можно как-то иначе испытать... Она нас переместила в другое место... Даже не место, таких мест не бывает – в другое пространство, наверно можно сказать, да?

- Да, что-то такое...

- Кто это? – перебивает Николас.

- Холман. Патриша Холман её зовут. По-моему, её мало кто знает. В кино она не снимается и в мюзиклах не играет. Шоубизнес здесь – сам знаешь какой.

- Патриция Хольман – это ведь из Ремарка.

- Ну, может это её псевдоним, не знаю. Короче говоря, я тогда поняла, что всё, что думают о театре, что я сама думала – никакого отношения к нему не имеет. И что настоящий театр – это только актёр или актриса с таким завораживающим даром, который открывает в тебе самого себя изнутри... То есть, такого себя, о котором ты понятия не имел. Можно так сказать, Маркуш?

- Жуткое дело, старик. То есть, оно прекрасное! Таким счастливым я себя и не помню. Разве что когда вот доктора первый раз увидел...

- Вы мне не говорили...

- Да о таких вещах не говорят. Не о чем говорить. Тут надо брать за руку и вести, чтобы ты сам всё это пережил. Но ты ведь тоже не бог весть какой театрал.

- Так что это всё-таки было?

- Обычная афиша в Арене Стейдж, никакой шумихи. Я ещё сомневалась сначала – всё вокруг такая тоска зелёная. Но это было что-то несусветное. «Жаворонок» называлось, о Жанне Д'Арк. Нет, не так... Это не биография, это такой монолог, который не даёт тебе

передохнуть и переворачивает всё внутри. Там много действующих лиц, но ощущаешь это, как монолог. В конце концов получается, что даже и не в Жанне дело, а вот в этой фигуре, которую они вместе создают – она и актриса. И это, конечно, совсем не коммерческое предприятие. Я даже не знаю, как она, да и все они выживают. Вообще, откуда всё это взялось – непонятно.

- Такая тоска, - Маркус вдруг выпаливает горячо, даже хватая Ника за локоть, - такое чувство утраты, оттого что всё кончилось, и ничего этого в руках не удержать... И вместе с тем – жуткая гордость за себя, и за неё, которой под силу такое с тобой совершить. Я не знаю, как объяснить в их специальных терминах... Всё остальное становится – не то что незначительным, но управляемым, второстепенным. Наверно надо было нам не упускать её. Как-то попытаться познакомиться что ли, а?

- Надо было. Хотя бы поблагодарить. Но мы просто растерялись. А она представлялась чем-то просто недостижимым.

- Какие, оказывается, интереснейшие вещи с вами происходят. Конечно надо её разыскать.

- Ну вот, это одно, - продолжает Лена, - а незадолго до этого мы открыли – у Ремарка, кстати, один роман, «Возлюби ближнего своего», о котором раньше не слыхали. Это немножко другого рода впечатление, конечно. И сразу ещё американца одного, Торнтон Уайлдера... Всё это загадочные, необъяснимые переживания, но очень сильные. И так одно за другим – ещё какие-то подробности наверно подвернулись. А потом кибернетик наш вдруг затосковал. Тут и политические новости подоспели. Трудно сказать, что сначала, что потом, но одно потрясение точно имело место.

- Так это не мне вас, а вам меня утешать. Я тоже печалюсь по поводу наших художественных потенций. Слишком редко дают о себе знать. А они никуда не делись значит.

- Всех в Арену Стейдж не загонишь.

- Всех и не надо. А вот держать при себе свои сверхъестественные впечатления и считать их личным делом – грех. Чтобы уходило два – или сколько там было – года, прежде чем вам взбрёт в голову ими поделиться. Может быть это ещё не война, Маркуша, а всё та же вечная тяжба. Всю историю основная масса людей жила как бы без искусства. Оно всегда было достоянием ничтожного меньшинства. Но это меньшинство каким-то образом ухитряется культуру сохранять и поддерживать. Сейчас в списках бестселлеров – а это уж прямое зеркало коммерции – и то регулярно появляются «Над пропастью во ржи», «451 по Фаренгейту», «Убить пересмешника», роман Оруэлла. Это ведь не единицы, а статистически значимые цифры. Почему такому количеству людей приходит в голову обратиться к этим книгам? Или вот ваш неожиданный спектакль... Художник – «холодный сапожник», частный фермер, нечто противоположное агробизнесу, например – то есть, цель той самой реформы, которую здесь взяли осуществить. Так что, ты, в общем-то, сам на свои вопросы отвечаешь.

- Те, кто рвутся к машине, таких впечатлений не испытывают.

- Но это не важно! Они ничего не найдут. Пруст в одном письме говорил, что настоящая жизнь, которую переживают в любое мгновение все люди, открывается и высветляется только искусством. Люди её не видят, так как не пытаются направить на неё луч света. В результате вся их прошедшая жизнь остаётся нагромождением негативов, которые пропадают без пользы оттого, что разум людей их не проявил. Та «мертвая информация», которая тебя пугает, и которую новые машины могут «проявить», она мертва не потому что недоступна, а потому, что она – не жизнь. Что бы там машины вам

ни наплели, оно никак не сможет соперничать с тем, что проявляет, открывает искусство. Вот у него действительно есть «любой остроумный ответ на любой остроумный вопрос». Я бы сказал, что гораздо более остроумный, чем сам вопрос. Сверхреальность – вы сами говорите. Раскрепощающая функция, – разве её можно сравнивать с гипотетическими цифровыми открытиями? Если, как ты говоришь, это война, то развязал её рассудок себе на голову, и похоже, что для него она заранее проиграна.

- Ты не знаешь, как далеко зашёл этот монстр.

- Хорошо, вернёмся к твоему примеру с автовождением. Если бы это случилось, я думаю несколько миллионов водителей потеряли бы работу. Но у них ничего не выйдет, потому что формулы они не найдут, а философия – если только они действительно решат к ней обратиться – как раз и ответит, что это невозможно. Кто тут, по-твоему выигрывает, машина или человек?

- Так что, просто ждать?

- Разве мы только ждём? То, о чём Лена говорит, наверно имеет смысл обсудить – насчёт медицины и вашей технологии.... Вот забывать твою актрису никак нельзя. А вирусами воевать может быть и не стоит.

Они уже входят в дом.

Во время повторного чаепития, на этот раз с «наполеоном», Маркус отваживается ещё раз потревожить покой – и свой, и своих собеседников.

- Мне всё-таки кажется, что вопрос не в том, что мы делаем с машинами, а в том, что машины уже делают с нами. Один из девяти гигантов, китайский «Алибаба» выпустил новую программу, которая читает текст и затем может ответить на вопросы, связанные с этим текстом. По показателям эта программа опередила похожие попытки и дала лучшие результаты даже в сравнении со среднечеловеческими. При этом программа понятия не имеет, о чём на самом деле идет речь в тексте. Но ведь этот оттенок очень легко пропустить, воодушевившись тем, что ответы – правильные. Так ли уж важно, что машина чего-то там не знает? Так ли уж важно это знать нам, если мы заинтересованы прежде всего в правильных ответах? Теперь поставь эти правильные ответы в геометрическую прогрессию всё усложняющейся технологии производства и придёшь к абсолютной зависимости от машин, которые уже и выключить будет нельзя, и которые ещё и самовоспроизводятся. А мы уже начинаем откладывать в сторону наши сугубо человеческие знания, которые в целом можно было бы определить как «здоровый смысл», потом перестаем заботиться об их существовании, и наконец, забываем о том, что они когда-либо вообще существовали.

Ты понимаешь, создание искусственного разума, с точки зрения свободного рынка – взаимный, встречный процесс. Мы повышаем интеллектуальный уровень машин и не приметно опускаем свой, чтобы побыстрее добиться успеха – эффективности, прибыли, доходов, а это и есть конечная цель капиталистического способа мышления. Я, между прочим, не уверен, что хозяева «Алибабы» знают, чьим именем они свою компанию назвали. А если даже и помнят, что это какой-то там сказочный персонаж, то уж никаких подробностей сюжета наверняка не вспомнят. Ты вот спросил бы своих студентов, кто такой Алибаба. Интересно, что они тебе ответят.

- Я тебя удивлю, но я и сам не помню, в чём там дело.

- То-то и оно. И я не помню. Лен?

- Там ещё сорок разбойников появляются... А вообще, это ведь из «Тысячи и одной ночи» сказка, кажется.

- В конце концов совсем не обязательно помнить сюжеты всех сказок.

- Нет, не обязательно. Но если они толком не знают, почему решили выбрать из своей дырявой памяти какое-то имя, что помешает им в следующий раз выбрать, например, Вельзевула? И окажемся мы со всех сторон окружёнными злыми духами. А они ведь тоже как-то работают, на свой лад...

- «Тысяча и одна ночь»... Сама по себе замечательная история... А что если мы, в качестве индивидуальной борьбы с рассудком, почитаем на сон грядущий?

- Ну да, мало мы тебя помучали.

- Я в порядке. Лена, ты как? Спать? Или послушаем Шехерезаду?

- Я не против, но, боюсь, толку мало будет. Все устали. Может, в следующий раз.

Гости остаются ночевать, а он не удерживается и перед сном раскрывает книгу в твёрдом переплёте с золотой арабской вязью на чёрной обложке.

«Но тут застигло Шахразаду утро и она прекратила дозволенные речи.

И сестрица её сказала: «О, как сладостен твой рассказ, и хорош, и усладителен, и нежен».

И Шахразада ответила: «Куда этому до того, о чём я расскажу вам в следующую ночь, если я буду жить и царь пощадит меня...».

Он отключается на неоконченной, не вполне проявившейся мысли о том, что сказки лучше бы дочитывать до конца...

9. Как мы читаем.

Человек не живёт один, и мудрости набирается в общении с другими. Но при этом настоящие мудрецы настаивали, что последняя, глубочайшая из доступных ему истин открывается каждому в самом себе, а для этого ему нужна та или иная форма временного уединения.

- Что же такого драгоценного обещает эта глубочайшая, последняя? – дружелюбно возражает бармен, пододвигая к вам последний напиток, но ничем не показывая, что он торопится избавиться от засидевшегося посетителя. – По-моему, мы наилучшим образом обходимся без неё? И зачем ко всем нашим заботам мы должны прибавить ещё и поиски уединения? Где его сейчас найдёшь?

Приходится признать, что отнюдь не всех эта истина интересует, и мало кто так уж стремится к одиночеству. Более того, для большинства уединение тягостно, и естественным, благополучным состоянием они считают почти непрерывное общение с себе подобными.

- Бывает в жизни такое время, - отвечает вы общительному бармену, - когда разговоров становится недостаточно, когда никто не в состоянии разрешить вопрос, ответ на который становится делом жизни и смерти. И человек оказывается в изоляции, может быть сам того не желая, но именно там, если ему повезёт, он находит нужный ответ.

С этим ваш собеседник спорить не станет. Может быть ему припомнится какой-то похожий опыт. Есть даже небольшой шанс, что, соглашаясь с вами, он напомним о Господе Боге нашем, Иисусе Христе, которому при всей уверенности в своём сыновстве пришлось всё же сорок дней – или сколько там ему понадобилось – искать ему одному ведомый ответ в пустынном одиночестве.

Но приложима ли эта древняя мудрость к целому народу?

Бывало оказывается и такое. Только если человеку хватило сорока дней, народу может понадобиться гораздо больше времени, как, например, догадался в своё время Моисей, который десятки лет водил евреев по пустыне, чтобы вымерли поколения с рабской психологией строителей пирамид, и в землю обетованную пришли свободные люди.

* * *

- Добрый день. Спасибо за ваши работы. Много интересного. Я надеюсь, вам чуть более понятным стало, каким важным средством в литературе является сюжет – он помогает обнажить силы, которые прячутся за видимыми столкновениями. И только глубокое переживание этих скрытых сил может привести к катарсису – пониманию не самой ситуации, а лежащего в её основе смысла. Это и есть основное событие искусства – в данном случае литературы – ради которого творятся его произведения, как особые инструменты, механизмы преобразования и в результате – созидания человеческой личности.

С первой частью вы справились. Но в ответе на второй мой вопрос – о том, к какого рода откровению приводит нас «Царь Эдип», у вас возникли сложности. И это, пожалуй, самый ценный урок. Тут одно из двух: либо вам не удалось это откровение испытать, либо вы не в состоянии его сформулировать. Воспроизвести этот таинственный процесс можно только читая, слушая, смотря, присутствуя на самом представлении – с начала до конца. Адекватно передать такое впечатление с помощью описания невозможно. Так что, отсутствие ваших ответов на мой вопрос – это в некотором смысле тоже ответ. И всё же я хочу, чтобы мы попытались хотя бы приблизительно это изобразить, в форме намёка, как один из бесчисленных вариантов настоящего впечатления. Знаете почему это важно? Потому, что мы часто обречены в таких встречах проходить мимо – нам не совсем ясно, чего именно следует от произведения искусства ждать. Может быть такая попытка даст нам хотя бы почувствовать вкус этих волшебных открытий.

Давайте сначала расчистим поле от вещей более или менее очевидных. О том, что нарушившего некий высший закон, даже по неведению, ждёт неминуемая расплата, мы, в общем-то, догадываемся ещё и до этого опыта, да? О каком законе здесь может идти речь?

- Не убий?

- Догадаться легко. Но мы уже сообразили, что трагедия передаёт нам знание о том, о чём мы ещё не догадались. Один из вас – или одна, я не хочу никого разоблачать – отметил вот что: убийство собственного ребёнка – не менее тяжкое преступление, чем будущее, гипотетическое убийство им своего отца, которое ничем не обусловлено, кроме намёка Оракула. И тогда одним из откровений может оказаться следующее: преступление нельзя предотвратить преступлением. Как? Достаточно глубоко для катарсиса?

Класс явно демонстрирует нерешительность.

- Нет? Ваши требования высоки, вы растёте прямо на моих глазах. Сюзан, вы в прошлый раз обратили внимание на повторяющиеся несчастья в Фивах – и оказалось, что это очень важная подробность, указывающая на глубоко скрытые обстоятельства. А что ещё по ходу дел случается дважды?

- Трижды – девушку опережает её сокурница, - Предсказания Оракула. Если считать прорицателя – даже четыре раза. Так это как будто самая обычная вещь для них, вроде как к психоаналитику сходить.

- Возможно. Но я имею в виду два похожих предсказания: сын убьёт отца. Вот вы говорите – обычная вещь. А вас не смутило, как они относятся к этим предсказаниям?

- Они верят, не сомневаются, что они исполнятся. И пытаются от них ускользнуть. Фиванские царь с царицей убивают своего ребёнка, а Эдип бежит от родителей.

- Давайте подумаем о этом. Об этой слепой вере в предсказания. Человек, в сущности, видит себя готовым любое предсказание исполнить, да? И, тем не менее, пытается тем или иным способом этого избежать. Как же так? Значит, где-то в тайниках души гнездится сомнение? Но как это соединить? Кому он больше доверяет – себе или Року? И прибавьте к этому ещё одно: именно эти его усилия уклониться от судьбы как раз и приводят к её исполнению. Что это? Неужели только глупость?

- А как можно по-другому – просто дождаться исхода?

- Давайте подумаем и об этом. Но тут, чтобы наше представление было более полным, нам надо вернуться к истокам мифа. Тема сыноубийства и отцеубийства или самоизгнания детей, как попытки его предотвратить, устойчиво присутствует в мифологии самого начала, с космогонии, с мифа о сотворения мира. Первым преступником был сын основателя вселенной Урана Кронос, пожиривший своих детей сразу после рождения, стремясь избежать предсказанной ему гибели от сына. Потом этот сюжет повторяется у греков много раз в разных вариантах. Избежать рокового исхода, как правило, не удаётся никому. Откуда взялась эта настойчиво внедряемая мифом идея? Что за неустранимая сила присутствует в мире, побуждающая сына погубить отца, и есть ли такая сила? Есть. Но только содержится она в природе совсем не в такой радикальной форме, какую на первый взгляд предлагает миф, всего лишь побуждающий нас задуматься о самих себе. Надо помнить, что все эти инструменты познания никогда не дают советов и не диктуют правил. Они лишь стимулируют человека к внутренней работе. Речь идёт не о сознательном и волевом преступлении отпрыска, а о том, что самим возникновением и существованием своим он предопределяет продолжение жизни и рода, уже не зависящее от родившего его предка. Он как бы свидетельствует о том, что функция родителя выполнена, и жизнь в его участии, в общем-то, более не нуждается. Но это лишь одна, внешняя, биологическая сторона бытия. Ещё одним, более житейским проявлением может служить хорошо известное противостояние отцов и детей. Кое что об этом вы и сами знаете. Для ранних времен человечества, когда идея рода ещё преобладала над более поздними идеями общества и личности, эта тонкая насмешка природы могла сильно будоражить воображение и порождать самые крайние представления. Но демонстрируя её в острой форме, миф лишь испытывает человека, бросает ему вызов: «Такова природа. Согласен ли ты подчиниться её законам? Или берёшься противопоставить им какие-нибудь иные ценности, более соответствующие твоему положению и роли в мироздании»? А следующий такой инструмент, трагедия, открывает нам, что происходит, когда человек подчиняется природе, безоговорочно принимая предсказания оракула. Оракул говорит языком мифа, это ещё не Рок. Конечно подобное предсказание – вещь пугающая. Возможно, вообще следует избегать таких заглядываний в будущее. Но раз уж тем или иным образом ты с этим предсказанием столкнулся – так ли следует обращаться с провидением, с жизнью, с самим собой? Может быть правильнее работать с провидением на том высоком уровне, которым оно определяется, а не бороться с ним практическим своим умом и примитивной сообразительностью. Да, что бы ты ни делал на свой лад – ты не выйдешь из рамок провидения, потому что тебе не дано видеть целостную картину мира. Но если найдёшь силы стать с ним вровень, может быть удастся его исправить, прожить предсказание по-своему или раскрыть его иносказательный смысл. Кто-то,

вместо того чтобы ускользнуть, должен взять всё на себя, как и положено человеку. Начиная с Лая и Йокасты, решивших убить сына и в результате не столько исполнивших свою роль в трагедии, сколько бездумно её запустивших. Неизвестно, как развивалась бы судьба преступных родителей, если бы Эдипу удалось удержаться и изъять себя из этой трагической коллизии. Возможно их ждала какая-то иная расплата, и это стало бы сюжетом другой трагедии, с другим именем в названии. Эта трагедия – об Эдипе. У него до поры до времени оставался шанс. Надо-то было всего лишь удержать дрожь в коленках, понадеяться на свои силы и мудрость родителей и остаться в Коринфе. Он не встретил бы отца и не убил бы его. Не попал бы в Фивы и не женился бы на матери. И в Коринфе всё образовалось бы, потому что там-то никакой угрозы на самом деле и не было – это были не его родители. Но для этого необходимо было собрать волю и встретить пророчество лицом к лицу. Кто-то когда-то должен это сделать. В этом смысле Рок – это, с одной стороны, в самом деле неотменимый закон, которому приходится следовать, но с другой – это закон не природный, а гораздо более высокого уровня, его не следует пугаться, и лучше обращаться с ним грамотно. Какой-то мгновенный панический страх лишает человека способности трезво мыслить. Внезапный и неуправляемый испуг – он длится всего секунду, ничем по существу не обоснован, но может определить твоё поведение – и судьбу – на всю оставшуюся жизнь. Это случилось с фиванским царём и его супругой. И трагедия со всей убедительностью излагающая ход событий, попавших в сферу влияния так называемого Рока, неумолимого сцепления внутренних и внешних причин и следствий, вызывает в нас неожиданное осознание, прозрение о скрытых возможностях человека, им не используемых. Это чувство не является прямым результатом столкновения противоборствующих сил – оно вообще располагается вне коллизии и приходит к нам, как наитие. В самой трагедии вы не найдёте об этом ни слова.

Ну, вот вам один из вариантов. Я до сих пор помню, в какой момент испытал нечто, похожее на откровение. У каждого из вас это могло бы произойти в каком-то другом месте. Но если хотите, могу вам сказать о себе.

Следует немедленное громкое и дружное требование, выражающее острое любопытство.

- Когда пастух, который некогда унёс Эдипа в горы, отвечает на его вопросы. Вот этот диалог:

- Ребенком Лая почитался он...
- Но лучше разъяснит твоя супруга.
- Так отдала тебе *она* младенца?
- Да, Царь.
- Зачем?
- Велела умертвить.
- Мать – сына?
- Злых страшилась предсказаний.
- Каких?
- Был глас, что он убьёт отца.

Вот этот последний поворот ключа: «Мать – сына»? Она ведь сама уже рассказывала ему о том, что им с мужем было предсказание, и что они отправили ребёнка на верную смерть. Но тогда это сообщение его не смутило. А тут вдруг – такая острая, такая понятная реакция. И внезапно открывается необъятная пропасть между нашими обычными делами и какой-то вечной, неустранимой правдой... «Мать – сына?»... Страшно, да? Если вам повезло, вы пережили серьёзную встряску. Может быть это можно

сравнить со зрелищем столкновения двух пассажирских поездов. Время помолчать. А спустя несколько дней, а то и недель, вы обнаружите, что чуть иначе стали смотреть на некоторые вещи.

И последнее. Может быть, не следует спешить, называя это знанием – оно не из тех знаний, которые легко удержать в памяти, и вскоре покинет нас. Очень часто мы даже сами его изгоняем, потому что оно налагает на нас ответственность, а мы не готовы её разделить. Но мы можем вновь и вновь обретать это знание, отдаваясь в объятия трагедии – или иного опыта, предоставляемого искусством. Есть и другие пути, но этот – самый доступный и... наиболее безопасный.

Время лекции ещё не вышло. Но Ник чувствует, что на сегодня им, может быть, хватит. Надо, однако, нажать какую-нибудь другую клавишу, чтобы завершить урок на более прозрачной ноте. Ему приходит на помощь Пит Энглтон – обычно не особенно активный в диалогах.

- Можно переписать, то, что я вам отдал?

- Пишите ещё – всё, что вам придёт в голову. То, что вы сделали уже очень хорошо, там ничего переделывать не стоит. Кстати, имя Патриши Холман кому-нибудь знакомо?

- А вы её знаете? – это Сюзан, сидевшая последние несколько минут, прикрыв ладонью лицо.

- Нет, но много слышал о ней. Хотел бы на неё посмотреть.

- Пат будет в Арене в ноябре.

- Вы с ней знакомы?

- Не с ней, со спектаклями её.

- И каково впечатление?

- Не смогу объяснить. Как вы сказали, это надо самому увидеть. Сходите. Можем все пойти. Но лучше это смотреть не в компании.

- Хорошо. Мы не успели «Гамлета» коснуться, как собирались. И это даже к лучшему. Перечитайте ещё раз, имея ввиду вот что. Мы говорили сегодня о разном отношении к предсказаниям. Представьте себе такое положение, где Провидение пробует свои силы на сильной личности. Что если герой, находит в себе мужество встретить его лицом к лицу? Что может произойти с таким персонажем? Всё на сегодня. Спасибо. Будьте здоровы.

10. Скрытые возможности.

Внешне Пол Браун мало чем отличается от местных жителей. Средних лет, с поредевшей шевелюрой, в тёмной рубашке и стёганом жилете, этот человек никак не воплощает волшебное преобразование Лордсвиля. И говорит он странно, подняв свой взгляд над собравшимися, так что некоторые готовы уже пойти домой, где их ждут более насущные дела.

Неопределённое положение затягивается, безработица заставляет разъезжаться, осложнившиеся личные обстоятельства забирают на себя всё больше внимания. И так не слишком многочисленная община распадается, и городок уходит на задворки, вливается в безымянное множество малоизвестных уголков страны, чьё участие в общей жизни не имеет значения. Велика и инерция зависимости от могучего бывшего соседа, и ещё теплится надежда, что его удастся вернуть.

И всё же нечто в облике главы компании, собирающейся купить завод Дженерал Пауерс, вызывает слабое любопытство – какая-то скрытая мысль, не выраженная в речи, а лишь присутствующая в этом взгляде поверх голов,. И они продолжают слушать.

- Вы знаете, что мы ведем переговоры с ДжиПи, а они выясняют отношения с профсоюзом и так далее. И всё это может решиться помимо вас – не знаю, интересует эта подробность кого-то или нет. Меня это смущает. Одно дело, когда в соседний дом въезжает новый хозяин – ну, вы будете с ним видаться мимоходом утром и вечером, и больше ничего. И совсем другое дело, если вам предстоит вступить с соседом в деловые отношения, которые отразятся и на вас, и на ваших детях. Я не знаю, есть ли у вас выбор. Мне хотелось бы, чтобы был. И я не собираюсь агитировать вас за свою компанию – может быть, вам будет лучше, если ДжиПи вернётся. Но я хочу, чтобы у вас было ясное представление, с чем вам придётся иметь дело, если события обернутся в нашу пользу. В настоящий момент мы с вами оказались в похожем положении...

И жителям Лордсвила приходится узнать, что «Уилхорз» отнюдь не сказочный принц, который явится, чтобы озолотить городок.

Компания, создавшая удачные модели коммерческих пикапа и фургона на электротяге, получившая тысячи заказов от транспортных фирм и частных лиц, ожидающая контракта с Федеральной почтовой службой на шесть миллиардов долларов, уже испытывавшая комбинацию фургона для доставки товаров с ею же производимым беспилотным дроном, разрабатывающая пилотируемый дрон, призванный совершить переворот в персональном транспорте, в индустрии такси, служб срочной помощи, в военной индустрии и работе фермеров, испытывает трудности из-за того, что попала в сложную систему займов и вкладных у разных финансовых фирм, которые, преследуя свои цели перемещения капитала, сдерживают развитие производства, будучи мало заинтересованными в дальних целях и ещё меньше – в общественной пользе.

Выхода из этой ситуации и ищет сосредоточенный и приподнятый взгляд этого предпринимателя, изобретателя новых и полезных машин, уклоняющегося от шумных рекламных компаний, осторожно ищущего крупных вкладчиков, которые, в свою очередь, ищут быстрой прибыли и ставят свои кабальные условия.

- У вас не должно быть впечатления, что мы захлебнулись. Последний займ дал нам возможность разделаться с предыдущим и оставил достаточно средств на покупку сборных компонентов, чтобы запустить производство фургонов. Но по условиям займа, компания не имеет права использовать деньги на зарплату рабочим. Эти их правила иногда могут с ума свести, но они существуют. Так что, чтобы запустить сборку, мы ждём новых вкладов.

- А где вы ваши машины выпускаете? – перебивая говорящего, спрашивает Сэм ВанДузен.

- Наш завод находится в Юнион Сити в Индиане. Если нам повезёт, будем выпускать и здесь. Не только фургоны и пикапы, но и дроны, потому что они технологически связаны.

- Всё это звучит увлекательно, - замечает учитель Рик Шульц, - Но что мы-то можем сделать? От нас ничего зависит.

- Может быть, кое-что и зависит, - вступает в разговор мэр города Адам Вулф, - Я, честно говоря, сомневался, правильно ли будет нам встречаться с Полом, пока переговоры продолжаются. А потом подумал, что чем больше мы знаем, тем лучше. И может быть, пора решить – стоит ли ждать, пока ДжиПи с профсоюзом договорится, и хотим ли мы на самом деле, чтобы они вернулись, или попрощаться с ними, наконец. И тогда как-то

попробовать поддержать эту новую компанию. Я собираюсь с губернатором говорить и с представителями в Конгрессе... Они должны нам помочь, если что-то решим. Жаль, что мы тут не видим председателя местного профсоюза...

- Грэма что ли? Он уехал в Висконсин, ему там работу предложили. У него две дочери, страховка нужна, то, сё...

- Ну вот, а говорят, что ДжиПи – не люди. Выходит, что и профсоюз тоже без людей.

- Да вот же перед тобой живой человек. Живая корпоративная личность. В первый раз вижу. Кого тебе ещё надо?

По публике пробегает негромкий смешок, снимающий отчуждённость.

Пол Браун давно опустил взгляд и внимательно рассматривает возможных будущих соседей.

- А как у вас с этим делом – с профсоюзами и всё такое?

- Мы – автостроители. Союз у нас один. Если вы спрашиваете, как я отношусь к профсоюзам – до сих пор никаких проблем у нас не возникало. А лучше – поговорите сами с ребятами в Юнион Сити. И вот что ещё: я не хочу вас поторапливать, но просто, чтобы ещё чуть-чуть прояснить картину. Внедорожники «Боллингера» уже на улицах, скоро появятся модели «Теслы» и «Ривиана». У нас тесная рабочая связь с «Райдером», они обеспечат техобслуживание наших моделей по всей стране – у них уже 500 точек. «Дюк Энерджи» готовится финансировать строительство инфраструктуры заправочных станций. То есть, события набирают обороты. По моим подсчётам, наш завод здесь сможет для начала дать тысячу рабочих мест в три смены...

- А что с вашим контрактом у Почтовой службы?

- Вот тут я ничего вам сказать не смогу. Не потому, что не хочу, но там конкурс идёт, и они требуют никаких подробностей не разглашать. Сами понимаете – это не в наших интересах...

* * *

Сказать, что в Лордсвиле много зелени, значит оскорбить слух собеседника. Это просторная поляна, окружённая лесом, часть которого превращена в парки, мирно ожидающая своей очереди превратиться в настоящий городок. По его аллеям и улицам, которые выглядят пока просто как дороги с редкими островами торговых центров, школ, ресторанов, спортивных площадок и нескольких предприятий, расхаживает молодой мужчина с большим альбомом, что-то в нём рисуя. Никто в городе его не знает, но мало ли кому вздумается сюда попасть. Тем более – художник, наверно, а здесь есть на что посмотреть. Вот озеро, например, где каждый июнь жители собираются на традиционный пикник с рыболовным соревнованием для детей. Жаль, что он пропустил и августовский фестиваль яблочного сидра с карнавалом, парадом и базаром прикладного искусства.

Жители встречаются на его пути редко, и не успевают разглядеть, что именно привлекло внимание живописца. Их очень удивили бы его рисунки, которые напоминают скорее чертежи, чем красоты природы. Но Мигуэль Виейра не художник. Он приехал сюда строить город, который не будет похож ни на один в стране. Он ещё не знает, удастся ли ему осуществить свою надежду – слишком многие обстоятельства этого загадочного места остаются неопределёнными. Но ничто не мешает ему возводить будущие стены, сады, площади, акведуки и галереи в своём воображении, отчасти

поддерживаемом тем, другим мечтателем, беседующим сейчас с жителями, и ещё одним, пока гипотетическим персонажем, от которого, вероятно, зависит успех всего дела.

Он мог бы объехать окрестности за полчаса, но так не услышишь голос пространства – его надо обойти пешком, как если бы вместо автомобилей тебя обгоняли одни конные упряжки. Ещё лучше – не замечая ни тех, ни других.

Трудно было бы выбрать для такого начинания более подходящий момент. Традиции и привязанности жителей, желающих усовершенствований, но скованных страхом перемен, ослабевают. Лордсвилль созрел для возрождения – но непременно своих традиций, в свежих, полных жизненной силы формах.

Мигуэль – или Мигеле – как впоследствии станут обращаться к нему горожане – глубоко к сердцу принял слова одного из своих педагогов: «Если речь идёт о маленьком городе, ты не учишься планировать его, ты учишься быть его частью».

В течение следующей недели ему предстоит решить, вызывать ли сюда Лорен, чтобы она постаралась устроиться учительницей в местную школу. А сегодня он сам зайдёт в «Нис» и разузнает у хозяйки, не возьмёт ли она его на работу официантом, если они с женой решат здесь остаться. И Силвия согласится – её уговорили взять новый заём, чтобы продержат ресторан открытым ещё несколько месяцев.

* * *

- Брайан, не надо, не продолжай. Ты знаешь, что меня больше не интересуют эти вещи. Они и тебя уже не так занимают, как прежде – это всё инерция и советы твоих, бьющих копытами консультантов.

Брайан улыбается.

Они с Маркусом приятели и соперники, принадлежащие к одному кругу новаторов в этой загадочной области технологии платформ. Оба несусветно богаты, оба с некоторых пор сблизилась с реформаторами в правительстве и состоянием своим тяготятся.

- У тебя есть предложение, Марки?

- Есть. Но сначала я хочу разделаться с твоей дурацкой затеей.

- С какой именно – у меня их много.

- С «Ривианом».

- Ну-ну.

- Ты взялся собрать для них семьсот миллионов, а что тебя в них привлекает?

- Давай, поменьше спрашивай и покороче излагай свои претензии.

- Это не единственная компания, которая готова выпускать автомобили на электрической тяге. Ты рекламу их внимательно смотрел? А, да... Ты вопросов побаиваешься. Ну, я почитаю тебе, как они излагают принципы своей производственной идеи – её, так сказать, философские основания:

«Каждый день каждому из нас выпадает шанс выбрать приключение. Проснуться с восходом солнца и наблюдать утренний прилив, отправиться после работы на велосипедную прогулку или увлечь свою семью на неизведанный кружной путь, - Марк всеми силами старается удержаться от декламации, брызжущей из текста, - Мы поставили своей целью сделать такой выбор лёгким. Каждое решение, принимаемое нашими дизайнерами и инженерами, основано на том, побудит ли оно вас к новым приключениям – большим или маленьким, потому что мир нуждается в любителях приключений более, чем когда-либо». И дальше: «Мы хотим воодушевить наших клиентов выйти наружу и исследовать мир, обеспечить им возможность приключений, активности, путешествий.

Наши машины построены, чтобы быть использованными, покрытыми пылью дорог. Это великая задача, и, будучи собранием людей, которым доставляют радость все эти вещи, мы полны энтузиазма». Я всё-таки спрошу: тебя ещё не тошнит?

- Поэтов они могли бы, конечно найти попримичнее. Но что плохого в страсти к приключениям? Искать неизведанные места, любоваться... Преодолевать трудности с этим связанные, испытывать свои силы? В любви к природе? Я люблю природу.

- Ничего, если у тебя много свободного времени, и ты можешь всё это себе позволить. То есть, если мы хоть сколько-нибудь представляем себе нынешнее состояние большинства людей, такой продукт рассчитан на абсолютное меньшинство. Очень жаль, что пока оно остаётся меньшинством, но реальность именно такова. Поиск приключений ещё не стоит на первом месте для всех остальных. Это не лишает очарования твои надежды, и не ограничивает твоё право их осуществить. В конце концов – твоё дело, как ты собираешься распорядиться своими средствами, и кого видишь в качестве покупателей. Кстати, сколько стоит их внедорожник?

- Что-то около 60 тысяч.

- То есть, на 10-20 тысяч дороже существующих моделей... Я, собственно, говорю не об экономической состоятельности идеи. Я не стал бы отговаривать тебя от покупки ещё одного дома, если он тебе приглянулся. Но, открывая новое предприятие, они вступают в экономическую систему страны, встраиваются в процесс распределения финансовых потоков, рабочей силы, местных ресурсов – в том числе и восхваляемой ими природы. И тут у меня возникают сомнения: нельзя ли было бы более разумно и с большей пользой для всех распорядиться нашими возможностями? И ещё одно. Я допускаю, что ваши расчёты на определённый сегмент рынка верны, и что вас ждёт успех. Но не могу избавиться от мысли, что цель всего предприятия – всего лишь краткосрочная прибыль – при всей романтической приподнятости, озаряющей их рекламу. Они воодушевляют своих клиентов возвышенными чувствами, обещая обретение таких чувств с помощью покупки их товара. Это же позорная старая сказка. Туповатый, я бы сказал, способ совмещения одухотворённости и денег. Деньги вы получите, но одухотворённость обернётся ещё одним дорогим способом развлечения. Согласись, что такая экономическая модель – это как раз и есть основа политики, которая завела нас в тупик, и которую мы пытаемся преодолеть.

- Ты, я смотрю, тоже бьёшь копытом. За кого заступаешься-то?

- Посмотри вокруг. Только сам, без ассистентов своих.

- Я смотрю. У Маска денег полно. Форд тоже без нас обойдётся. Кто ещё, Боллинджер? Они в порядке, а их внедорожник, пожалуй ещё роскошней будет и стоит не меньше. Если уж о деньгах говорить, то легче всего было бы на них заработать. Но меня угнетает идея быть связанным с маркой шампанского. Эти ребята из «Ривиана» только начинают, так что речь идёт не о заработках, а о здоровой конкуренции.

- Это конкуренция внутри шкатулки. На самом деле вы продолжаете конкурировать с людьми и с природой – они слишком лёгкая добыча.

- Кого ты продаёшь-то всё-таки?

- «Уилхорз».

- У них пока не очень получается как будто.

- Из-за вас и не получается. Дай я тебе немножко о них расскажу...

11. «Монолог».

По названию невозможно определить, о чём пойдёт речь.

Пустая белая сцена. Белый бархат. Больница? Нет, бархат переливается тенями и создаёт глубину. Рай, небеса? Тоже нет – в середине темнеют несколько предметов: стол, кресло, дорожный сундучок. Что ты так спешишь! Угомони свой мозг, никто тебя не торопит...

Сидящая в кресле актриса в строгом белом платье поднимается и подходит к рампе. Время здесь ощутимо замедляет свой ход. Похоже, что мы – где-то в Новой Англии середины XIX века.

Она долго смотрит в зал. Задумчиво кивает головой.

- Пришли... – удовлетворённо, с оттенком изумления.

- Я ждала. Потом мучалась, что вас нет. Потом отказалась ждать. Потом – разучилась. Вас там не было. Меня нет здесь...

Аукцион разлуки –

Жестокий ритуал –

Как будто в крест вогнали гвоздь –

И молоток упал.

Его товар – пустыня,

Обычная цена –

Две человеческих души –

А иногда – одна...

Эмили Дикинсон?

Её мягкий низкий голос и завораживающая манера двигаться, лишённая суеты и в то же время переполненная внутренней энергией, мгновенно и целиком поглощают внимание.

- Но вы пришли... Я давно не видела чужих, я не умею с ними говорить. С трудом понимаю, что сама говорю...

- Я бывала многими вещами – травой, пчелой, камнем, пробовала быть человеком – несколько раз. Бывала птицей, покойницей, другом – это чаще всего.

- Сейчас я... – не знаю что...

Улыбается. Возвращается к столу и снова садится в кресло.

- Так уже случилось однажды. Я прочитала в «Атлантик Мансли» статью Томаса Хиггинсона. Он – очень известный литератор. Предлагал молодым поэтам присылать свои стихи.

«Одно слово может оказаться окном сквозь которое видны все королевства земли со всей их славой. Часто слово выражает то, что безуспешно стараются представить многочисленные тома: годы сжатой страсти в одном слове, и полжизни – в одном предложении...».

- Что я должна была почувствовать, прочитав эти слова? Они описывали мои собственные чувства... Какие надежды должен вызвать человек, так тонко понимающий природу поэзии?

«Г-н Хиггинсон, не очень ли вы заняты, чтобы сказать мне, есть ли жизнь в моих стихах? Дышат ли они? Разум так близок к самому себе – он не может достаточно ясно видеть, а посоветоваться мне не с кем».

- Ответ: слабо скрытое удивление. Просит прислать ещё. Вежливо напоминает о существовании правил и традиций... Одним словом, стихи я писать не умею. Холодный душ. Мне было уже тридцать лет. Это непонимание удивило меня глубоко, на всю жизнь.

«Спасибо за хирургическую операцию - она была не такой болезненной, как я думала. Когда мои мысли не одеты, я могу их различать, но когда я их наряжаю в платье – они все одинаковы и немые. (Это он в статье своей писал – об «утончённом и дрящемся смущении», вызванном необходимостью «выдумывать и кроить приличные и удобные одежды для слов»). Мой Учитель говорил, умирая, что он хотел бы дожить до того времени, когда я стану поэтом, но Смерть тогда была сильнее, я не смогла совладать с ней. А когда много позже неожиданное освещение в саду или новый звук в шуме ветра вдруг захватывали мое внимание, меня сковывал паралич – только стихи освобождали от него».

Вечно лететь могли –
Птицы – часы – шмели –
Им – не до элегии.
Вечно стоять могли –
Вечность – печаль – холмы –
Но без меня – одни.

- Теперь он наверно испугался.

«Ваше второе письмо удивило меня и на какой-то миг приподняло над землей – я не ожидала этого. Ваше первое – не оскорбило, потому что правды не стыдятся – я была благодарна вам за ваш суд – но не могла выбросить колокольчики, чей звон успокаивает меня в пути. Вы же, вероятно, решили, что нужен бальзам на мою рану. Я улыбнулась, когда вы предложили мне повременить «публиковаться» – это так же чуждо моей мысли, как твердь плавнику. Если слава принадлежит мне, я не смогу убежать от нее, если же нет – самый длинный день пронесется мимо, не заметив меня, и тогда я не получу признания даже у своей собаки. Лучше мне оставаться в моем низком положении».

Предчувствие – длинней в долине тень –
И значит – угасает день –
И вздрогнув чувствует трава –
Вступает ночь в свои права –

«Вы считаете, что у меня «судорожная» походка». Что ж, я – в опасности. Вы считаете, что я «неконтролируема». Да, надо мной нет трибунала. Нашлось бы у вас время быть «другом», в котором я, по вашему мнению, нуждаюсь? Я маленькая – я не заняла бы много места на вашем столе и шумела бы не больше, чем мышь, которая скребется у вас на галерее. Если бы я могла показывать вам то, что я делаю – не так часто, чтобы не беспокоить вас – и просила бы вас сказать, ясно ли я выразилась, это и было бы контролем для меня... Я всегда буду следовать вашим наставлениям, хотя я не понимаю их».

- Нужен был собеседник. Пусть условный. И я его создала из почтенного во всех отношениях полковника, аболициониста, героя Гражданской войны и литератора и удерживала двадцать лет, вопреки тому, что он не воспринимал мои стихи, и благодаря тому, что был достаточно джентльменом, чтобы время от времени меня ободрять. Горькая хитрость. Он очень старался соответствовать.

«Неудивительно, что мне бывает трудно писать вам, и что проходят долгие месяцы. У меня огромное желание встретиться с вами, потому что чувствую, что, если бы я взял вас за руку (отвлекается от письма и с удивлением рассматривает свою руку...), то, возможно, смог бы стать чем-то для вас. Пока же вы окутываете себя огненным туманом и я не могу проникнуть сквозь него, могу только радоваться редким искрам света, долетающим до меня... Мое отношение к вам не меняется, и мой интерес к тому, что вы шлете мне, не ослабевает. Я был бы рад получать от вас письма чаще, но, отвечая вам, чувствую всегда неуверенность, ибо то, что я пишу вам, должно быть, не соответствует остроте и тонкости вашей мысли. И я боюсь, что легко могу потерять вас. Все же, как видите, я пытаюсь. Думаю, что, если бы я мог хоть раз увидеть вас и узнать поближе, я мог бы платить вам более полновесной монетой».

- В общем, встретил диковинную птицу, которую жалко было бы отпустить. Ундины. Это я сейчас могу сказать. Тогда я знала не всё. Увиделись мы всего дважды.

«Я не встречал ещё человека, который бы так высасывал мою нервную энергию. (Это он писал жене после нашей первой встречи). Я рад, что не живу рядом с ней... Неизгладимое впечатление произвели на меня огромное напряжение и какая-то ненормальность её жизни. Она была слишком загадочным существом для меня, чтобы понять её за час беседы».

- Слава Богу, что тогда это прошло мимо меня. Но что-то я понимала... С некоторых пор я решила вообще никого не обременять своим обществом.

Мы привыкаем к темноте –
Когда уносят свет –
Как, проводив нас на крыльцо,
Его унес сосед –
И мы шагнули наугад –
Как в черный омут – в Ночь,
Затем привыкли к темноте
И зашагали прочь.
Во много раз темнее
В мозгу – где ночь всегда –
Где не посветит нам Луна
Или хотя б Звезда –
Кто посмелей – шагает –
Не видя ничего –
Нередко расшибая лоб –
Но зрение его
Становится острее –
А может, в свой черед
Меняется и темнота –
И Жизнь идет вперед.

- Потом меня не стало, и он решил публиковать мои стихи.

«Вспышки совершенно оригинальных и глубоких прозрений в природу и жизнь»...

- Прозрений? Для кого?

- Пока жила – это была единственная связь с литературной жизнью.

- Молчание спящего вулкана. Везувий не разговаривает, как и Этна – один из них высказался тысячу лет назад, и Помпеи, услышав, спрятались навеки.

Нет, это не Америка, которую мы знаем. Такую Америку не знают и сами американцы. Но где же мы были все? Где мы сейчас?

Здесь, в замершем зале... И молодая женщина в строгом белом платье вовлекает нас в судьбу современницы Мелвилла, Эмерсона и Эдгара По – о ней не слыхавших, и гражданской войны – вызвавшей у неё горькое сочувствие убитым...

- Джордж Вашингтон...

- Джордж – кто?

...писавшей стихи, непохожие ни на что, считавшееся поэзией – с полурифмами или вовсе их отсутствием, всем знакам препинания предпочитавшей тире и начинавшей с заглавной буквы самые обычные слова... Об этом догадываешься, благодаря одному, едва заметному, повторяющемуся жесту и другому, тоже почти неуловимому... Но какая сила!

Зимою на исходе дня
Вдруг солнца луч блеснет –
Он сверху давит, словно груз
Органных тяжких нот.
Божественная боль! –
И рана без следа.
Но что-то изменилось в нас
Отныне – навсегда.
Он ничему не учит –
Как виденное в снах,
Он посланный нам с высоты
Какой-то тайный знак.
Лишь только он блеснет –
Все замирает вмиг.
Но вот он гаснет – это Смерть
Заглядывала в мир.

Девочка ходила в школу, старалась убедить себя, что она красавица, влюблялась.

- Как живет большинство людей без единой мысли? В мире очень много людей. Вы, должно быть, замечали это – на улице. Как они живут? Откуда они берут силы одеваться каждое утро?

- О, отец. Я думала – вы спите. Два часа? Уже?.. Я... писала... Просто стихотворение... Сейчас?.. Вслух?

Чтоб сделать прерию – возьми
Все то, что я сочту:
Один цветок, одну пчелу
И к ним еще мечту.
А если не растут цветы –
То хватит и мечты.

- Ещё одно? Да, у меня есть еще.

Неощутимо, как печаль,
Исчезло Лето вдруг –
Или как будто изменил
Тебе надежный друг.
И наступил покой
Однажды поутру –
Природа словно прилегла,
Окончив летний труд.
Ни шелеста листвы,
Ни птичьих голосов,
И солнце в небе – будто гость,
Зашедший на часок.
И – не махнув крылом
Прощально с высоты –
Укрылось Лето до весны
В чертогах Красоты.

Отец не читал её стихов. Но...

- Как-то осенним вечером... Нас испугал неожиданный звон церковных колоколов, и мы сразу подумали: не пожар ли!.. Мы кинулись на улицу. Небо было необычайной красоты – красное. почти малиновое, и на нем все время появлялись и исчезали золотисто-розовые лучи. Людей это зрелище испугало: они думали, это пожар. Но это было северное сияние, *auroga borealis*! Все это длилось минут пятнадцать, улицы Амхерста были полны народа, все изумлялись, восторгались. Но кто первым заметил это поразительное небо? Представьте себе, кто побежал в церковь звонить в колокола и обратил внимание всего города на эту красоту? Мой отец!

Церковь и ежедневные утренние молитвы, пансион для девиц, где она сначала попала в группу «безнадёжных», потом осталась в ней одна.

- Я знаю, мэм, но высокий дух еще не проник в меня. Да, мэм, я жажду быть праведной и радовать своих родителей, но я еще не убеждена в том, что я должна быть христианкой. Да, я знаю, что наш мир полон греха и порока, но путь долга как-то... как-то не кажется мне очень привлекательным. Да, я читала и Ветхий, и Новый Завет. Ну... Сначала мне показалось, что это довольно скучно. Но потом я поняла, что эта книга – мудрая и даже немного... забавная...

Я знаю – Небо, как шатер,
Свернут когда-нибудь –
Погрузят в цирковой фургон –
И тихо тронут в путь.
Ни перестука молотков –
Ни скрежета гвоздей –
Уехал цирк – и где теперь
Он радуется людей?

И то, что увлекало нас
И тешило вчера –
Арены освещенный круг
И блеск, и мишура –
Развеялось и унеслось –
Исчезло без следа –
Как птиц осенний караван,
Как облаков гряда.

- У меня очень мало друзей. Я могу сосчитать их по пальцам – и ещё останутся пальцы...

Много смертей вокруг... Смерть отца.

- Мы приносим ему самые лучшие цветы. Если бы мы только знали, что он это знает, может быть, мы бы перестали плакать. Хотя прошло уже много ночей, а мой разум где-то блуждает и никак не может вернуться домой. Я все думаю: он теперь – бестелесный. Как это может быть? У него было чистое и ужасное сердце: я думаю, у других таких сердец нет. Я рада, что существует бессмертие, но я хотела бы испытать его сама, на себе, прежде чем доверить ему отца. С тех пор, как отец умер, дом так далеко от дома... Разбитое сердце становится шире...

Видишь - белое время пришло.
Зеленое - кануло в тень.
Кто помнил - тогда - Метель?
Кто видит - теперь - Сирень?
Осталось - глядеть назад
Чтоб в будущее попасть.
Память - половина надежд.
Быть может - лучшая часть.

Примерно в это время она послала свои стихи Хиггинсону...

- У нас был жуткий пожар в Амхерсте, четвертого июля, поздно вечером – и Винни пыталась убедить меня, что это праздничный фейерверк. Что ж я, пожара от фейерверка не отличу?.. Какое-то время было светлее, чем днем. Люди носились вверх и вниз по Главной улице. Мама проспала весь пожар. А Винни всё лепетала: «Эмили, это просто Четвертое июля...». Небось, будет мне твердить это, даже когда я буду умирать, чтобы мне не было страшно. Мне кажется, иногда я бываю невыносимой, а Винни мне: «Тебя любить так легко!»...

Потом ушла мать. В доме тихо – здесь теперь только они с сестрой.

- Когда я была ребенком, отец обычно брал меня с собой на мельницу, ради моего здоровья. Я была тогда чахоточной. Пока он ждал помола, лошадь осматривала меня, как бы говоря: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, что сделала бы я с тобой, если бы не была привязана!»...

Как уставали эти ноги –
Лишь этот рот сказать бы мог –
Попробуйте сорвать заклепки!
Попробуйте сломать замок!
Погладьте этот лоб холодный –
Приподымите прядь волос –
Дотроньтесь до застывших пальцев –
Им столько сделать довелось!
Жужжит назойливая муха
В окне – и пыль в луче дрожит –
Бесстрашно виснет паутина –
Хозяйка в праздности лежит!

Она получает письма от друзей – из Санта-Моники в Калифорнии, где всегда светит солнце и повсюду растут бугенвиллии, из Парижа, со стереоскопическими диапозитивами.

- Все где-то путешествуют, кроме Эмили. Эмили – здесь. Всегда здесь. Винни рассказала, что на днях из Амхерста убежал маленький мальчик. Когда его спросили, куда он собрался. Он ответил: «В Вермонт или в Азию». Какой шустрый мальчонка. Я сказала Винни, что тоже хочу куда-нибудь убежать из Амхерста. По-моему, я её напугала.

Я пью неведомый нектар
Из жемчугов – до дна.
Все бочки Рейна не смогли
Такого дать вина!
Я воздухом опьянена,
Оглушена росой,
Шатаюсь целый летний день
С распущенной косой.
Выводят пьяную пчелу
С позором из цветка
Под общий смех, а я все пью
И буду пить – пока
Святые к окнам не прильнут,
Чтоб наглядеться всласть,
Как маленькая пьяница
О Солнце оперлась.

Потом умер от тифа восьмилетний племянник. Однажды его укусила в руку оса, и он сквозь слезы умолял маму, чтобы она читала осам Библию.

- Только не мой маленький Гиб! Я вижу его в звезде, я узнаю его чудесную стремительность во всем, что летает... Последнее, что он крикнул в бреду, было: «Откройте дверь! Откройте дверь! Они меня ждут!». И его маленькая тетушка, привыкшая выполнять его заповеди, беспрекословно повиновалась. Кто его ждал?

Что если я не стану ждать!
Себя устану убеждать
И убегу – к тебе!
Что если я отброшу прочь
Вот эту плоть – и в эту ночь
Вручу себя Судьбе!
Тогда им не схватить меня!
И тюрьмы пусть тогда манят,
И пушки бьют – они
Бессмысленны – как стихший смех –
Как скисший прошлогодний снег –
Как прожитые дни!

- Затворничество – преимущество уединения? Или самозаточение в склеп, каменный мешок? А как вы думаете? Что если и то, и другое? Один – редкостная сумма! Одна птица, одна клетка, один полёт, одна песня в том дальнем лесу, о существовании которого мы подозреваем только благодаря вере.

По-настоящему был только один. Только один. Впервые она встретила Чарльза Уодсуорта в Филадельфии, ей тогда было двадцать четыре. Когда она увидела этого священника в пресвитерианской церкви, ей показалось, что её ударило молнией с небес. Перед ней был человек, подобный Христу. А снаружи посреди сверкающего утра, сияние в сердце засверкало еще ярче. Его голос преследовал её. Она не могла стряхнуть с себя чары. даже после того как вернулась в Амхерст. Она написала ему. Сначала очень нерешительно. Такое осторожное письмо, с вопросами на всякие религиозные темы – насчет искупления, бессмертия. Но в конце концов, она уловила в его письмах какое-то ответное чувство. Сходное с её собственным, но более тонкое, чувствительное, скрытое...

- Есть какая-то необыкновенная утонченность в том, чтобы любить бесплотной любовью; мы были как бестелесные любовники; два обличья, суть одна. Такая любовь была вершиной моих грез, средоточием молитв. Благодаря ей я совершенно перевернулась, словно вдохнула иной, высший воздух.

Они встречались два раза в жизни – с промежутком в двадцать лет. Он был женат.

- Долго вы были в пути? Да, действительно уже так долго, двадцать лет... Но я тоже постарела. О нет, нет, я могу ждать вас. Я долго ждала, но я могу ждать ещё. Пока мои волосы не станут пегими – а вы будете ходить, опираясь на трость. И тогда я посмотрю на часы, и если окажется, что день уж слишком склонился к вечеру, мы будем надеяться на встречу в небесах... Спасибо. И для меня так много значит просто глядеть на ваше лицо, пока вы глядите на мое... Вы когда-нибудь еще приедете в Амхерст? Не можете? Я понимаю. Да, я довольна. Я всегда буду довольна – теперь. До свиданья...

- «Когда Вы уехали, вышло солнце. Я попеняла ему за опоздание. Оно сказала, что мы не нуждались в нем. О, любопытное Солнце! Теперь, когда самое лучшее ушло навсегда, я знаю, что больше ничто не имеет значения. Сердце хочет того, чего оно хочет, а до остального ему нет дела».

- В прошлом году, в апреле... он умер. О, уже шесть часов! А я обещала Винни почистить яблоки....

Я умерла за Красоту –
В могилу я легла –
И тут сосед меня спросил,
За что я умерла.
«За Красоту», – сказала я
И поняла – он рад.
«А я за Правду, – он сказал, –
Теперь тебе я брат».
Как родственники, что в ночи
Друг друга обрели,
Шептались мы – покуда мхи,
Нам губ не оплели.

- Звонят, звонят колокола... Хоронят мать Дженни Хичкок. Еще одной сиротой больше. Ппока священник молился, в церковь вошла курица со своими цыплятами, а потом попыталась вылететь в окно. Наверно, покойница их подкармливала, и они хотели с ней попрощаться... Так много друзей умерли молодыми... И на кладбище их везли мимо нашего дома. Эллен Мэри Кингмен, девочки Паккардов, Эбби Энн Хаскелл...

Что нам потребно в смертный час?
Для губ – воды глоток,
Для жалости и красоты –
На тумбочке цветов,
Прощальный взгляд – негромкий вздох –
И – чтоб для чьих-то глаз –
Отныне цвет небес поблек
И свет зари погас.

- Послушайте ещё раз «Апасионату». Он говорил: «Если бы люди по-настоящему слышали мою музыку, они стали бы счастливы». Нет-нет, не удовольствие получили, не заплакали, не порадовались, а прямо-таки обрели счастье! Мне кажется, я знаю почему. Там в самом начале – далеко внизу: пам-па-пам-м-м... А потом – вверх, вверх: та, та-та... та, та-та, та... и уже наверху: тр-р-р-р-р... та-тр-р-р-р-та-та-та-там... Вот вам два мира – и так легко из одного в другой... Но там и дальше они оба. И опять... И опять... Вы смеетесь надо мной? Вероятно, все Соединенные Штаты смеются надо мной! Но я не могу остановиться из-за этого! Мое ремесло - любить. Сегодня утром я обнаружила в саду птицу – она сидела на самой нижней ветке куста и пела. Зачем петь, спросила я, если никто ее не слышит? Всхлип в горле, трепет в груди – «Мое ремесло – петь» – и упорхнула. Как знать, может, сам херувим терпеливо ее выслушал и поаплодировал никем не замеченной песне... Ах, да, яблоки для Винни...

В последнем письме она написала Хиггинсону: «Жив ли ещё Бог? Друг мой, дышит ли Он?»... Всё-таки надеялась...

Я не могла прийти — и Смерть
Заехала за мной.
Бессмертие на облучке
Сидело к нам спиной.
И тронулись мы не спеша,
И я, забыв о том,
Что не доделаны дела,
Покинула свой дом.
Минули школу, где детей
Гудел веселый рой,
Минули сад, и солнце вдруг
Исчезло за горой.
На этот раз не мы — Оно
минуло нас.
И стало зябко что-то мне,
Одетой в тюль и газ.
Потом проехали мы дом,
Возникший, как вопрос,
Он земляной был и притом
По крышу в землю врос.
С тех пор мы ехали века —
Любой короче дня.
И тут открылось — к Вечности
Они везут меня.

- Как правило, мы переживаем не столько Жизнь, сколько разговоры о Жизни. Если бы мы имели хоть какой-то намек на то, что такое Жизнь, самые флегматичные из нас сделали бы сумасшедшими!

- В следующий раз я дам вам свой рецепт имбирного хлеба. «Имбирный хлеб»! Вот слова, перед которыми нужно снять шляпу.

И отбросив веселье – собранное, проникновенное требование:

Вот всё, что принести смогла
И сверх того – любовь,
Вот облака и ширь полей,
И красота лугов.
Сочти – чтоб не забыть чего –
Чтоб точен был итог –
Вот сердце, вот жужжанье пчёл,
Вот клевера цветов...

Постарайся ничего не упустить... Это всё, что у меня есть. Растеряешь – и нет меня самой. Теперь это зависит от тебя.

Долгая пауза. И, оглянувшись...

- Отозвана...

Медленно гаснет свет, и она уходит – не актриса, не Эмили... Таинственное существо, рождённое ими обеими и стихами, с которым – грех расставаться, которого нигде больше не встретишь... Сообщающее смысл и оправдание твоей жизни...

Человек не говорит монологами. Как не говорит одними жестами, если он не танцовщик или немой. Он не говорит оперными ариями, стихами. Для монолога нужны особые условия и – нечто катастрофическое, чтобы он возник. Их давно не слышно. То, что сейчас начинает выглядеть, как монолог, собеседники обычно перебивают на первом же слове. Или на втором. Но они могут так себя вести, потому, что это не настоящий монолог; и они это чувствуют.

У монолога нет цели что-то изменить. А если есть, то это цель внутренняя, скорее потребность, чем цель. Он возникает из выстраданной необходимости заявить о своем существовании, которое для большинства в обычной жизни, в лучшем случае – спорно.

На самом деле его смысл еще шире. И в полном своем значении он может включать не только слова. Вся жизнь человека может стать монологом. Может и не стать. Чаще всего не становится. Безусловным монологом была жизнь Жанны Д'Арк. Жизнь Эмили Дикинсон несомненно была выдающимся монологом. И – сценическое действие, осуществляемое актрисой.

Их называют избранными. Но отличие их заключается лишь в том, что они глубже ощущают бытие, постоянно заняты внутренней жизнью, одержимы своим призванием, и всё это не оставляет им времени на освоение житейских навыков, что делает их более уязвимыми, а судьбы их по большей части несчастливыми. Предложи эти свойства любому другому – он не увидит в них преимуществ и, скорее всего, предпочтёт более уравновешенное существование. Им нельзя завидовать, нельзя подражать. И никем они не избраны – меньше всего самими собой. Даже нашу благодарность, когда мы додумываемся всё же их благодарить, они не склонны относить к самим себе.

Любить их – так легко. Так просто их потерять...

После затянувшейся паузы звучат долгие, долгие, горячие аплодисменты. Актриса выходит поклониться и принять цветы. Мимолётная мысль, что он тоже мог бы озаботиться о букете, так же быстро растворяется – он не хотел бы участвовать в этих подношениях. Может быть, потом, наедине...

Ник остаётся сидеть в пустеющем зале, пока его не покидают последние из зрителей. Их не так уж много – может быть, триста человек. Все ли они прожили вместе с ним полтора часа мистерии? Этого не узнать. Как и того, когда и как часто будет вновь предоставлена возможность быть окутываемым таким наваждением, уводящим в таинственные заповедники души.

Преодолев сковавшую его робость, Николас спрашивает, можно ли увидеть актрису, и его провожают к гримуборным. Приходится ещё немного подождать, и он вновь видит её. Ей наверно немногим более тридцати. В синем брючном костюме, оставаясь такой же далёкой и недосыгаемой, она, однако, протягивает руку.

- Прощу прощения, что беспокою. Но я не простил бы себе, если б смутился и не поблагодарил вас. Это было невероятным потрясением – то, что вы делаете.

- Спасибо. Но что же вы извиняетесь – это приятно. Очень рада, что вам понравилось.

- Нет. Я не сказал, что мне понравилось. Я наверно не пришёл бы, если бы понравилось. К стыду своему, я узнал о вашем существовании случайно, от своих друзей,

которые были так ошеломлены, что скрывали свои впечатления года два. Теперь я могу их понять. Я преподаю историю литературы в университете – если это имеет какое-то значение. Мне очень хотелось бы встретиться с вами. Сейчас конечно не самое лучшее время. Да и мне надо как-то усмирить свои растрёпанные чувства. Но, если вам не помешает ещё один собеседник, вы очень помогли бы мне разобраться в некоторых вещах.

- Пат, ты готова? – спрашивает из-за двери мужской голос.

- Да. Иди сюда.

Он одного с ней возраста – спокойный человек с серьёзными, внимательными глазами. Они знакомятся.

- Ну вот, теперь я знаю, как вас зовут. Эндрю – режиссёр, мой муж.

- Рад познакомиться с вами. Я зашёл поблагодарить миссис Холман за спектакль.

Конечно, это имеет прямое отношение и к вам.

- Прямое – вряд ли. Но всё равно, спасибо.

- Николас, можете оставить ваш телефон? Я вам позвоню.

Он оставляет свою визитную карточку и прощается.

Водитель впереди резко тормозит, и Ник, пропустив необходимую секунду, пытается всё же обойтись без столкновения. Успев взглянуть назад, он видит, что идущая за ним машина тоже слишком близко, но её водитель поднимает вверх большой палец, ободряя Николаса, что он готов к неожиданностям.

Ему удаётся остановиться впритык к машине впереди, хотя он не уверен, что не тронул её. Водитель, как видно, тоже сомневается и выходит посмотреть. Ник достаёт чековую книжку, отрывает чек и вылезает из машины. Кажется, что бамперы прижаты друг к другу. Кивнув водителю, он опускает бумажную полоску и медленно проводит ею между бамперами от одной стороны до другой. Сопrotивления она не встречает.

Ещё раз кивнув, он возвращается в машину и показывает большой палец водителю сзади.

Ещё через несколько минут затор впереди расчищается.

12. Беда в датской державе.

Опасные неожиданности часто завязывают в памяти прочный узел, который долго ещё будет болезненно затягиваться каждый раз, когда случайно о них вспомнишь. А бывают такие, что оставляют мотающиеся концы, которые никак не желают связаться, и вопреки мгновенности самого происшествия, продолжают трепетать во времени, мучая незавершённостью.

Кончат с собой один из пяти ведущих предпринимателей в области самой современной, самой высокой и щедрой на прибыли технологии. Это не экстравагантный поступок растленного богатством и разочаровавшегося в его возможностях эгоиста. По некоторым признакам он напоминает варварский акт самосожжения.

Мелвин Рид, создавший основу популярнейшей из информационных платформ, а в последнее время работавший над искусственным разумом, руководил теми, кто помог правительству обезопасить жизнь от дезорганизации. Прежде чем остаться наедине со своими средствами к существованию, стране необходимо было убедиться в том, что этих средств хватит на поддержание привычного уровня жизни в течение длительного срока.

Такая задача предполагала довольно сложный расчёт множества показателей, касающихся объёма производства и потребительского спроса, добычи и использования природных и прочих ресурсов, системы снабжения предприятий, резервов рабочей силы и так далее. Тут нужны были не знакомые модели обработки данных, а какие-то, относительно самостоятельные алгоритмы, способные вводить в расчёт обстоятельства, обычно остающиеся за рамками экономического планирования.

Вызов этот, сначала показавшийся технократам слишком утилитарным и чуть ли не оскорбительным для их высот, оказался не таким уж простым, а кроме того содержал нравственную составляющую, ставшую очевидной, когда один из их собеседников, молодой конгрессмен Питер Оукридж спросил, так ли уж много приложений находят их головоломные новшества, помимо всё того же усовершенствования производства и потребления?

Заказ был гораздо сложнее, чем это представлялось на первый взгляд. Он включал не только первоочередную цель уравновесить торможение экономической деятельности государства с привычным уровнем жизни, но и попытку обосновать решение таких смежных проблем, как возможность антироста и самодостаточности. Французский термин для антироста – *décroissance* – привнёс в дискуссию необходимый игривый элемент, вызвав в памяти традиционное изделие заморской выпечки. Но интерес был пробуждён, они взялись за дело и сумели создать уникальную диагностическую систему, подтвердившую надёжность предполагаемого эксперимента.

Это можно было считать первым самостоятельным достижением готовившейся к уходу от внешнего мира страны. И тем неожиданнее становится преждевременная гибель одного из авторов.

Рид оставляет посмертную записку:

«Мы сдались. Мы не хотим себе в этом признаться, но увлеклись идеей искусственного разума, потому что отчаялись понять смысл и назначение разума естественного. Мы предоставляем роботам осуществить задачу, оказавшуюся нам не по зубам, и пытаемся имитировать Бога, создавая второе человечество, так и не осознав, почему и зачем было создано первое. При всех своих амбициях мы готовы удовлетвориться ролью пассивного наблюдателя.

Роботы не смогут сделать эту работу за нас, потому что останутся зависимыми от нашей ограниченности. А мы не даём миру ничего фундаментально нового, кроме разнообразных форм оружия, и охотно приступаем к его использованию. Не технологии предназначено совершенствовать человеческую природу. Для этого есть другие средства. Но, по крайней мере, можно было бы тысячу раз подумать о возможных последствиях наших изобретений, прежде чем пускаться в эту опасную авантюру. Никто этого не сделал. И вот ответ мироздания на наши радужные фантазии: если бы каким-то чудом нам всё же удалось создать это второе самостоятельно мыслящее человечество, оно далеко превзошло бы нас в эволюции и в своём значении для Вселенной, и нам поздно было бы перенимать открытую им истину – мироздание в нас больше не нуждалось бы. Уж до такой-то простой мысли можно было бы додуматься, прежде чем браться за осуществление этой выморочной идеи.

Я виноват перед вами за то, что истратил свою жизнь на изобретение опасных игрушек, которые могут вам впоследствии дорого обойтись. Мне хотелось бы использовать оставшееся время на их уничтожение, но боюсь, это уже никому не по силам. Ничем более я быть полезен не смогу.

Мой последний, вероятно тщетный призыв к вам – не стремитесь к изошрённости и усложнению уже достигнутой технологии. Попробуйте освоить идею прямоты и простоты. Проблемным ребёнком в мире сейчас являются богатые общества, а не бедные».

Сорокапятилетний Мелвин был уравновешенным, общительным человеком, и никаких событий, могущих подтолкнуть его к подобному шагу, в его жизни не происходило. Особый, какой-то запредельный ужас вызывало то обстоятельство, что он оставил жену и двух детей – подростков мальчика и девочку, которых без сомнения любил. Жестокость, обрекая семью на горькую утрату, намекала на некую внутреннюю слабость, но и сообщала его решению потустороннюю, дьявольскую силу. А названная им в записке причина имела прямое отношение к судьбе близких ему коллег и друзей, что неизбежно порождало вопрос: кто следующий?

Только что родившийся новый образ национального героя и спасителя впервые принимает мрачные, пугающие черты и надолго избавляет людей от привычки к беспечным торжествам.

Первый, едва удержимый порыв – разыскать Джулию Рид и оставаться рядом с ней столько, сколько понадобится, чтобы попытаться смягчить такой страшный удар, хотя он понимает, что никто тут ничего сделать не сможет. И всё же ему известно, как люди чаще всего разбегаются в самое первое, самое невыносимое время, когда и на самом деле мало чем можно помочь. Но можно оставаться под рукой. Она будет рассказывать и плакать, а ты будешь слушать и спрашивать, и молча внимать слезам... Время продолжит свою невидимую поступь, слёзы уступят место другим, чуть более просветлённым чувствам... Впрочем, тут не существует никаких правил.

Но он даже не знаком с ней. Её хорошо знают Елена и Маркус, который был дружен с Мелвином. Они предлагают прийти на похороны, а затем он оказывается и на поминках, где его представляют вдове. Она принимает соболезнования спокойно, но ни словом не отвечает, лишь кивает головой. Николасу чудится, что ей известно нечто, о чём не знает и не узнает никто; что через некоторое время единственно возможным утешением для женщины будет желание поделиться этим знанием, и что не останется на свете никого, кому она смогла бы его доверить.

Другая догадка касается недавней ночной беседы. Но нет, не Мелвин был тем приятелем, ссора с которым привела их к нему домой. Он спрашивает Марка, не было ли у того каких-то предчувствий. Нет, не было. Конечно, задним числом можно вообразить что угодно, но если вспоминать трезво – абсолютная неожиданность. Разве что какие-то бессознательные, никому не ведомые влияния...

Вот-вот, думает Николас, похоже, что вмешиваются иные силы, и мы не готовы с ними взаимодействовать. Не это ли так испугало Лену? Но можно говорить и о том, что мы вступили в более правдоподобную реальность, чем та, которой так долго тешились. Он решает не докучать приятелю своими фантазиями. Маркусу хватает собственных забот.

* * *

«Какая-то в державе датской гниль».

Входя в аудиторию, Ник видит эту строку написанной на доске крупными буквами.

- Заявление радикальное, - говорит он, ни к кому не обращаясь. Ещё более неожиданно присутствие в классе незнакомых лиц.

- А что вы об этом думаете? – спрашивает кто-то из прежних его слушателей.

- Я предпочёл бы использовать наше драгоценное время по прямому его назначению, тем более, что вы растёте в числе. Меня, видимо забыли предупредить в деканате. Могу я попросить вас представиться?

Новые ребята называют свои имена. Надо понимать это так, что слух о его семинарах начал распространяться и вызвал интерес. Среди новеньких – студенты математического факультета, теоретической физики и экономики.

- Если вы здесь не из простого любопытства, надеюсь, вы успели познакомиться с материалами прежних лекций. Если нет, прошу сделать это как можно быстрее. Их можно найти на моей странице в университетском сайте.

Николас намеренно затягивает паузу, и молчание, медленной волной прокатившееся по аудитории, ослабляет зуд праздного любопытства, содержащийся в цитате на доске и в последовавшем вопросе.

- Я понимаю, что вы слишком возбуждены событием, чтобы просто обратиться к такому ветхому предмету, как трагедия Шекспира. Но во имя старинного обычая и нашего человеческого достоинства, я призываю вас к сдержанности и терпению. Я не был знаком с Мелвином Ридом, и знаю обо всём этом не больше вас. Возможно, через какое-то время обнаружатся новые подробности, и тогда будет что обсудить. Может быть всем нам придётся довольствоваться простым фактом. В любом случае, сейчас лучше всего избавиться от поспешного желания вникать в детали и делать выводы. Возьмите себя в руки, по крайней мере на традиционные сорок дней.

Николас берёт губку и, стирая написанное на доске, ловит себя на некотором высокомерии. В конце концов эти дети заслуживают более человеческого ответа на свой, вполне естественный вопрос. И тогда он продолжает:

- Знание всегда имеет отношение только к прошлому. Даже если это совсем свежее знание – как только оно утверждено, оно тут же становится частью прошлого. Его объём далеко превосходит возможности отдельного человека. «Не насытитесь око зрением, не насытитесь ухо слушанием...». Это из Экклезиаста. Может быть существует всеобщее знание, коллективная память, но разум говорит нам, что и она не вечна. Если бы мироздание зависело от неё, оно лучше позаботилось бы о её сохранении.

А решающим для нас является настоящее, даже когда мы занимаемся в нём изучением прошлого. Но наше знание о происходящем сейчас никогда не бывает и не может быть полным, завершённым. Оно способно лишь в большей или меньшей степени приближаться к реальности. И когда оно приблизилось к ней максимально, мы уже не называем его знанием, мы называем это мудростью. Тогда мы начинаем понимать, что происходит на самом деле, и у нас больше шансов распорядиться действительностью наиболее разумным и благоприятным для нас – и для неё – образом.

Передать вам эту способность я не могу, прежде всего – я не уверен, что сам ею обладаю. Но даже если бы мне так несказанно повезло, я и тогда не смог бы этого сделать, потому что её обретение – это глубоко личное событие. Я могу лишь по мере своих сил способствовать приходу этого события и, может быть слегка стимулировать его.

Я знаю больше вас, просто потому, что я старше и у меня было больше времени собирать знания. Догонять меня вам нет никакой необходимости. Хотя, вообще без всяких знаний очень трудно обрести то свойство, которое я назвал мудростью. Отсутствие её – не самая опасная вещь на свете, её обретение – это лишь трудная задача, стоящая перед

человечеством. Но отсутствие знаний, которые легко доступны каждому, состояние преступное и гибельное. Для него есть даже особое, презрительное название – невежество.

С некоторых пор идея образования – что, в сущности и есть процесс накопления знаний – стала размываться из-за противопоставления технического образования гуманитарному. В результате возникло убеждение, что высокоискусный специалист в точных науках так же мало нуждается в изучении морали, эстетики, политики или религии, как и любой невежда. Но есть основания полагать, что без великих откровений, без эпоса, искусства и философии, как части нашего естественного взгляда на мироздание, не остается ничего стоящего внимания во внешнем мире и, в конечном счете, мало что во внутреннем. Люди всё ещё продолжают вместе есть, играть, путешествовать, но уже не думают вместе. Так что, если нашу с вами встречу рассматривать, как пролог к трагедии, то только в том смысле, что я знаю, чем вам грозит отсутствие знаний, а вы ещё нет. Можете, если хотите, считать своё присутствие здесь формой профилактики.

А теперь вернёмся всё же собственно к трагедии.

Особенностью греческой формы этого жанра является то обстоятельство, что разрешение не становится полным исчерпанием трагической коллизии. Сюжет до некоторой степени восстанавливает справедливость или равновесие – и этого оказывается достаточно для переживания катарсиса, – но ситуация остаётся чреватой новым развитием уже случившихся нарушений высшего закона.

История Эдипа не завершается его ослеплением или изгнанием, и даже смертью. У него есть четверо детей, рождённых в преступном браке, и им не суждено выпутаться из последовательности неизбежных событий, они продолжают гибелью его сыновей и переливаются в трагедию дочери, Антигоны, а затем – Креонта, теряющего единственного сына. Смерть Медеи оставляет неразрешённой судьбу Язона, у которого на совести соучастие во всех её преступлениях и измена ей самой. Глубокая суть трагического в жизни человечества, конечно же не должна сводиться к подобной веренице бед.

Но давайте вообразим такое положение, где универсальное противостояние действующих в мире начал встречается с сильной индивидуальностью. Что может произойти с таким персонажем, оказавшимся внутри трагического конфликта?

Усваивая уроки «Эдипа», человечество готовилось к ответу на этот вопрос в течение двадцати одного столетия, успев приобрести и некоторый опыт.

Русский философ усомнился во внутренней необходимости Гамлета так сильно верить в уже пережитый высшим сознанием человеческим, нехристианский закон кровной мести. Мы ведь с вами сейчас уже в XVII веке, да? Ну, или, если говорить о самой легенде – в XIII-м. Он счёл это обстоятельство случайностью, произвольно внесённой автором. И при этом он столь же справедливо замечает, что даже если допустить в Гамлете эту случайную архаическую силу, трагедии все-таки не получается: то есть, в этом случае Гамлет прямо исполняет свой мнимый долг, мстит злодею-узурпатору, занимает по праву престол, и это всего лишь частная драматическая коллизия. Или, если угодно – предлог для развёртывания новой трагической коллизии, так как по высшему закону убийство само по себе не может восстановить связь времён.

И по мнению философа, кроме случайной веры Гамлета в закон кровной мести, для трагедии требовалось еще одно условие – его неспособность исполнить вообще какой-нибудь закон, необходимость оставаться только мыслителем, а не деятелем, одним словом – требовался определённый человеческий характер. Мы сталкиваемся здесь с относительно новым делением трагедии на два рода: древнюю трагедию общей необходимости и новую трагедию индивидуального характера. Вот как раз

индивидуальный характер нас сейчас больше всего и интересует. А именно – сильная индивидуальность, способная удержать дрожь в коленках, встретившись со своей трагической судьбой, как общей необходимостью. Здесь нет никаких двух родов, это всё та же трагедия. Только герой её подрос и возмужал.

Я позволю себе пренебречь пока характеристикой шекспировского героя как мыслителя, а не деятеля, и взамен предложить уже освоенный нами, единственно возможный путь знакомства с «Гамлетом»: отказ от любых предварительных знаний о сюжете и лишь сопереживание его с начала до конца.

Давайте пропустим первую сцену встречи Горацио и стражи с призраком – там мы узнаём только об исходных обстоятельствах: умер король, появился его Призрак, и всех, видимо, ожидают какие-то пугающие новости. Познакомимся сразу с героем.

Посмотрите сцену королевского совета – он там появляется впервые.

Шелестят страницы.

- Есть ли что-то примечательное в его поведении? Что-либо загадочное?

Несколько голосов отвечают, что как будто нет.

- Всё понятно, да? Он даже сам настаивает на отсутствии какого бы то ни было притворства – печаль его велика, но ему нечего скрывать. В придачу к утрате отца он потрясён глубоким недоумением в связи с поспешным браком матери. И его смущает предчувствие какой-то загадки в произошедшем. Но он прям и откровенен – настолько, насколько позволяют приличия, и первый монолог его весь посвящён лишь поведению королевы. В первой встрече с Горацио и солдатами тоже нет загадок. В долгих подробных расспросах о внешности Призрака он даже дотошен, слишком буквален – смотрите сколько вопросов:

- Где он проходил?

- В оружье?

- До пят?

- И вы не видели лица?

- Хмурил брови?

- Он был бледен иль покрасневшись?

- И не сводил с вас глаз?

- Он долго пробыл?

- С седой бородой?

Даже перед самой встречей с Призраком он совершенно бесхитроуен в диалоге с Горацио и Марцеллом.

И потом с ним что-то происходит. Да, он узнаёт страшную правду. И, разумеется, такое потрясение должно его изменить. Но что именно меняется?

- Ясность приходит. Он говорит: «О, мои прозренья!».

- Я имею в виду – как он себя ведёт?

- Ну, как-то дурака валяет, шутит...

- Не очень понятно, правда? Вот первое новое впечатление: с какого-то момента следить за его поведением, а тем более «влезть в его башмаки» намного труднее, чем в случае с классическими героями. Мы как бы перестаём его понимать. Довольно простые действия, которые он предпринимает, совершаются им каким-то усложнённым,

запутанным способом. Как будто инстинкт диктует ему уклоняться от прямых поступков или, по крайней мере, придавать им двусмысленность. Речь его наполняется иносказаниями и отказом от прямого общения.

Читайте конец сцены с того момента, когда он попрощался с отцом.

Дочитали? Теперь вернитесь опять к этому мгновению. Если вас стремительно втянуло в могучее силовое поле трагической коллизии, наверно необходимо хоть какое-то время, чтобы положение своё осознать, но такой роскоши ему не предоставлено. Действовать придётся немедленно – прежде всего отвечать на вопросы. В отличие от Эдипа, ему всё известно, он понимает, что столкнулся с неизбежным, а вместо предсказания о том, что когда-нибудь с ним ещё произойдёт, оракул в лице Призрака диктует ему, что надо сделать. Его непосредственная реакция, выраженная в словах «...в книге мозга моего пребудет лишь твой завет, не смешанный ни с чем...», как будто даёт нам ясное представление, чего следует ожидать далее – мести, расправы с преступником, да? И очень легко пропустить слова, которые предваряют это обещание: «...я с таблицы памяти моей все суетные записи сотру, все книжные слова, все отпечатки, что молодость и опыт сберегли...». Но это – совсем другого рода действие! Такой отказ от прежней жизни, от самого себя даром не проходит. Разом освободившись от усвоенных, знакомых представлений, он попадает в это магическое состояние, которое теперь модно называть «здесь и сейчас», и открывает своё сознание Бытию, а оттуда поступает новое, неведомое прежде знание, которое подсказывает, что раз в действие приведены исходные силы самого Бытия, привычные человеческие реакции и поступки тут, может быть, не только неуместны, но сами по себе могут оказаться роковыми. Призрак – ещё не Рок, это всего лишь одно из действующих лиц, хотя и вызывающее наибольшее доверие.

Вам может показаться, что я привношу в пьесу своё собственное толкование, но обратитесь к тексту, прислушайтесь внимательно, как принц в течение следующих нескольких минут справляется с этим неожиданным, перевернувшим весь его мир ощущением:

Вот он уже поклялся небом. И вдруг возвращается к характеристике своих врагов: «О, пагубная женщина! – Подлец! – Улыбчивый подлец, подлец проклятый!». Зачем? Разве это нуждается в подтверждении? Или ему нужно ещё больше себя распалить? Но почему? Более того, вдруг он вспоминает о своём дневнике и записывает пришедший в голову, пустяковый, в общем-то, парадокс – может быть, просто тянет время? А затем вновь: «Я клятву дал!» Он как будто напоминает сам себе о своём решении. Как если бы что-то мешало ему в нём утвердиться. И даже несколько мгновений спустя, уже слыша – или ещё не слыша – как его окликают друзья, вновь сам себя убеждает: «Да будет так»!

Может быть вот эти колебания дали повод подозревать героя в некоторой внутренней вялости, слабости реакций, безвольности, и отсюда родилась легенда о его нерешительности, неспособности действовать. Но это слишком житейское толкование, оно не учитывает чрезвычайных трагических обстоятельств и закрывает возможность дальнейшего развития – оставляет нас в пределах простой психологии.

Почему не вообразить, что мозг его лихорадочно выбирает, что следует предпочесть? И резко диссонирующий с ситуацией клич соколиной охоты: «Илло, хо-хо, мой принц!», которым зовёт его Марцелло, помогает ему прийти в себя и одновременно подсказывает способ поведения. Его первое решение – отодвинуться от самого себя, быстро нахлобучить какую-нибудь личину, действия которой не будут иметь для окружающих прямого отношения к ситуации, и в любом случае смогут выглядеть

сомнительными. Второе – сохранить в тайне причину этого решения, чего он и требует безоговорочно от двух единственных свидетелей.

Хочу ли я сказать, что именно этому внутреннему процессу становится свидетелем зритель или читатель? Нет. Это просто возможный вариант. Но процесс этот внешне выражается в необычном, непонятном поведении, а его зритель видит. И это становится первым настораживающим сигналом, каких мы наблюдали немало в развитии действия в «Эдипе» – свидетельством присутствия какой-то новой, невидимой, но могучей силы.

Вот и давайте представим себе неведомого нам прежде героя, способного отчётливо осознать и неизбежность трагического тяготения, и несовершенство человеческого разума, склонного по-своему истолковывать внешние события и своими произвольными действиями сопротивляться истинному ходу вещей: затягивать – или торопить – разрешение ситуации, завязывая по пути узлы новых трагедий.

И тогда не очень понятно, откуда возникло распространённое представление о бездействии Гамлета. Если речь идёт только о расправе над братоубийцей и узурпатором трона, то тут прав уже упомянутый философ – это было бы не разрешением, и даже не восстановлением равновесия, а всего лишь мстью, то есть продолжением трагической коллизии и распада времен. Его задача намного труднее. «В этот ад закинут я, чтоб *всё пошло на лад*». А такое возможно только если время воссоединится, и от коллизии не останется следа. Одному человеку это не под силу, ему следует действовать в союзе с трагической волей, которая разворачивается независимо от него. И уж во всяком случае не пытаться этой волей управлять по собственной инициативе.

Это при том, что он продолжает жить в предоставленных ему жизнью обстоятельствах и постоянно встречается с тем или иным искушением поступка. Подобное напряжение, если и не способно свести столь одухотворённого человека, как Гамлет, с ума, может навести на мысль об имитации сумасшествия. Вот вам и первый поступок.

Действий он совершает много – может быть больше, чем ему самому хотелось бы. Он непосредственно вовлечён в острую дворцовую интригу, жизнь дворца идёт полным ходом, в покое его не оставят, и он вынужден быть предельно осторожным, поскольку малейший его поступок чреват непропорционально серьёзными последствиями. Одно из его волевых усилий по-видимому направлено на самосохранение, ибо на него легла вся ответственность проследить за восстановлением «связи времен» – чтоб всё вновь пошло на лад. Никто кроме него не знает, что на самом деле происходит, даже его прямой враг. Его преждевременная гибель лишь ещё туже затянула бы узел трагедии. Но уж конечно движет им не простой страх за свою жизнь, которая сама по себе больше не обладает для него ни смыслом, ни ценностью. Из такого мироощущения выросшие слова: «Что за мастерское создание – человек!.. Краса вселенной! Венец всего живущего! А что для меня эта квинтэссенция праха?» – уже не абстрактное философическое умозаключение, а продукт непосредственного личного опыта. Он совсем не уверен, что ему удастся осуществить своё предназначение и опровергнуть это горький вывод.

Пишите задание для следующей лекции. Вот в этой перспективе – то есть, если у вас не возникнет какая-то своя перспектива, это было бы ещё лучше – попробуйте развить дальнейшие взаимоотношения Гамлета с Офелией, с матерью, убийство Полония, Розенкранца и Гильденстерна. Вообще, посмотрите, какие и сколько сознательных действий он совершает. И попытайтесь разглядеть, какого рода катарсис предлагает Шекспир.

Ник отказывается от желания сообщить своей студентке, что был на спектакле, чувствуя, что не вполне готов к разговору, который вероятно последовал бы. Он рассчитывает сначала дождаться встречи с актрисой.

13. Редкие собеседники.

Патриша Холман позвонила через несколько дней и сказала, что они собираются показать сыну Маунт Вернон, и что, если Николас согласен, они захватят и его. Отец с сыном проведут время в музее, а они смогут побродить вокруг и поговорить.

Восьмилетний Шон оказывается мальчиком вежливым и сдержанностью походит на отца. Нику неловко заводить при нём разговор о работе родителей. По дороге они ограничиваются шуточной беседой, в которой он пытается рассеять подозрения ребёнка в том, что этот праздничный день его знакомят ещё с одним учителем.

Через полчаса Эндрю с сыном скрываются в особняке, а они огибают дом и спускаются к воде, минуя служебные постройки, фруктовые сады и могилу первого президента.

- Имя ваше – это псевдоним?

- Нет. Печать чужой славы, *sanx* туберкулёз.

- Как же получилось, что Америка до сих пор не знает Дикинсон?

- Ну, я надеюсь, что немножко знает. А вообще, как я поняла, её стараются узнать, осматривая со всех сторон её жизнь. Каковы взаимоотношения с религией? В чём причина уединения? И так далее. И чем серьёзнее они этим занимаются, тем дальше уходят от неё самой. Не знаю, почему. Кто-то может быть нечувствителен к стихам. У других – подсознательный страх. Безнадёжно. Если её стихи не сбивают тебя с ног, невозможно её понять. А те, кого сбивают, вряд ли могут объяснить – чем.

- Но вот вам же удаётся?

- Я совсем не уверена в этом. Может быть, чуть-чуть. А у меня вроде есть некоторые преимущества...

- Кто-то сказал, что читая Дикинсон, вы не откроете Америки, что это другой континент.

- Да Америку открыть тоже не так просто. Она не перестаёт удивлять. Но искусство, мне кажется, слишком дорогой инструмент, чтобы пользоваться им для таких открытий. Есть вещи и поважнее. Знаете, что удивительно... Вы бывали в Амхерсте?

- Нет.

- Их дом на Мэйн стрит... Конечно большинство приезжает туда из простого любопытства. Всё-таки имя её знают. Но я замечала, что есть люди, которых туда тянет какая-то сила, объяснить которую они не могут. Как лунатики – ходят, глазают, ничего не получая от того, что видят... Наверно не знают, что ищут. И потом приходят опять. Может, встретить её хотят... Какое-то безумие. Иногда их даже жалко становится.

- Должен вам признаться, что испытываю похожее ощущение. Я пытаюсь сейчас рассказывать своим ребятам о Софокле... Но начинаю подозревать, что занимаюсь бесполезным делом. Всё, что им нужно, это прийти на ваш спектакль.

- Без вас они, может быть, и не придут. Или нескоро придут. Это всё-таки разные вещи, я думаю. Большинство всё равно не видит и не слышит. А вам может быть удастся их любопытство расшевелить.

- Нельзя ли как-то это усилить, распространить?

- Сомневаюсь. Думаю, что нет. Живого в мире немного, но наверно это какой-то естественный процесс. Ускорить его не получается. Может быть и не нужно, не в этом дело. Жаль, когда живое не встречает вообще никакой поддержки, ниоткуда. Но и это, как оказывается, не смертельно. Стоит подождать – и оно вновь появляется.

- «Слишком ранние протечи слишком медленной весны...».

- Что это?

- Один русский поэт так сказал. Правда, он не художников имел в виду. Но, между прочим, философ, о котором он говорил, предсказывал появление в будущем нового искусства, оказывающего прямое воздействие на зрителей. Он называл его теургией.

- А-а-а... теории... Что они объясняют? И какое же оно новое? Так оно всегда и действовало.

- Наверно, вы правы. Но как-то тяжело ощущать собственную беспомощность.

- Тяжелее, чем Дикинсон было?

- У неё были стихи.

- У всех есть свои стихи. А стишок красивый. Наверно и она могла бы так написать. Она себя называла «кенгуру». «Кенгуру в мире прекрасного»...

- Теории мало что объясняют, это правда. Но тогда чем же я, по-вашему, им помогаю?

- Вы же не художников готовите, я надеюсь.

- А нет ли способа расширить вашу аудиторию? Сделать условия чуть более благоприятными.

- Не знаю. Наверно, есть. Но как вы себе это представляете? С помощью рекламы? Я содрогаюсь, когда воображаю себе, как может выглядеть широкая реклама этого спектакля. Я даже рецензий стараюсь не читать. А с другой стороны, желание большой аудитории – тоже, может быть, иллюзия. В ней столько же восприимчивых душ, сколько и во всём мире, всё та же десятая часть. Остальные – пропускают мимо ушей. Или извлекают удовольствие – постороннее, случайное, не имеющее отношения к сути дела. А кроме прочего, меценатство прекрасно, но оно способно и зависимость порождать. Так что, пожалуй ничего лучше естественных условий не придумаешь. А что им сопутствует печаль... Из неё ведь и рождаются все стихи. Отчасти.

- И из любви.

- И из любви.

Они уже идут вдоль берега. Потомук в этом месте очень широк. Парк на другой стороне, в Мэриленде едва различим. Отыскав скамейку в более или менее безлюдном месте, они садятся.

- Вы бывали в Европе?

- О да. Не раз. Я иногда думаю – из-за всех этих грядущих карантиннов – никогда не простила бы себе, если б не успела съездить.

- А любимые места?

- Очень много. Но если уж сильно сузить – Италия. Всегда безошибочное ощущения полного счастья.

- Колыбель?

- Наверно. Об этом не думаешь. Просто совершенно особенный воздух, как в Раю. Надеюсь – доживу, чтобы ещё раз вдохнуть... Вы как относитесь к нашим начинаниям, к изоляционизму этому?

- С интересом. Особенно к некоторым его сторонам. Вот вы упомянули карантин – я уже слышал такое определение, но, кажется, мало кто относит его к ситуации. А это, мне кажется, интересный ракурс, хотя и пугающий. Вы что-то в этом слове угадываете?

- Не знаю. Всё ещё не могу освоиться. Об этом лучше у Энди спрашивать – у него много всяких странных идей. Что много дряни в стране сохранилось – это я понимаю. И что слишком пользуются некоторые своим преимуществом. Но можно ли с этим справиться, просто спрятавшись от внешних влияний... Что, собственно, должно нас вылечить в таком уединении?

- Время, может быть?

- Ну, это вы у Дикинсон спросите. Она вам скажет, что время не лечит никогда.

- Она кажется о страдании говорит, об утрате. А если удастся помочь людям жить по-людски... А вам, например – почаще с ними встречаться... У вас много работы впереди.

- Мало и не было никогда. Но вы что-то всё меня допрашиваете. Расскажите лучше о себе.

...Рассказывать о том, что не имеет даже отдалённого отношения к монологу? О жизни, главным событием которой сейчас представляется вот эта встреча?

Вода, лениво плещущаяся у берега, грязна от мусора и качающихся в ней чёрных обломков дерева. Уравнивает это запустение лишь необъятная ширина реки и её затерянный вдали источник, обещающие обилие чистой влаги. Рядом с их скамейкой в реку втекает бурный ручей, обозначающий границу поместья. А за ручьём начинается дикий лесной бурелом. Возможно, некоторые подробности его жизни способны ещё служить как приложение, как подходящий комментарий к событиям другой, более важной судьбы. Сами по себе они вряд ли заслуживают описания.

- Одна моя студентка видела вас на сцене. Я спросил её о впечатлении – она ответила, что это не поддаётся описанию. Что именно вы хотели бы узнать?

- Вы ведь из России?

- Я там родился. Но уже тридцать лет живу здесь.

- Там тоже наверно была своя Эмили Дикинсон.

- Пожалуй. Очень разная история у этих двух стран. Похожих судеб наверно не найти. Но если приблизительно сравнивать, я бы назвал Марину Цветаеву. У неё совершенно другая биография – можно сказать, противоположная. Она была замужем, у них были дети, вынуждена была эмигрировать, их семья жила в Европе. Потом вернулась вслед за мужем, его арестовали и казнили. А она покончила с собой. Но стихи её... Она была такая же «кенгуру».

- Я бы хотела о ней узнать.

- Её биография есть на английском, и я с удовольствием дам вам всё, что есть у меня. Сохранилось много писем, она писала потрясающую прозу. К сожалению, чтобы читать её стихи, надо знать язык. Я могу себе представить, какой монолог вы сотворили бы из всего этого. Но если своего поэта американцы узнают с трудом и спустя чуть не двести лет – тут, пожалуй, совсем будет непроходимый лес, одни завалы – вот как этот, за ручьём.

- А вы о возвращении никогда не думаете?

- Чем больше думаю, тем яснее становится, что это пустая идея. Когда сам покидаешь свою страну, по существу выбираешь себе вторую родину. Есть огромная разница между насильственным изгнанием и добровольным, то есть сознательным отказом жить под репрессивным режимом. Высылка – это одна из форм наказания, облегченный вариант тюрьмы. И обязательства изгнанника перед принявшей его страной

сводятся к простой благодарности. Обязательства игнанника добровольного столь же велики, как и у любого гражданина. Ему надлежит отчасти посвятить свою жизнь новому отечеству. Есть и большой риск – не каждому дано ощутить новую страну своим домом. Вообще, это, конечно, сложное состояние, но одну из его сторон хорошо было бы понимать всякому, перед кем встаёт вопрос об эмиграции. Отъезд в этом случае может быть только окончательным. То есть, со страной своего рождения предстоит расстаться навсегда. Иначе решение становится этически двусмысленным. Вот вы представьте себе идеальный вариант: возвращаешься в страну, где режим, который вынудил тебя уехать, кончился. Некто или нечто привело твою страну в порядок. Есть в ней тебе достойное место? Откуда появилась у тебя эта особая привилегия перед согражданами, позволившая по своему желанию избавиться на время от власти? И что должны думать о тебе соотечественники, которые, по тем или иным причинам, не смогли пережить тяжёлые времена в безопасности, подобно тебе? В любом случае твоя страна, прошла значительный отрезок своей истории без тебя – это уже не совсем твоя страна, и ты в большой степени останешься от неё отчуждённым. Как в новом изгнании. И получишь странный статус человека без своей страны, не принадлежащего вообще ни к одному из сообществ.

- А национальные истоки? Культура, язык?

- Это как раз одно из редких преимуществ. Они остаются с тобой.

- Да, я понимаю, что вы имели ввиду говоря, что у наших стран слишком разная история. Я даже не знаю, возможно ли как-то преобразовать ваш, например опыт во всеобщий.

- А как вы вообще ищете основу для своих спектаклей?

- С трудом. Хотите что-нибудь предложить?

- Ну, как я могу? Надо всё же как-то разбираться в вашей кухне... Вот вы ещё «Жаворонка» играете, значит – не только монологи?

- Конечно нет. Но тут одна сложность возникает. Есть в театре какая-то неразрешимая загадка. Мне, по крайней мере, её разрешить не удаётся. Может быть, и не в самом театре дело, а просто это вопрос коллективного творчества – то есть, его невозможности. Для музыкантов, например, тут и загадки никакой нет, а есть одно слово – солист. Я видела спектакли, сыгранные потрясающим ансамблем. Никогда впечатление не поднимается до высшего уровня, если оно не собрано в единый образ, а это всегда – актёр. Один актёр. Только в его руках возможность завораживать. Если, конечно, он такой способностью наделён. Все талантливы, все хорошо играют, результат может быть сильным, но никогда не станет потрясением.

- А какой-то идеальный вариант существует?

- Ну, как сказать – я счастлива была бы работать в таком театре, где сегодня спектакль актёра «эн», завтра – актёра «эм», а послезавтра – мой. И в первом, и во втором я постаралась бы выложить все свои силы, чтобы работать с солистом во имя его триумфа. Взаимодействие актёров на сцене – это могучее средство. И если работать на равных, всё равно ни у кого не останется сомнений, кто тут правит бал – сама ткань событий, их глубинный смысл к тому приведут. Но это редко случается. Актёров много, Бог наделяет неравноценными талантами, а верим мы в Него слабо, нам это представляется несправедливым, и начинаются скандалы сбитых с толку самолюбий. Да даже те, кто мог бы в таком театре работать, не всегда хотят. Приходится много ездить по стране... Это, в сущности, ещё одна форма одиночества. У Эмили поразительные догадки есть об этом, вы помните наверно: «Один – редкостная сумма! Одна птица, одна клетка, один полёт...».

- Но вам приходится принимать в этом участие, даже в такой несовершенной форме.

- Приходится время от времени. Грустный опыт чаще всего. Было когда-то такое древнее правило «играть короля» – то есть, не только ему самому, а всем окружающим. Ну, это просто технический приём. Вспомогательный, так сказать. Мало кто понимает, что на самом деле это значит – не воспроизводить внешние атрибуты подданничества, но сознавать, какое тут королевство творится. А время идёт... Вот и подумаешь – может взяться за «Моби Дика»...

- Это было бы грандиозно. Но у Ануйя ведь ещё «Медея» есть. Я не знаю, правда, существует ли перевод.

- Кажется, нет. А французский я знаю плохо. Но у нас не совсем Ануй. Мы немножко переработали его. Там есть из Марка Твена куски, из Шоу...

- В конце концов, можно и перевести. Я по-русски читал – это, мне кажется, могло бы вас заинтересовать.

Звонит Эндрю и говорит, что они завершают экскурсию и будут ждать у выхода. Они поднимаются и направляются вверх к усадьбе.

- Когда я смогу вас в «Жаворонке» увидеть?

- Кажется в декабре, я точно не помню. Дам вам знать, если сами не найдёте. Вообще, не пропадайте. Я бы вот тоже лекции ваши послушала.

- Боюсь, что не выдержу такого позора. Это – как Папе проповедовать. Но приходите, конечно. Я пришлю вам расписание, если хотите.

Мальчишка под сильным впечатлением от усадьбы и по дороге домой спешит поделиться с мамой, а у отца продолжает выпытывать дополнительные подробности. Наконец он успокаивается, и тогда, выждав ещё несколько минут, Николас рискует:

- Эндрю, мы с Пат заговорили о последних событиях, и она сказала, что вас они тоже занимают.

- Ну, кого ж они не занимают? Но как-то получается, что поздно теперь их обсуждать. Только осваивать.

- Николас считает, что мы готовимся к карантину.

Пат кажется поощряет мужа к откровенности, давая ему понять, что собеседник того заслуживает.

- Можно и так посмотреть. Хотя я ещё не слышал, чтобы прокажённые сами себя лечили.

Ник замечает, что слово незнакомо Шону, и тому очень хочется спросить, но он, видимо, умеет сдерживаться, чтобы не перебивать взрослых.

- Это такая очень заразная и опасная болезнь, Шон.

- Я знаю. А карантин?

- Это долго объяснять, сынок, - говорит Пат, - Ты запомни слово, а я потом тебе расскажу.

- Хорошо.

- Главной причиной называют всё-таки зависимость от внешних влияний, - продолжает Эндрю, - Это понятно. Может быть, разумно. Ладно, мы догадались, что грозит уничтожение и полны решимости его предотвратить. Но что мы, собственно, спасаем? Своё благополучное существование? Убогое житьё с мимолётными удовольствиями, привычными разочарованиями и атавистическими распрями? Это ведь единственное, что нас ещё возбуждает. Они пока способны разогреть кровь, напомнить,

что мы живы. Пожалуй сможем даже уклониться, сохранить себя ещё на двести-триста лет. После чего вымрем без всяких внешних воздействий, потому что не производим ничего, что заслуживало бы сохранения.

- Ну это ты загнул. Чего пугаешь человека? Шон, тебе хватит триста лет?

- Я не знаю.

- Возражай, если сумеешь.

- Эндрю, я не то чтобы в качестве возражения, но как вы оцениваете то, чем вы с Пат занимаетесь?.

- Да мы – что... Меньше меньшинства. Нам карантин не нужен. Но они-то в своём порыве самозащиты руководствуются только стремлением выжить, так и не зная, почему и зачем они здесь Или вы считаете, что они вдруг решили о нас с вами позаботиться?

- Вам кажется, что это легко узнать – зачем и почему?

- Конечно нет. Но уж очень время подходящее. Вопрос выживания приобрёл бы совсем другой смысл, более основательный.

- Давайте я вам подыграю в роли житейской мудрости. Разве не следует сначала погасить пожар, а уж потом размышлять, достойным ли путём шла жизнь в доме?

- И я отвечу – не вам, а житейской мудрости: это шёпот задушевной лжи, и искренней подлости. Кризис – самое плодотворное время для человеческой души, двери распахиваются, она становится открытой для новых чувств. Кто это нам внушил, что удержать в сознании две мысли одновременно человеку не по силам?

- Да, был такой забытый навык сбора лесных ягод: «Одну берём, другую видим, третью замечаем». Но может быть что-то всё же меняется. Конечно, не на таких скоростях, как вам хотелось бы. Не знаю, что вам известно об университетских программах, но когда я тут пытался выбраться из переплёта, в который меня втянули, я встретил несколько человек из руководства, и они меня очень удивили какой-то скрытой настоятельностью. Вашими доводами никто из них не пользуется, но я вот думаю теперь: может это и была та, вторая причина, которую вы имеете в виду.

- И тут же кончают с собой.

- Это, конечно загадочный способ ответить на вопрос «зачем и почему». Но вы обратили внимание, что в записке своей он почти повторяет ваши слова?

Эндрю не отвечает.

- Я сказала Николасу, что мы на лекцию к нему придём.

- Вы не обижайтесь на меня за эту болтовню, не принимайте её всерьёз, - выговаривает наконец её муж, - Не могу удержаться, задираю каждого приличного человека – всё жду, чтобы меня поставили на место.

- Пап, а мы можем поехать в лес ягоды собирать?

- Можем. Но это придётся куда-нибудь в Канаду ехать, наверно. Поищи сам на интернете.

Пат протягивает сыну свой телефон.

14. И трудные соотечественники.

Сальвадорец Мигуэль Виейра готовится расставить на столе двух посетителей тарелки с едой, но остановлен неожиданно резким вопросом:

- Почему так долго?

- Извините. Обычное время для кухни, не дольше, чем всегда.

- Это там, в вашей вонючей дыре привыкли расслаиваться. А здесь Америка.
- Я знаю, где нахожусь. Но обычно с грубостью не встречаюсь.
- Ты так со мной не разговаривай, вошь прилюдная!

Поднос, со всем содержимым, выбитый из рук официанта, рассыпается звоном приборов и разбитых тарелок. Мигель уходит, не отвечая. Остальные посетители, на секунду отвлекшись шумным спором и громом посуды, возвращаются к своей еде и беседе. Но двум жертвам плохого обслуживания этого недостаточно.

- Понаехали, повезли с собой нахлебников, - прямо обращается к окружающим атлетически сложенный парень. На его голых по локоть руках внимательный взгляд может обнаружить сложную татуировку, включающую нацистские символы. Именно это замечает сидящий в отдалении средних лет мужчина, внимательно наблюдающий за происходящим. Он одет в клетчатую рубашку и рыбацкую жилетку со множеством карманов.

Силвии сегодня в «Нисе» нет, но есть её муж Дэн, который и приближается неспеша к сердитым клиентам, обходя грязь на полу.

- Что случилось, ребята?
- Ты, папаша, документы у своих служащих проверяешь?
- А вы что, из иммиграционной службы?
- Нет, мы заинтересованные граждане.
- Так это, может быть, не ваше дело?
- Ещё один сострадатель. Из-за таких как ты люди без работы сидят, - он по-прежнему не оставляет надежды вовлечь в диалог всех вокруг.
- Хотите официантом поработать?
- Мне пока работы хватает.
- Так он на вашу и не претендует.
- Не спорь ты с ними, Дэн. Покажи им на дверь, и все дела, - пробуждается наконец чей-то женский голос.
- Вы, леди, занимайтесь своей едой.
- Не надо мне указывать, чем заниматься.

Татуированный картинно отодвигается от стола, встаёт и направляется в сторону женского голоса.

- Пстой-ка.

Это негромко произносит тот, сидящий в отдалении. Он не изменил своего положения, только отпил ещё один глоток чистой воды из стакана, кроме которого на столе ничего нет.

- Кто-нибудь знает этих двоих? – обращается он к публике.

И публика, отвечая на вопрос отказом, вдруг сознает, что и спрашивающего они никогда не видели.

Задира меняет направление. Вслед за ним поднимается и его партнёр. Их хозяйски уверенное поведение должно бы казаться странным. Разве что они уже не один день в городе и успели понаблюдать за настроением, за общей неуверенностью и вялостью реакций. Может быть, это высланные вперед разведчики, прощупывающие возможность закрепиться в этом местечке. Нечто подобное читает в их повадке тот, кто их приостановил.

- А тебе чего нехватает? – нависли над ним двое. – Пойдем – расскажешь.
- Не надо.

За тем, что происходит дальше, уследить никто не успевает. Отметим только угрожающее движение главного буяна. А затем вдруг оба неподвижно лежат туловищами на столе и у каждого рука вывернута за спину и задрана вверх.

- О-о-о!.. – прокатывается по залу вздох восторженного изумления.

Тем временем, выждав несколько секунд, пока до противников доходит бессмысленность сопротивления, он осторожно усаживает одного за другим за свой стол и отпускает их руки.

- Не беспокойтесь, всё в порядке, - восстанавливает он равновесие у зрителей этого аттракциона. Но если они решают, что инцидент исчерпан, они ошибаются. А тем временем от них ускользает развитие событий за столом.

- Ты не знаешь, во что ты влез, - теперь татуированный говорит тихо, его слова обращены только к обидчику. Он неловко, левой рукой достаёт телефон и несколько раз, ошибаясь набирает номер,

- Может быть, знаю.

Хозяин стола с интересом следит за его усилиями. Хотя то, что тот говорит в телефон, разобрать нельзя. Можно было бы остановить это, по всей вероятности, обращение за подмогой. Но у него другие планы – как раз эту подмогу ему и хочется увидеть. И чем она основательнее – тем лучше.

- Ты только не торопись никуда, посиди ещё.

- Сижу. Вы бы хоть беседой меня развлекли.

Ответа он не удостоен. Они лишь переглядываются и массируют пострадавшие мышцы.

К столу не очень уверенно подходит ещё одна официантка, Лиз. Мигеле пока не готов к новым столкновениям.

- Принести вам что-нибудь?

Хозяин стола качает головой.

- Спасибо.

Вот наконец и резервы. Их больше, чем можно было предположить. В дверь просачиваются полдюжины соратников. Как будто выполняя некий тактический план они рассредоточиваются по всему пространству, занимают места у окон и у входа в кухню. У всех в руках дубинки, у двоих открыто висят на поясе пистолеты. Ещё двое остаются снаружи у входных дверей. Впрочем, ненадолго. Уже через минуту они исчезают, и их партнёры внутри этого не замечают – видимо их тактические навыки не так уж совершенны.

- Всё... – шипит главный заводила, но его шипение обрывает резкая, властная команда вставшего из-за стола, соперника.

- Слушать внимательно! Не шевелиться! При первом движении лишитесь рук и ног – ваш атаман вам подтвердит.

Это голос, умеющий отдавать приказы, его не так легко послушаться. А в помещение уже текут и текут фигуры в похожих куртках болотного цвета, но без каких-либо знаков различий. Никто из них не вооружён. Их гораздо больше полдюжины, и разбойники постепенно растворяются в этом молчаливом и сосредоточенном потоке.

- Отдайте спокойно ваши палки и прочие игрушки и неспеша – на выход. Мы с вами съездим ненадолго в одно место, надо поговорить. Если будете вести себя тихо – потом разъедетесь по домам. Мы не полиция, протоколов не будет.

Требовательно протянутые руки. Медленно сдающие своё оружие другие руки. В воздухе продолжает висеть опасность, пока последние из столь необычных посетителей «Ниса» не оставляют ресторан.

Снаружи хулиганов рассаживают в два пикапа. Двоих, а потом и третьего, попытавшихся сбежать, быстро ловят, не причиняя особых повреждений – по периметру стоянки быстро возникают ещё несколько фигур, чтобы их перехватить.

- Бросьте это! – командует один из окружения. – Вам ничего не грозит, вам уже сказали. Но если ещё раз побежите, накажем.

А в это время внутри человек в клетчатой рубашке и рыбацком жилете, стоя у стола, на котором сложены кучей дубинки и оружие, просит жителей передать этот хлам шерифу и рассказать ему, что произошло.

- Да вы кто же такие? – спрашивает Дэн.

- Как кто? Гости ваши, соотечественники. Берегите Лордсвилль, и будьте здоровы. Больше никто не успевает сказать ни слова.

- Солдаты есть?.. Ну давайте, давайте, разевайте едальники. Я же просто разговариваю с вами.

- А кто ты такой, чтобы спрашивать?

- Коста. Бывший старший сержант, сто первая воздушно-десантная дивизия. Три срока в Ираке, два в Афганистане.

- Ну есть, допустим.

Их посадили полукругом на пустых ящиках в заброшенном амбаре у лесной чащи, милях в десяти от Лордсвиля.

- Ещё кто-нибудь?

- Да зачем тебе?

- А чего стесняться-то? Это пока лучшее, что вы сумели в своей жизни сделать.

- Коста, ты нам проповедь что ли читать собираешься?

- Нет. Это вам папа с мамой должны были во-время почитать. Я хочу, чтобы вы убедились, что возня ваша кончена, время её прошло. И если у вас хватит мужского достоинства, попробовали это внушить своим лидерам. Вас ведь предупредили, но вы всё думаете, что это так, очередная политическая кампания. Не кампания, нет. Срок ваш вышел. Берите пример с Клана – у них история подлиннее вашей, и тоже полно Великих Драконов, Мудрецов и Рыцарей. Но они рассеиваются потихоньку. Вы поинтересуйтесь, сколько их уже завязали с этой детской страшилкой. А спрашиваю, потому что мне интересно, сколько у вас тут Маквеев собралось.

- Через одного. Ты Тимоти лучше не трогай.

- «Непокорённые», стало быть... «Из-под покрова тьмы ночной.. Из чёрной ямы страшных мук... Благодарю я всех богов... За мой непокорённый дух»... Тимоти Маквей может и знал, чьи это стихи, а вы знаете?

- Уильям Хэнли.

- И кто такой Уильям Хэнли?

- Какая разница, кто он такой?

- Так далеко ваша любознательность на заходит, значит. На очень жидких ножках вы стоите, если для поддержания духа вам нужны то Вагнер, то Ницше или вот – Хэнли. Уильям Хэнли действительно страдалец – хромой, больной, потерявший дочь. И ни в чём этом не было его вины. Чем ваш кумир страдал? Тем, что положил в могилу сто семьдесят душ и дождался смертного приговора? Это всё его мучение? Тот, по крайней мере.

противостоял судьбе. А ваш пример для подражания – чему? Полтора сотням безоружных, беспомощных чиновников, жизнью которых он распорядился, и честному судье? Не на чем тут стоять. Земля у вас под ногами сыплется, а у вас ума не хватает даже побарахтаться, поискать, чем её можно укрепить.

В дверях амбара появляются двое полицейских, которые успели наконец нагнать процессию и уже обменялись парой слов с ветеранами, оставшимися снаружи. Они задерживаются у входа и продолжают молча наблюдать за собранием.

- Зачем вам притворяться кем-то другим, а не быть самими собой, - продолжает Коста. - Стране ваши мозги нужны. Люди нужны, а не обезьяны. Хотя обезьян тоже обижать не надо.

- Эй, шериф! Так и будешь стоять? У тебя на глазах преступление происходит – насильственное похищение. Неужели не вмешаешься?

- Я слышал, что вы прокатиться поехали, - отвечает шериф. - И не вижу, чтобы вас тут насильно удерживали. Больше на церковную службу похоже. Кому вы могли понадобиться – тоже неясно. А вмешаться я могу. Но тогда вам придётся сесть за решётку сначала. А потом предстать перед судом за дебош. Улик у меня в багажнике навалом, и полгорода свидетелей. Продолжай, солдат.

- Я всё сказал. Вы вот стали себя вдруг «Альтернативными правыми» называть... Значит, чувствуете уже, что в «Белом превосходстве» что-то не так, что-то в нём порочное есть, неправильное. Ну так соберитесь с мозгами, додумайте до конца. Вместо того, чтобы почитать и поразмыслить, о каком «сверхчеловеке» Ницше мечтал, вы путаете его идею с визгом Ричарда Третьего – полоумного калеки накануне поражения. Вы хоть понимаете, о чём я говорю, или всё это для вас высшая математика? Хорошо. Идите и запомните – дело не во мне и не в этих ребятах. Перед вами не противник, а Бирнамский лес. Вместо «Майн кампф» почитайте Шекспира. Разойтись. Дорогу сами найдёте.

Ветераны молча рассаживаются по машинам и уезжают, обгоняя уступающих им дорогу мрачных бунтовщиков. Впереди, приветливо поблескивая мигалкой, расторопно движутся полицейские. Через несколько минут пейзаж возвращается к безмятежному покою. Сюда не доносятся городские звуки. В тишине слышен только голос кукушки.

15. Учимся у детей.

Появление преподавателя в сопровождении актрисы и режиссёра встречено удивлёнными аплодисментами. Николас усаживает Патришу и Эндрю в стороне от кафедры.

- У нас будет возможность в конце урока побеседовать с гостями, а пока попробуем сделать вид, что это наша обычная лекция. Правда, я, чтобы спастись от смущения, предоставлю возможность краснеть – вам. Я хочу, начать с того, чтобы вы поделились со мной и друг с другом результатами вашего последнего задания. Напомню, о чём шла речь в прошлый раз. Мы говорили о новом типе героя, который, в отличие от героя классической трагедии, находит в себе силы встретить Рок лицом к лицу. Мы заметили, что, попав в условия трагической коллизии, Гамлет начинает странно себя вести – и речь, и поступки его приобретают непонятный характер. И я просил вас разобраться, как всё это соотносится с его ролью в трагической ситуации. Пит, начните вы.

- Значит, я посмотрел сначала, сколько он действий совершает. Очень много, оказывается. Ну, во-первых начинает играть сумасшедшего. Потом разрывает отношения с Офелией – об этом я ещё потом скажу. Теперь, организует представление – дописывает в пьесу слова и всё такое. Заставляет мать раскаться, попутно убивает Полония, во время путешествия в Англию подделывает письмо и, в общем-то, отправляет на смерть Розенкранца и Гильденстерна. И, наконец – убивает Клавдия.

Что-то он делает по собственной инициативе – и эти действия вреда никому не причиняют, во всяком случае не проливают крови, а что-то – вынужденно, как, например, убийство Полония. Но убивает он, как ему представляется, короля. Если говорить о неумолимой поступи трагедии, то вот тут она как раз проявляется, как мне кажется. Потому что Гамлет действует с ней заодно – с самого начала он не слушается прямого указания покарать убийцу, а всячески уклоняется от этого. И как подтверждение его правоты, когда он, спасая себя, всё-таки короля убивает – оказывается, что это не король. А с другой стороны, подтверждается, как опасны любые действия, потому что каждое приводит к катастрофическим последствиям. Убийство Полония приводит к высылке Гамлета в Англию и смерти Розенкранца и Гильденстерна. И это же убийство вместе с разрывом с Офелией ведут девушку к сумасшествию и гибели.

Я ещё хотел сказать об этом разрыве. Это к тому, что он ненормальным прикидывается и запутывает следы, делает свои поступки непонятными, двусмысленными. Понятно наверно, что он хочет уберечь Офелию от каких-то неизбежных и опасных событий, из которых ему уже не выбраться. Как объект неведомых и грозных сил он никак не имеет права связывать судьбу возлюбленной со своей. Но посмотрите, как сложно, в два приёма обставлено им расставание. По-настоящему он прощается с ней – безмолвно, исполняя какую-то пантомиму в спущенных чулках. Мы узнаем об этом из рассказа самой Офелии. И у неё остаётся подозрение, что он сходит с ума. Но и затем, при подстроенном свидании, ни она, ни мы так и не поймём, чего он на самом деле от неё хочет, и не узнаем причин, которыми его отказ вызван – мы-то ещё можем догадываться, но она не должна знать. Гнев его, обвинения женскому роду, «иди в монастырь» и так далее – это же выдумки, трудно поверить, что он именно её имеет в виду. Ясно только, что связь отныне разорвана...

- Спасибо, Питер. У меня возражений нет. Кто-нибудь хочет добавить?

- Я тоже согласна, - говорит Сюзан, - Мне кажется очень важным вот этот эпизод с убийством Полония. Правильно, что в его ситуации каждое движение опасно, а с другой стороны, если вести себя разумно, сам открываешь скрытые пружины – убиваешь одного, а убитым оказывается другой, потому что у трагедии – свои интересы. И Гамлет на практике постигает, как слепы человеческие усилия в пределах трагической коллизии. А ещё, при таком высоком, убийственном напряжении, трудно вообразить, сколько ясности и мужества требуется человеку, чтобы ориентироваться в этом поле. Даже Гамлету это удаётся не без потерь – и в этом, как мне кажется, ещё одно прозрение Шекспира – он оставляет своему герою, при всей его проницательности, вполне человеческое свойство ошибаться.

- Согласен. Сюзан, мы упоминали о распространённом мнении о бездеятельности Гамлета и как будто сумели справиться с этим заблуждением. Но сторонники такого представления опираются на неоспоримый факт, на текст, в котором герой несколько раз сам упрекает себя в бездействии. Нет ли тут противоречия?

- Противоречие есть. Как это Аттенборо сказал, когда его спросили как он справляется с Деброй Уингер, которая слывет проблематичной актрисой? Что, мол, да,

она создаёт проблемы для режиссёра, но это правильные проблемы. Тут то же самое. Мне кажется, что противоречие это естественное. Он ощутил сильное давление трагической коллизии, правильно? И вынужден – или заставляет себя действовать противоречиво, подавлять естественные реакции. Этот инстинкт так нов и необычен, так поперёк естественному поведению окружающих и даже собственным привычным правилам поведения... Наверно, поневоле им овладевают сомнения: так ли уж верно он понимает происходящее? Это ведь опять говорит о человеческом правдоподобии этого характера, что он не сверхчеловек. И ему не так легко поддерживать ясность сознания. Отсюда и все его монологи, когда он упрекает себя за бездействие. Может быть он проверяет с разных сторон подлинность своего откровения, право уклоняться от произвольных порывов.

- Хорошо, спасибо. Давайте теперь поговорим об исходе, о разнице в разрешении классической трагедии и шекспировской.

- Можно мне сказать? – поднимает руку Чу Юн, Чарли, как его называют сокурсники. Они знают что он кореец, но никому не известно, что он из Северной Кореи. По некоторым причинам его немногие соотечественники стараются скрывать своё происхождение. - Мы и без всякой трагедии никогда не знаем, какие наши слова или поступки, когда и в какой мере станут важными, определяют развитие событий. Почему и считается, что лучше бы говорить и поступать осмысленно. Но для этого необходимо полное присутствие в каждом мгновении, свободное от навязанных рассудком привычных реакций. Сам Гамлет описывает это состояние внимания, ровной и постоянной готовности довольно просто: «Готовность – это всё». Я заметил, что у Шекспира эта фраза обладает особым значением. Он использует её дважды, в разных пьесах и в прямо противоположных ситуациях. Перед поединком с Лаэртом Гамлет признаётся Горацио в дурных предчувствиях, и когда тот предлагает отменить схватку, отвечает как раз этой фразой: «Readiness is all». В данном случае она означает и готовность к гибели. Но в «Короле Лире» этими же словами Эгмонт убеждает Глостера, который отказывается бежать от неотвратимой гибели: «Ripeness is all». И в этой ситуации они звучат как призыв не поддаваться отчаянию, не смиряться с неизбежным. Очень важен лексический оттенок в обеих фразах: в первом случае автор использует производное от прилагательного «ready» – готовый, собранный, бдительный; во втором – от прилагательного «ripe» – готовый, созревший, доведённый до высшей степени полноты. И что интересно – «readiness», активная готовность, предполагающая некие действия, оказывается более подходящей в положении подчинённости обстоятельствам, резиньации; тогда как пассивная «зрелость» (ripeness) нужна для активного действия. Почему я и думаю, что у Шекспира понятие «готовности» включает в себя и обретение зрелости, мудрости, и открытость обстоятельствам, в том числе и необходимые действия внутри них. И вот это редкое состояние даёт Гамлету возможность дожидаться, чтобы трагедия сама себя разрешила. Ведь по ходу событий убийство им Клавдия не является воздаянием за убийство отца. Это немедленная и совершенно обоснованная реакция на отравление матери и на собственную гибель, обеспеченные тем же Клавдием. А поле, тем временем, расчищено окончательно и коллизия исчерпана. Вот в этом особенность трагедии «Гамлет» и её отличие от классической. Трагическая коллизия изживает себя полностью. Из участников истории не остаётся в живых никого – ни умышленных преступников, ни вынужденных. Искривлённое пространство полностью очищается и расправляется. Время восстанавливается, возвращается к новой точке отсчёта. Можно надеяться, что «всё пойдёт на лад». Если Дании под царствованием Фортинбраса суждено когда-нибудь вновь попасть в сети трагического конфликта – это будет означать, что некто вновь совершил

запретное, нарушил предвечный закон. И это будет совсем новая история, никак не связанная с династией Гамлетов.

Ник так изумлён, что забывает взглянуть на гостей. Ему становится неважно, какое впечатление на них производит его класс.

- Спасибо, Чарли. Это сильно впечатляет. Я не буду спрашивать вас о катарсисе или о том, в какой именно момент вы испытали что-то похожее на него. Давайте, кто-нибудь – в двух словах опишите итог наших исследований.

Поднимается несколько рук, и он выбирает наугад.

- «Дальше – тишина». Вот здесь катарсис, в этих последних словах Гамлета. Он одерживает невероятную победу. Ценой собственной жизни. Но таковы ставки в трагедии. Мир несовершенен, каждый может оказаться в поле её тяготения помимо своей воли и желания. После завязки, лежащей за рамками пьесы – преступления, разрыва времён – открывается множество путей развития истории, столько же, сколько людей оказывается в неё вовлечёнными. Действующие лица могут с большей или меньшей силой ощущать трагическое тяготение или вообще не принимать его в расчёт, но по неумолимым законам первооснов «разорванное время» рано или поздно должно быть восстановлено. Возникает вопрос: кто какой путь изберёт, кто какой вклад внесёт в неизбежный ход событий своим слепым, неразумным или самонадеянным пониманием ситуации. И заслуга в том, что всё вновь пошло на лад, целиком принадлежит датскому принцу, который, испытывая всю силу давления трагической ситуации, не предпринимает никаких самостоятельных действий, чтобы разрешить её на человеческом уровне – и таким образом создать причины для нового трагического сцепления. Во всяком случае, настолько, насколько обстоятельства позволяют, он уклоняется от подобных действий, чем и заслужил от нас несправедливое обвинение в бездействии. Мне кажется, что в этом контексте можно даже яснее понять загадочное «непротивление злу насилием».

- Ну что ж, пожалуй это подходящая точка. Я не собирался задерживать ваше внимание на остальных трагедиях Шекспира. Надеюсь, что вы сами заинтересуетесь. Но раз Чарли вспомнил о «Лире», хочу обратить ваше внимание, что все они приходят к чистому концу – и «Король Лир», и «Ромео и Джульетта», и «Макбет». Правда, в них отсутствуют традиционные герои – они воплощают либо злое, либо страдательное, жертвенное начало. А развитие событий демонстрирует лишь произвольный, хаотический характер трагической коллизии. Но «Гамлет» оказался художественным открытием. Этот герой всегда вызывал множество вопросов, подвергался бесчисленным толкованиям и наверняка будет продолжать беспокоить наше сознание – таков смысл и назначение искусства в нашей жизни. К следующей лекции перечитайте «Чуму» Альбера Камю или освежите роман в памяти – те, кто читал.

- Ого! Вот это прыжок, - изумляется Питер Энглтон, - - Мы перескакиваем из столетия в столетие и непонятно – почему. А нельзя ли как-то наш курс упорядочить?

- Можно. Помните, мы говорили о том, какую важную роль играет в произведении сюжет? Вы предлагаете мне отказаться от моего педагогического «сюжета». Существует множество способов систематизации знаний. Это вобщем-то вспомогательное средство для робких умов. Им кажется, что без перил можно сорваться. Я предлагаю вам иной принцип связи. А систему – если такие костыли вам вообще необходимы – вам придётся выработать самим, иначе она окажется бесполезной. Вот мы завершим курс, а вы потом возьмите и переставьте все материалы по своему усмотрению – скажем, в хронологическом порядке. И посмотрите, прибавит ли это что-нибудь к вашим знаниям.

Боюсь, что такой эксперимент вас разочарует. Впрочем, любую попытку выжать максимум смысла из того, что вам жизнь предлагает, можно только приветствовать. Ну, хорошо. Надеюсь, у вас остались силы ещё минут десять побеседовать с Патришей Холман и режиссёром Эндрю МакГратом.

- Я хочу сразу сказать – я потрясена, - говорит Пат. Она явно взволнована. – Вы все замечательные ребята. И я очень благодарна Николасу за то, что он меня с вами познакомил.

- Это мы благодарны вам за то, что выбрали время прийти., - отвечает Николас. - Здесь кое-кто, насколько я знаю, видел ваш спектакль. Есть какие-нибудь идеи, предложения?

- Побольше таких спектаклей.

- Сколько вас устроило бы? – спрашивает Эндрю.

- Так их вообще нет. Нигде.

- Откуда вы знаете? Вы наверно и на этот попали случайно.

- Вот я и говорю – надо, чтобы везде, на каждом углу можно было с таким встретиться.

- По Моцарту в каждом городе? Вы думаете, что сможете выдержать? Это как жить на одном адреналине или чистом кислороде. Устанете. Сам Моцарт не писал по Реквиему каждый месяц, а взял и сочинил «Фигаро» или Маленькую ночную серенаду. А потом вернулся к квартетам. Есть же другие формы и другие потребности.

- Но вы-то могли бы почаще тут появляться?

- Вы очень требовательны. В одном исследовании о самых чёрных днях немецкой истории было замечено, что есть только три процента людей, на которых не действует пропаганда. И ещё семь, на которых она действует лишь отчасти. Вот на десяти процентах мы пока и задержались и, по-видимому, будем держаться на них ещё очень долго.. Если не начнём терять и их. А это и есть наш зритель Мы – всё ещё цивилизация второстепенного уровня. Чтобы ей не превратиться совсем в мусор, её конечно необходимо поддерживать осмысленной деятельностью и соответствующей её уровню культурой. Особые таланты, которых мы ни родить, ни произвести не в состоянии, являются редко и сами по себе. Возможно, они призваны поднимать цивилизацию на следующую ступень. Но это – в большой степени Божий промысел. Я думаю, плохо не то, что их мало, а что мы не замечаем, а иногда и уничтожаем тех, кто есть. Надо ли напоминать, что они появляются не в одном искусстве?

- Мисс Холман, и вы во всё это верите? – спрашивает Сюзан.

- Не знаю. Я об этом не думала. Это, в общем-то, не моё дело. Мне хватает того, чем я занимаюсь. Но вы не смущайтесь. Эндрю любит попугать.

-Я вовсе вас не пугаю. Вы почти взрослые люди, а страх – плохой советчик.

- Но вашим коллегам по профессии унижительно наверно сознавать себя второстепенными?

- Они так и не считают, - отвечает Патриша, - И я в основном делаю то же, что и они, и отнюдь не считаю это унижительным. Особенно, если это встречает интерес у зрителей. Иногда бывают прекрасные работы – их больше, чем вам кажется.

Николас решает, что пора перехватить инициативу.

- Подумайте, много ли в вашей собственной жизни высочайшего и первостепенного? Как часто вы им оперируете? Вы ведь не находите мир совершенным. Что же унижительного в том, что вы в нём живёте?

- Я просто хотела сказать, что они много барахла производят. Особенно на сцене.

- Что ж, может быть это результат нашей всеядности.
- Может быть, не нашей, а оставшихся девяноста процентов...
- Я бы не рискнул так решительно себя определять. По крайней мере стоит подождать, пока этого не сделает кто-то другой. Сейчас, например, мы оказались совершенно безоружными перед пропагандой мистера МакГрата.
- Ну, так любую идею придётся считать пропагандой!
- И любая идея заслуживает размышлений прежде чем будет окончательно принятой. Есть у нас ещё вопросы к гостям?
- Мне размышлений хватило, - не уступает Сюзан, - Я доверяю своим чувствам.
- Молодец, - хохочет Эндрю, - приходите к нам работать.
- А можно я задам вопрос хозяевам? – не дожидаясь ответа спрашивает Пат. –

Зачем вы вы здесь? Что надеетесь узнать?

- Знаете, мисс Холман, это почти так же трудно объяснить, как передать впечатление от вашего спектакля, - берётся ответить Чу Юн, - Конечно нас интересует литература, но наше любопытство – оно какое-то размазанное, пассивное. После лекций оно обостряется. И даже на другие вещи начинаешь смотреть иначе. Я вот не знаю... может быть я не прав, - он оглядывается на сокурсников, - но тут многие сходили в ваш театр. Сюзан, правда, нам намекнула недавно. И всё равно, если бы не семинары, кое-кто может и не пошёл бы, мне кажется... Мой основной предмет – биология. А я вот не представляю себе биолога без глубокого знания литературы. Или без театра.

- Ну тогда ладно. Тогда вы в нужном месте. Обостряйте дальше.

Николас благодарит всех и завершает урок. Снова звучат аплодисменты.

Он провожает их до гаража, и все втроем заходят в Ви де Франс поблизости, чтобы выпить капучино.

- Мне кажется, я понимаю, что вы называете цивилизацией второстепенного уровня. Но меня смущает соответствующая ей культура. По-видимому всё-таки тоже второстепенная? Как вы её себе представляете?

- Ну как? – неохотно отвечает Эндрю. – Для начала – всё, что заслужило внимания человечества. Мировое искусство. Я же о второстепенности говорю не в уничижительном смысле. Да вы сами им напомнили, что наш мир не совершенен. К художникам это не относится. Настоящее искусство всегда первостепенно.

- Что-то я давно не встречал такого, что способно выполнять преобразующую функцию.

- Вы говорите о сильном внутреннем событии, о потрясении, но это только одна из возможностей. Не все виды и формы искусства к этому призваны. Вот вы занимаетесь сейчас трагедией, а что будете делать, когда придётся о комедии говорить, о драме, да и обо всей литературе? Там ведь трагического катарсиса ждать не приходится, он какой-то другой.

- Да, растянутый во времени, щадящий.

- Такие формы есть и в театре.

- Конечно, конечно. Но вы считаете, что этих щадящих форм достаточно? С чистой трагедией мы уже давно не встречаемся. Я может быть ошибаюсь, но мне кажется, что подобные, заслуживающие внимания спектакли появляются почти так же редко, как монологи Патриши. Всё остальное, пожалуй работает против них, отучает, если не сказать – растлевает, заставляет забывать... Вот это дыхание свежего воздуха, ворвавшегося в

открытое окно жилья, где, собственно, и проходит вся жизнь. Где в ответ на свидание с откровением можно услышать «Ух! Я сегодня так замечательно поволновался»!

Пат и Эндрю быстро переглядываются.

- Чего вы хотите? Убедить нас, что мы занимаемся безнадёжным делом?

- Нет-нет! Совсем нет. Прежде всего, я так не считаю...

- А я считаю, - он впервые слышит, что голос актрисы может звучать жёстко, отчуждённо, - Примерно раз в год, а то и чаще. Наблюдаешь, как восхищаются тем, чем восхищаться грешно, что ваши студенты называли «барахлом», и похоже, испытывают те же чувства, что и на твоих спектаклях... Во всяком случае отзываются о них в тех же выражениях. Не видят разницы. И тогда наступают чёрные дни.

- Ну ладно, зря ты об этом.

Николас в полной растерянности, но не может не ощущать острую вселенскую горечь признания.

- Я прошу прощения. Я вовсе не хотел...

- Не надо. Не извиняйтесь. Я говорю правду. Как видите, пока это нас не останавливает. А вы в этом не виноваты. Знаете что, давайте бросим этот разговор.

- Вы касаетесь одной из тяжёлых проблем, - продолжает Эндрю. - А здесь есть ещё дополнительная загадка. Вы знаете, конечно, что все великие произведения обязаны своей репутацией не современникам, а будущим поколениям. Но у них есть возможность этих потомков дождаться. У нас – нет. Никто не обеспечит нам в будущем зрителей, на которых мы вправе рассчитывать сейчас. Самолюбие здесь ни при чём. У нас есть свои способы обрести утешение. Я говорю о том, что пропустив наше существование сегодня, люди лишаются его навсегда. Зачем Господу понадобилось произвести на свет такое мимолётное явление, как актёр, я понять не в состоянии.

- Может быть потому, что силой воздействия он во много раз превосходит все остальные художественные впечатления? И делать это способен так же быстро, как и исчезать. Щадящие формы – писатель, композитор, добротные спектакли лечат постепенно поколение за поколением, а вы сразу ставите больного на ноги. Вы меня ошарашили вашим образом Моцарта в каждом городе. Это сильная картинка, но и фантастическая конечно. Такое невозможно. Но я не перестаю думать о том, что какая-то форма перепроизводства в этой области была бы благотворной.

- Вы ведь не пойдёте нашим менеджером работать.

- Я бы пошёл, но у меня отсутствуют нужные способности, насколько я их себе представляю. И всё же кажется, что какой-нибудь особый вид нового меценатства можно было бы ещё возродить. А вы смогли бы делать больше, чем делаете теперь?

- Смогли бы, - отвечает Пат медленно и очень тихо. Она как будто отсутствует, мысли её утекают в неведомую даль.

- Ты же знаешь, что это означает по большей части жить на колёсах.

- Что ж, всего лишь другая форма одиночества. Дикинсон наоборот. В конце концов, мы можем подчинить это нашим собственным планам. Если речь идёт не о выколачивании сборов, всё зависит от нас самих. И потом, мы всё-таки не одни на свете. Хорошие постановки существуют. Их тоже могли бы смотреть почаще. Они, по крайней мере, способны кое о чём напоминать.

- Ник, вы что-нибудь понимаете во всём этом? Почему вдруг сейчас мы об этом заговорили? Тоже следствие политических перемен?

- Нет. Я, по крайней мере, не вижу никакой связи. Может быть, совпадение.

- Спасибо ещё раз, Николас, что разрешили прийти на семинар, - говорит Патриша.
- Такие интересные ребята! И вы думаете, что подобное происходит где-то ещё?
- Я не знаю. Такова была общая идея. Те, кто ею занялись, были полны энтузиазма, так что я надеюсь. Интересно было бы узнать, как это отражается на кафедрах философии, истории. Но мне хотелось бы познакомить вас с моими друзьями. Я уже говорил о них – это пара, которая вас видела, и от них я узнал о вашем существовании. Один из них, кстати, пытаясь передать впечатление от вашего спектакля, сказал, что всё остальное становится «второстепенным». Как насчёт того, чтобы пообедать в пятером в каком-нибудь второстепенном месте?

16. Такая женщина.

Маркус его опережает, у него свои планы.

Он вездесущ этот Маркус. Энтузиазм его начинает беспокоить. Как если бы обстоятельства втягивали в какую-то деятельность помимо твоей воли и в ритме, который не совпадает с внутренним желанием.

Новое увлечение связано с возрождением к жизни злополучного глухого местечка, которому он обеспечивает новый автомобильный завод, убедив богатого приятеля присоединиться к нему в предоставлении необходимых средств. Теперь он уговаривает Николаса туда поехать, сочиняя комический, таинственный, но в общем-то вздорный повод знакомства с неким райским уголком.

Ник уже готов вежливо отказаться. И не успевает этого сделать только потому, что звучит имя Джулии Рид, согласившейся поддержать своего протеже – молодого архитектора, которого у её фирмы выпросил Маркус – она, оказывается, известный проектировщик. Если он сможет быть хоть чем-то полезен ей, это другое дело.

Перед поездкой он интересуется местными учебными заведениями и выясняет, что их два – колледж Хайрама и Янгстаунский штатный университет, оба в полчаса езды от городка.

Он не думал, что когда-нибудь придётся вновь испытать затяжное время и покой долгого автомобильного путешествия на север, в дни их многочисленных поездок в Чикаго, Вермонт или Канаду, когда по выезде за границы столичного района встают на горизонте горы Западной Вирджинии и Пенсильвании, и потом едешь по длинным поворотам шоссе в самих горах, выезжая наконец на равнины Огайо или Индианы. А на обратном пути, покидая горы, ждёшь, когда появится далеко впереди последний – как ты надеешься – перевал, а за ним оказывается ещё один, пока не расстанешься с ними наконец у границы с Мэрилендом.

В одной из таких многочасовых поездок он научился управлять временем. Вместо того, чтобы с нетерпением поглядывать на указатели расстояния, он заставил себя находить удовлетворение в покрытии каждых двухсот метров, каждого следующего участка дороги, доступного зрению. И вдруг перестал замечать монотонность езды, а время неожиданно стало стремительно убывать. Вернувшись в тот раз домой, они заметили, что поездка оказалась чуть ли не на час короче. Чудо было необъяснимым.

Сегодня все трое по большей части молчат. Это не трудно, тем более, что нет, кажется, предмета, который не отослал бы к недавнему событию. Маркусу всё же удаётся вполне безболезненно описать финансовые перспективы Лордсвиля – штатные и федеральные субсидии и возможность порастрясти ДжиПи – они в долгу перед городом.

О своём договоре с Брайаном он в рассказе не упоминает. Ник делится тем, что ему удалось узнать о местных учебных заведениях. Слова Джулии застают всех врасплох.

- Я слышала, что вы тоже недавно потеряли жену.

Ник делает около восьмидесяти миль в час, въезжая на длинную кривую, огибающую горную грядку.

- Да.

- Это ведь ничего не меняет.

- Это ничего не меняет.

Вряд ли до Маркуса доходит бездонный смысл этого короткого обмена. Но волна обжигающей искренности, обезоруживающей простоты выбрасывает их всех из зыбкого пространства двусмысленности.

- У Мэла остались наверно какие-то бумаги, - говорит Маркус, осмелев.

- Бумаги?

- Записи, диски...

- Нет.

- Там могли бы быть очень важные вещи.

- Для кого?

- Джул, не притворяйся старой ведьмой. Для всех.

- Я не думаю. Он о них не упоминал, значит не видел ничего ценного.

- Ты же не собираешься всё уничтожить?

- Уже сделала.

- Это не так просто. Если уж ты решила, надо чтобы совсем ничего не застряло.

- Я знаю, как это делается. Мэл меня научил.

Ник прислушивается, отказываясь принимать чью-либо сторону. Они едут уже два часа и находятся примерно на полпути к цели. Он заворачивает в придорожный центр, чтобы размяться и, может быть, выпить кофе. Дальше машину поведёт Маркус, а Нику не хватит ни остатка дороги, ни даже целого дня, со всеми новыми впечатлениями, чтобы освоиться с загадкой этой незнакомой женщины, сумевшей сделать то, что не представлялось возможным, что, встретив у кого-то в описании стихов Китса, он счёл поэтической метафорой – дотронуться до самой боли. Так что та, сохраняя за собой испепеляющую силу, уступает верховную власть.

Восторженные описания Маркуса оказываются фантазией. Ничего примечательного в этом посёлке не происходит, и жители его мало отличаются от тех, кто их окружает дома. Правда те, с кем Марк их знакомит – Пол Браун, мэр городка и Мигуель Виейра демонстрируют признаки сдержанного энтузиазма. Но это воодушевлённость планами, будущим, в которое ещё предстоит поверить безработным Лордсвилля.

За ужином в местном ресторане Марк продолжает обсуждать с мэром Вулфом способы заставить Дженорал Пауэрс расплатиться с городом за нанесённый урон. А у владелицы возникает подозрение, что она вскоре лишится своего нового и такого способного официанта, который со своими эскизами полностью завладел вниманием приезжей, явно влиятельной дамы.

Остальные немногочисленные посетители поглядывают на незнакомую компанию с любопытством. Мэр заручился их согласием подвести черту в отношениях с ненадёжным соседом и вручить судьбу новому владельцу завода. Но пока всё ещё висит в воздухе, и, похоже, не у кого спросить: что же дальше?

- Рик, не хочешь к нам присоединиться? – спрашивает Адам Вулф учителя, ужинающего в одиночестве.

Он представляет Ричарду Шульцу гостей.

- Ваше имя мне знакомо, - говорит тот Николасу, - Вы же возглавляли комиссию по новым учебным программам, так?

- Нет, совсем не так, - отвечает Ник. Он пытался в своё время изъять своё имя из всех официальных документов, но, как видно, это не удалось. – Меня просили только созвать настоящую профессию, а уж они готовили программы.

- Садись, Рик.

Учителю предстоит успокоить сограждан, сообщив им некоторые подробности развивающихся событий. У «Уилхорза» появились деньги, и на днях начнётся переоборудование заводских помещений. Тогда же следует ожидать объявления о найме на работу. Через месяц две местные строительные компании приступят к преобразованию ландшафта под руководством сальвадорца, которого они до сих пор знали, как своего официанта Мигеле. Ждут переоборудования и заказов заводы по производству деталей к новым машинам. Предстоит строительство второй электростанции, где тоже потребуются рабочие. Всё это – только для начала, но оно заслуживает тоста.

Бог ли услышал их молитвы или вот этот русский с древнеримским именем, который говорит без акцента и занимается бизнесом, название которого не каждый может произнести – остаётся пока под вопросом. Но у Шульца есть более важные вопросы. Он хотел бы знать, есть ли университетскому профессору дело до его подопечных – будущих студентов. И не думает ли он, что пришла пора вернуть в школу общеобязательную программу знаний, от которой страна отказалась уже несколько десятилетий назад.

- Вам же приходится расхлёбывать эту кашу с безграмотными абитуриентами. А мы и рады бы вам помочь, да связаны по рукам и ногам.

- Я догадываюсь, о чём вы говорите. Но я тоже всего лишь преподаватель, - отвечает Ник, вновь, как и с Маркусом, испытывая неудобство из-за настойчивого влияния посторонней силы, которая втягивает в несвойственную ему активность.

- Разве я за помощью к вам обращаюсь? Я хотел узнать, думали ли вы об этом. Вас попросили, вы говорите, собрать педагогов, чтобы они сообразили, как лучше организовать высшую школу. Но вы же согласились. Значит, понимали, о чём идёт речь, и вам было не всё равно.

- Это правда.

- Неужели они не задумались, что одного без другого не существует? Среднюю школу вообще, значит, не обсуждали?

- Я, откровенно говоря, не знаю. Я не был на всех встречах. Кажется, был разговор о пересмотре вступительных экзаменов, об отмене всех этих стандартизированных норм.

- Это очень хорошо. Но беда не только в них. Вы понимаете, что произошло – изменилась сама концепция школы. Кому-то пришло в голову вспомнить о социальном прагматизме, о Джоне Дьюи, – не к ночи будь помянуто его честное имя. И школу поставили с ног на голову, оставив основой педагогики всего два принципа: воспитание общественной добродетели и раскрытие природного потенциала. То есть, мы поощряем детей заниматься тем, «что их интересует». Как вы думаете, многим детишкам очевиден их «природный потенциал»? Хорошо, если одному из ста. И уж во всяком случае, всё, что требует труда, усидчивости – естественные науки, например, история, иностранные языки, математика – разумеется их очень мало интересует. А обожают они так называемые «творческие классы», но это тоже – не искусство, а любительщина, где каждый их чих

расхваливают на все лады. И совпало это с телевидением, так что они начали и от книжек отвыкать. Почему я и говорю, что мы свои обязанности переложили на вас. Я утрирую, конечно. В конце концов, я всё ещё преподаю математику и физику, но общий принцип именно таков.

Остальные за столом увлечены собственной беседой, разделившись на две группы – Маркус, Пол и мэр Вульф расчётами, Джулия Рид и Мигуель Виейра углубились в эскизы.

- Вы знаете, Рик, я ведь слышал уже однажды, что у нас двойная работа. И не от кого-нибудь, а от сенатора одного. Да и вы наверно не единственный, кто об этом размышляет. Я таких подробностей не знал. Вам бы министром образования стать.

- Нет, я не политик. И надеюсь, я здесь на своём месте.

- Политиков там становится всё меньше. Много ваших выпускников будут поступать в колледжи?

- Большинство, наверно. Надеюсь, поступят. Теперь хоть денег стали с них меньше брать.

- Слушайте, вы не хотите изложить свои соображения? Наверно кто-нибудь заинтересуется – мэр ваш или конгрессмен. Человек вы здесь уважаемый. И время, может быть, самое подходящее.

- В соавторы пойдёте?

- Я мало что об этом знаю.

- Ну, ну, не прибедняйтесь. Один раз вас, кажется, затащили в государственные дела. Сказали «а» – теперь поздно отмалчиваться.

- Вон вы как. Всё-таки о помощи речь. Но теперь похоже на шантаж.

- А как же. Мы тут в глубинке такие, от нас не отделаешься.

- Ладно, начинайте, давайте поглядим, что получится.

- Вот теперь можно и выпить.

На следующий день утром Николас отправляется в Хайрам.

Сверходарённый и отчаянный сорванец – таково значение древнего финикийского имени, которым назван посёлок, а затем и колледж, которому уже сто пятьдесят лет. Он частный, так что влияние новых рекомендаций распространяется на него меньше, чем на штатные вузы. Кроме того, это заведение занимается только гуманитарными дисциплинами, так что они, надо полагать, знают, что делают.

Вспомнив об этом и передумав, Ник разворачивается и едет в противоположную сторону в Янгстаунский университет. Но уже через десять минут и эта идея начинает казаться лишней.

Кем он, собственно, себя видит? Посланцем влиятельных сил, озабоченным системой высшего образования в целой стране? Не дай Бог, его ещё и узнают, как узнал школьный учитель. Выяснить, изменилось ли что-то в университете, он сможет и дома. Да и не так уж его это интересует. Надо перестать суетиться, это – проклятое влияние Маркуса, с его повышенной деловитостью и внезапными опасениями.

Отложив все планы и сомнения, Ник решает провести время, просто покатавшись по округе. Через час, выехав к озеру, он находит на берегу Мигуэля и Джулию, которой сальвадорец показывает места будущих проектов, и продолжает прогулку вместе с ними. Наблюдая за тем, как она опекает молодого архитектора, потрясённого вниманием старшего коллеги с известным именем, Ник видит себя самого, своё уравновешенное

поведение во внешнем мире, видит себя таким, каким, вероятно, его видят студенты, Марк с Еленой и даже дочь.

Маркус и Пол Браун пропадают на заводе.

Они возвращаются в «Нис», где у Мигеле начинается смена, и остаются ждать Марка, чтобы отправиться в обратный путь.

- Мой муж оставил записки. Я не знаю, что с ними делать – они не имеют отношения к его работе. И ничего личного, это не дневник. Вы не согласились бы взглянуть? Не думаю, что он хотел увидеть их опубликованными. А, с другой стороны, и не ему теперь решать... Но сначала я хотела бы всё-таки понять, есть ли там нечто, заслуживающее внимания. Сама я разобраться не могу. Думаю ещё, что могу быть излишне... впечатлительной.

- Это большая честь для меня. Но почему вы решили, что я сумею разобраться?

- Да так уж, интуиция. Я ничего не решала. У меня просто никого нет на примете. И я не надеюсь, что кто-то появится. А вы, мне показалось – вполне закрытый наблюдатель. Каково бы ни было ваше впечатление, дальше вас оно не уйдёт.

- Что же будет, если и я ничего не пойму?

- Это не важно. Что там есть – то есть. Мне самой хватит и этого. Может лучше, чтобы там и не было ничего другого. Но не хотелось бы ошибиться.

- Я прочту всё, что вы решите показать.

- Спасибо.

Слышимая часть разговора на этом обрывается, и они молча, не глядя друг на друга, продолжают ждать следующей перемены в течении событий, как и надлежит «закрытым наблюдателям», в которых их превратила утрата, отделив обоих от всех остальных.

17. Невозможное задание.

Фараон мог долго не отпускать евреев, потому что решение зависело только от него.

У внешнего мира не было таких полномочий, и разрешения у него не спрашивали. Но и ему не хотелось расставаться с богатым и надёжным соседом. Разными голосами и с неравномерной настоятельностью мир стал выражать несогласие с планами страны, заявившей о своём праве на уединение, и не оставлял попыток удержать связь, которая оказалась более сложной, чем это представлялось вначале.

Усилия образумить зарвавшихся предпринимателей и усмирить опустошительную экономическую лихорадку, после первого бурного сопротивления начинали приносить плоды, когда обнаружилось, что идеи эти не так уж чужды и многим другим странам. Но в расчищающемся поле проступали новые силуэты. С самого начала было ясно, что нельзя разрывать отношения между врачами и фармакологами. За ними в затылок шествовали биология и генетика. Оставался пока нерешённым вопрос о похожей взаимосвязи высокой технологии. Но ещё более нелепым выглядело разъединение верующих. У гражданской власти, давно отделившей себя от власти религиозной, тем меньше было оснований вмешиваться в отношения местных католиков с Ватиканом. Особенно это касалось южного соседа, где такая форма веры преобладала, и в большой степени могла определить его готовность вступить в союз.

Если первые два силуэта как-то ещё промелькнули в воображении Николаса во время их ночной беседы, о последнем он и не задумывался. Пока его не заставили.

Относительно недавно он был ошарашен неожиданным призывом вмешаться в систему образования. Новое предложение просто не умещалось в голове. Теперь ему предстояло вместе с Марком сопровождать в Рим делегацию кардиналов.

Были причины категорически отказаться без всяких раздумий. Он никак не был связан даже с казалась бы более соответствующей его происхождению, православной церковью, а его знания о церкви католической оставались элементарными. Других оснований для такого представительства он вообразить не мог. Судя по всему, они были неизвестны и Маркусу, который сообщил новость. Его участие ещё можно было как-то объяснить тесными международными связями в профессии и, видимо, действительно существующими проблемами искусственного разума, которые его волнуют.

Протест вызывало и сложившееся, вероятно, в чьих-то головах представление о готовности Николаса к исполнению государственных заданий, с которым следовало покончить раз и навсегда. Существовало и ещё одно препятствие. Непереносимой казалась любая мысль о простом присутствии в стране воспоминаний – и самых ранних, тревожных, в самом начале их путешествия на Запад, и более поздних – счастливых и многократных. Просто невозможно было представить себя там в одиночестве. Это покрывало все остальные, в том числе и неизвестные причины его участия в миссии.

Ник не мог уклониться от приглашения встретиться с Президентом, но принял его со спокойной решимостью поручения избежать.

* * *

Дэвид Бёрнс принял его без посторонних.

- Меня заинтересовала ваша работа в Комиссии по образованию. Результаты её выглядят обнадёживающе и сильно впечатляют. Но важнее всего – те скромные сведения, которые дошли до меня, о ваших убеждениях, о вере в необходимость широкого гуманитарного воспитания. Мы с вами не знаем друг друга, и моё предложение может показаться неуместным. Дело в том, что оно не имеет отношения к моей должности или каким-либо государственным инициативам. Это личная просьба, и я хочу воспользоваться нашей встречей, чтобы убедить вас в её огромном значении для меня. Может быть, и для вас.

- Могу ли я спросить – откуда взялись ваши лестные впечатления о моих взглядах?

- Кое-что мне рассказала Алис Уотерс – мы дружны с ней. Большим вашим поклонником является мистер Брик, и не забывает напомнить о вас каждый раз, когда нам случается пересечься по поводу их особых дел. А в основном – это впечатления о знакомстве с вашими тезисами в Комиссии. Административных идей в них, может быть, и не найдёшь, но убедительной силы от этого только прибавилось. Я думаю, вы заметили сами, что у вас была очень благодарная аудитория.

- Ну что ж, спасибо на добром слове. Изумляюсь вашему желанию успевать за такими подробностями, и горжусь вашим вниманием. Хотя подозреваю, что впечатления ваши преувеличены.

- Очень многое зависит сейчас от того, какие подробности становятся важными, а чему мы придаём значение, которого оно не заслуживает. Я убеждаюсь в этом почти каждый день.

- Я слушаю вас, господин президент.

- Прежде всего, вы должны знать, что это – не моя инициатива. Я решил воспользоваться ею, поскольку исходит она от хорошего человека и отвечает моим

задачам. Из нашей первой и единственной встречи британский монарх вынес одну тему, которая, кажется, заинтересовала его больше, чем всё остальное. Речь шла о внутреннем недуге, который, как я ему сказал, нам придётся одолеть самим. Он же, по доброте своей, принял эти слова близко к сердцу и, в соответствии с христианским долгом, взял на себя труд обратиться за советом к Святейшему Престолу. А затем предложил и мне воспользоваться мудростью Папы Франциска. Я не хочу сказать, что жду какого-то откровения или реальной помощи, но вопрос настолько серьёзен для всех нас, что любая честная мысль может что-то подвинуть или привести к новой мысли. Сам по себе вопрос о взаимоотношениях наших католиков с Ватиканом остаётся пока нерешённым, а их, как-никак, в стране семьдесят миллионов, то есть – пятая часть населения... Уж не говоря о Мексике, где их ещё больше..Вмешиваться в его решение нам не следует, и, естественно, возникла идея дать им возможность договориться самим. Вот тут я и подумал, что можно воспользоваться этой миссией, чтобы поискать более важных ответов. А теперь скажите, занимает ли в ваших размышлениях какое-то место проблема расизма?

- Вот это вопрос! Ну, конечно приходится думать и об этом время от времени. Но не могу представить, что хоть в каком-то смысле я мог бы оказаться достойным собеседником на эту тему.

- Тогда я попробую вас заинтересовать. Историей я вас мучать не стану, это вы сами можете изучить, если захотите. Но вот вам несколько анекдотов из нашего времени. Мы очень сильное впечатление произвели на Гитлера. Он называл США единственной страной, демонстрирующей, пусть ещё слабые, но верные шаги в направлении наилучшей концепции разумного общественного порядка, имея в виду принудительную сегрегацию, которая в той или иной форме существовала в то время в большинстве штатов. Размах изуверства был таков, что высший слой общества, особенно его Бостонская часть, исповедовала теории евгеники, согласно которым воспитание – образование, общественные связи, структура семьи – мало что значили, поскольку всё решает природа. Даже нравственность и личный характер, по их мнению, биологически определялись расой. Обратите внимание – мы говорим о том, что происходило менее ста лет назад. В 1927 году Верховный Суд поддержал право правительства применять стерилизацию к умственно неполноценным людям. В музеях, университетских аудиториях и благотворительных организациях существовало прочное общее мнение, что люди делятся на категории «цивилизованных» и «достойных» или «примитивных» и «отклоняющихся от нормы». Незадолго до Иммиграционного Акта 1924 года три четверти иммигрантов приезжали из Восточной и Южной Европы. После – всего десятая часть. Те, кого сюда не пустили, отправились вместо этого в Аушвиц. А вот вам подходящая история для итальянской беседы – если вы согласитесь её вести, конечно: черный мужчина, женившийся на итальянке был осуждён в Алабаме за нарушение штатного закона о смешанных браках. Но обрёл неожиданную свободу, когда обвинение было снято решением апелляционного суда, в котором говорилось: «Тот факт, что, как утверждает свидетель, эта женщина прибыла из Сицилии, ни в какой мере не может служить утвердительным доказательством, что она принадлежит к белой расе». И, наконец – о сегодняшнем дне. Существует канонический текст Мэдисона Гранта по иммиграционно-евгеническому комплексу. Он называется «Пути великой расы», доступен сегодня в восьми изданиях и часто цитируется в интернете сторонниками «белого превосходства». Эту книгу, кстати, часто упоминали адвокаты нацистов на Нюрнбергском «Процессе врачей». Теперь вот что. Есть надежда, что новые поколения уже не в такой степени заражены расовым мракобесием. Меня даже не столько занимают эти фашиствующие

мальчики – как-то представляется, что это, по большей части, баловство. В их энтузиазме больше инфантилизма, чем настоящей убеждённости. Хотя, я, может быть, заблуждаюсь и в этом отношении. Но упрямый дух отторжения чужих, посторонних прячется всё ещё очень глубоко. Возможно, если подождать, он выветрится когда-нибудь сам по себе. Но абсолютной уверенности нет, какой тут нужен срок – тоже неизвестно. И мы до сих пор ничего не знаем о природе этой тёмной силы. В такой ситуации любой заинтересованный собеседник дорог. Мне кажется, что Франциск может оказаться как раз таким собеседником, и вы сможете говорить на одном языке. На религиозном поговорят священники. От них я ничего не жду. Но мне думается, что Папа открыт и ко многим другим вещам в мире. Не исключено, что вам не удастся услышать друг друга. И всё же я прошу вас рискнуть.

- Я понимаю общее направление ваших мыслей, но от меня всё-таки ускользает непосредственный предмет беседы. О чём вам хотелось бы его спросить?

- Ну, например, сама идея уединения... Я уверен, что он легко согласится с отказом от страсти к обогащению и возвратом к межличностным отношениям. Судя по его высказываниям, он уже на нашей стороне. Но мы собираемся зайти довольно далеко. И может показаться, что в качестве тактического средства изоляция – шаг чрезмерный и излишний.

- Даже так?

- Да, да, конечно так. Нет тут ничего окончательного. Не стоит так уж буквально говорить об этом Его Святейшеству, но узнать, что он думает по этому поводу, было бы важно. Чем поможет уединение? Может быть, ему известно об иных влияниях, которыми можно было бы воспользоваться.

- Я родился не в этой стране. Какое право у меня есть выступать от имени Америки?

- Да именно вам! Постороннему. Без врождённых переживаний. Даже я не смог бы, потому что, каким бы ни был я врагом расизма, мне не избавиться от образа белого американца. Я ещё думаю, что у вас могут быть некоторые личные преимущества для беседы о жизни с главой Римской церкви.

- Знаете, вообще-то такого рода преимущества скорее удерживают от того, чтобы ступить на ту благословенную землю.

- Это я могу понять. Поверьте, никаких обязательств у вас нет. Тем более, что, как я уже сказал, это всего лишь моя просьба. Никто о ней не знает.

- Кроме мистера Маркуса Брика.

- Он очень высокого мнения о вас. Но вы ведь друзья. Я думаю, что на него вы можете положиться.

- Большой знаток медвежьих услуг. Есть ли что-то ещё, что мне следует знать?

- Да. Это уже из области политики и прямого отношения к моей просьбе не имеет, но я не хочу, чтобы это оставалось от вас скрытым. Если вы пойдёте мне навстречу, вам наверняка захочется заранее разузнать какие-то подробности о будущем собеседнике. Со своей стороны хочу сообщить вам следующее. Как я уже сказал, он, в сущности, наш союзник. Его настойчивые предупреждения об опасности нерегулируемого рынка, о стремительно увеличивающемся неравенстве и о том, какую угрозу всё это представляет для окружающей среды и благополучия большинства людей, дают основания полагать, что наши инициативы должны быть ему понятны. При этом сама его епархия не вполне разделяет такие взгляды. Не знаю уж, как это вышло, но часть католического священства, особенно здешнего оказалась под сильным влиянием нео-либеральных идей и не считает,

что церкви следует так уж настаивать на защите обездоленных. До такой степени, что они обвиняют его в приверженности идеям социализма и даже марксизма. Может быть, тут работает всё та же финансовая зависимость – церковь неспособна сама себя обеспечивать. Мне неизвестно, как велика власть Папского престола над собственной администрацией и паствой. И я не рассматриваю наших архиепископов, как проводников новой политики, хотя втайне надеюсь, что ему удастся и их переубедить. Но в целом – это внутрицерковное предприятие. Оно наверняка привлечёт к себе достаточно внимания, чтобы избавить от этого внимания вас, чья миссия гораздо более важна. Вот такая возможность прикрытия и навела меня на мысль послать к Папе малозаметного вестника – союзника, склонного продолжать и развивать диалог, в котором обе стороны кровно заинтересованы. Так что, если вас беспокоит возможная шумиха вокруг этого визита, вас персонально она не коснётся. Всё внимание будет обращено на красные шапочки. Я убеждён, что и сам Франциск именно так отнесётся к вашему присутствию. Я полагаюсь в этом на Его Величество – он, кажется, сумел объяснить Папе мои намерения. Пожалуй, это всё.

- Я должен подумать. То есть, если у меня остаётся ещё возможность отказаться.

- Подумайте, мистер Гатов. И не держите обиды на меня за некоторую настойчивость. У вас есть достаточно оснований, чтобы уклониться. Это не испортит наших отношений.

- Благодарю вас, господин Президент. Ещё один вопрос, если можно. А что Маркус собирается обсуждать?

- О, это гораздо проще. Тут нам просто нужно посредничество Ватикана. Это, в сущности, часть нашего спора с корпоративной экономикой. Вопрос избирательного технологического прогресса. Мы хотели бы всё внимание сосредоточить на исследованиях изучающих риск, и сократить те, которые его увеличивают. Они очень далеко зашли и мало учитывают, что кто-то может использовать их находки в разрушительных целях. Вероятно пришла пора тратить значительные средства на тщательное изучение потенциальных возможностей – насколько их польза превышает вред. Такие траты сократят кратковременные доходы корпораций, и их вкладчики должны предоставить им такую возможность. Короче говоря, надо перейти к разумному избирательному развитию технологии, которое замедлит прогресс, но избавит от будущих катастроф. Мнение Ватикана тоже может сыграть какую-то роль. Пока преобладает желание продолжать конкурентную гонку за быстрые доходы, не заботясь об опасности, в надежде справиться с ней по мере её возникновения. Но вот видите ли, я кажется оговорился, и это тоже не такой уж простой вопрос. Сам по себе требующий определённого нравственного уровня его решающих. Таким образом, мы вновь приходим к этике, которая в свою очередь – продукт высокой культуры. И никуда вам от нас не спрятаться. Нет, нет, я не имею в виду, что вам придётся участвовать и в этих дискуссиях. Ваша миссия ограничилась бы только тем, о чём мы говорили.

- Хорошо. Сколько у меня есть времени?

- Сколько вам нужно?

- Не знаю, но я постараюсь не задержать вас.

- Спасибо, что терпеливо выслушали мои запутанные соображения, которые не вполне ясны и мне самому. Надеюсь, разберёмся общими силами.

18. Звери, святые и прочие отдельные особи

Ненасытный хищник держит в напряжении всю округу. Нет тут ему равных в отваге и отсутствии жалости. Ему всё равно, кто попадётся на дороге – беспомощная животное или её хозяин. Живёт в Габбио и незаметный монах Франциск. Он жалеет соседей, удручён нарушенным в природе миром и равновесием, но не испытывает вражды и к волку, который, знает он это или нет – тоже создание Божье.

И однажды, положившись на свою веру, монах отправляется в поисках зверя.к поросшим лесом холмам, окружающим деревушку. Выходит наконец из за стволов, приоткрыв пасть, и серый злодей. Плавным жестом руки описывая в его сторону некую загадочную фигуру, Франциск обращается к волку так, как тот никогда не слышал, чтобы к нему обращались – если и удавалось кому-то с ним повстречаться, это были крики страха, ненависти или угрозы.

- Поди сюда, тварь Божия. Сядь и выслушай меня.

Ужаленный любопытством, уверенный в собственной безопасности в противостоянии этому маломощному человеку, серый зверь подходит и ложится неподалёку, убрав клыки и изумляясь своему умолкшему желудку.

- Братец мой, - продолжает монах, - что же ты такую разруху творишь? Это несправедливо и нехорошо. Ты обижаешь тех, кто живёт на этом свете рядом с тобой, и они по праву жалуются на твои злодеяния, а то и проклинают тебя самого, нанося урон своей душе. Надо бы вам помириться, и я знаю, как мы это сделаем. Пойдём-ка мы с тобой в деревню. Я не дам тебя в обиду и обращусь к жителям от твоего имени, как сейчас обращаюсь к тебе во имя их благополучия. Надеюсь, мы восстановим мир между вами. Но даже если у нас не выйдет, стоит попробовать – мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы устранить зло, а выше этого нет для нас с тобой ничего на всём Божьем свете. Пошли, брат.

Не уразумев ни слова в этой журчащей речи, зверь улавливает, однако, доброе расположение к себе и призыв куда-то сопровождать говорящего. Не спуская глаз с этого странного существа и по-прежнему пряча клыки, волк поднимается и пристраивается с ним рядом, укладывая перебор своих сильных лап в мерную поступь Франциска.

Молча стекается толпа изумлённых односельчан к площади, где их ждёт человек с волком у его ног, не решившимся сесть, поскольку в толпе снуют местные псы, которые в отличие от хозяев не стесняются выразить свою злобу. Приближаться к врагу они всё же остерегаются.

- Угмоните своих собак, - чуть повысив голос просит монах, - а то мы не услышим друг друга.

Лай постепенно стихает.

- Мы пришли к вам с миром, - продолжает Франциск, - Я думаю пора положить конец вражде, в которой каждая сторона защищала свои права, но делала это слишком поспешно и неразумно. Да, да, у вашего противника тоже есть свои резоны – ему, как и вам хочется жить, и посему он вынужден добывать себе корм. Но брат наш волк не стал бы разорять ваше хозяйство и нападать на вас, если бы вы согласились делиться с ним частью вашего добра. Он не виноват в том, что Господь сотворил его не пастухом и не сеятелем, а диким зверем, вынужденным каждый божий день добывать себе пропитание единственным доступным ему образом. И Создатель не посетует на нас, если мы немного облегчим серому его нелёгкую долю. У многих ли сейчас готовится пища от ваших стад?

Совсем немного нужно каждому из вас уделить в общую кормушку, чтобы избавить нашего брата волка от голода, а всех нас от раздора и гнева. Да будет мир между вами.

В задумчивости разбредаются люди, прикидывая, что, может быть, и вправду лучше кормить дикого волка, чем бросать излишки своей еды на ветер. Только собаки всё ещё ходят кругами около монаха и его спутника, хотя и помалкивают.

- Ну, а с вами мне и вовсе не о чем говорить, - обращается к стае Франциск. – Вы-то уж сами знаете, что негоже вам обижать зверя, столь на вас похожего, который и в мыслях не держит причинить вам вред. Хорошо, что вы так усердно служите своим хозяевам, но они одумались. Пора и вам взяться за ум. Я не зову вас дружить с волками – им судьба жить в лесу, они на судьбу не жалуются и дружбы вашей не ищут. Но это не причина для вражды. И отныне не дай вам Бог первыми её проявить.

Теперь, уже не помня прежней злобы, трусят по домам и разномастные псы.

- Ступай восвояси, брат. И готовься с благодарностью принимать долю от людского стола. Я ещё поживу здесь некоторое время, чтобы ты обрёл уверенность в нашей доброй воле.

По-прежнему ни слова не поняв, волк чувствует, что в жизни его что-то круто изменилось. Особенно отчётливо это выражается в необъяснимом миролюбии местных собак. Он может быть и хотел бы ещё побыть рядом с этим говорливым человеком, но как-то уж непривычно долго он остаётся в чуждой компании и всё требовательнее слышится ему зов холмов и родной чащи.

Имя этого монаха первым в неисчислимой череде наследников Святого престола выбрал новый Папа Римский.

Бёрнс в большой степени развеял беспокойство о государственной службе.

Проблематичной оставалась сама природа гипотетической беседы. И в голову никогда не приходило откровенничать со священниками. Ещё меньше, чем с психоаналитиками. Правда личность Папы стояла особняком. С предыдущим он может быть и не стремился бы встретиться, но нынешний вызывал любопытство.

Вот только направление путешествия... Название авиалинии, возникающие образы знакомых долгих прогулок, зовущие и одновременно отстраняющие виды улиц, дворцов, фонтанов, площадей и тракторий... Подгоняемый нежеланием задерживаться с ответом Николас решил поискать ещё некоторые подробности о Его Святейшестве и в почте нашёл послание Джулии Рид с обещанным текстом.

Его охватила некоторая оторопь, испуг перед знакомством с этим документом. Ник распечатал его, стараясь не заглядывать в текст, и всё же успел прочесть случайную строчку:

«...Мы наблюдательны и успели набрать множество оснований счесть проект Мироздания неудачным и обречённым....».

Не может быть, чтобы здесь находилось объяснение его жуткого поступка. Джулия не стала бы делиться такой откровенностью. Разве что это тоже был порыв отчаяния. Около получаса занимает у него потребность успокоиться и, устраняя по мелочам отсутствующий беспорядок в комнате, смириться с тем, что отстать поздно.

Записи Мелвина Рида

1.

С тех самых пор, как гомо стал сапиенс, его с таким же основанием можно называть гомо инфеликс (*Homo infelix* – несчастный), гомо кверибатур (*Homo querebatur* – недовольный) или гомо индинье (*Homo indigne* – сердитый).

Один всю жизнь доказывает, что у него есть для этого основания; другой избавляется от недовольства, создавая инструменты, устраняющие его причину; третий берётся за переустройство всего мира, веря, что иначе этих причин никогда не устранить.

Он всё ещё «гомо», но к «сапиенс» он приближается, только когда становится гомо виджилябо (*Homo vigilabo*) – Человеком Наблюдающим.

Услышав от Канта, что мир, который нас окружает не таков, каким мы его себе представляем, мы сначала отмахнулись, не придав этой мысли большого значения, и отнесли её за счёт абстрактных философских спекуляций, полезных лишь узкому кругу специалистов – условным приёмом мышления.

Интерес к восточным религиям и открытиям Эйнштейна, Планка и Гейзенберга разбудили популярный вариант этого представления. Он неожиданно оказался самым удобным способом объяснить многие явления в жизни, которые на самом деле в подобном объяснении не нуждались, но требовали от человека значительных мысленных и эмоциональных усилий. Вдруг ужасная, непознаваемая кантовская «вещь в себе» стала уютным предметом домашней обстановки. А вещественный мир вокруг утратил какое бы то ни было значение, как мираж, бесплотная череда преходящих форм.

Но видимый мир, «вещь для нас», способ, которым мы его воспринимаем – это не произвольная случайность, а фундаментальный этап эволюции. Именно то, как мы видим мир, то, каким он нам представляется, имеет решающее значение в развитии мироздания. Та безусловная истина, что это представление не вполне отвечает истинному положению вещей должно было свидетельствовать лишь о том, что человек ещё не завершил путь эволюции и на следующем её этапе должен усовершенствовать свой способ восприятия мира, довести его до возможной полноты.

Одной из попыток повлиять на этот процесс было открытие, которое в своё время не произвело должного впечатления. Оно находилось на границе науки и философии и получило название Принципа Дополнительности. Наукой оно было более или менее принято, но его глубокий смысл до сих пор полностью не освоен. Автор его, возможно, и сам не отдавал себе отчёта в важности своего прозрения. А если отдавал, то не сумел или не успел его как следует обосновать.

Овладеть этим новым состоянием сознания нелегко, потому что оно противоречит долгим трудом добытому привычному способу ориентации. И прежде всего – правилу исключённого третьего: «из двух противоположных высказываний одно истинно, другое ложно, а третьего быть не может».

Но вот, новый вопрос «волна или частица?» в применении к атомному объекту уже неправильно поставлен. Таких отдельных свойств у элементарной частицы нет, а два дополнительных свойства атомной реальности нельзя разделить, не разрушив при этом полноту и единство явления природы, которое мы называем атомом...

Атомный объект – это не частица и не волна, и даже ни то и другое одновременно. Атомный объект – нечто третье. Это атомное «нечто» недоступно восприятию ваших пяти чувств и даже приборов, и тем не менее оно реально. Разум, опираясь на опыт, позволяет согласиться с такой реальностью и без прямого её восприятия. Но на этом наши

нынешние возможности кончаются. Здесь мы застряли, и без нового чувствилища нам не дано углубить своё видение Бытия.

Это новое представление напоминает нам не об иллюзорности внешнего мира, а о его прямой зависимости от нашего восприятия. То, каким мы его видим, окончательно определяет, то чем он в данный момент является. То есть, наблюдая мир, мы его творим, и до сих пор мы творим его достойным скорби, недовольства и гнева. А видоизменяя то, что сотворили, мы всего лишь множим разнообразие этих переживаний, никак не затрагивая основ мироздания.

Открыв или развив в себе новый орган, способный, например, непосредственно чувствовать двойственность, мы вероятно смогли бы наблюдать – и формировать мир более совершенным.

Но мы от эволюции уклонились. Нас устроил непознаваемый мир, в видимом – предположительно иллюзорном – воплощении своём предоставляющий бесконечные возможности удовлетворять наши потребности, переживать целый спектр противоречивых чувств и испытывать разнообразные желания, пусть столь же иллюзорные, но такие сильные! Мы оказались по горло занятыми.

К истинному бытию, не столько непознаваемому, сколько далеко не познанному, мы постепенно потеряли интерес. Всё, что оно требовало от нас до сих пор, касалось преобразований внешнего мира. И они нам в большой степени удавались, хотя некоторые из них носили разрушительный характер. Дальше следовало бы приступить к преобразованию самих себя, своей уникальной природы восприятия. Биология этому не противоречит, о чём говорят лежащие за пределами человеческих границ, однако вполне реальные способности дельфинов, летучих мышей, птиц, пчёл, змей и даже собак. Но к такой аванюре человечество оказалось не готовым и не расположенным.

Преисторические рыбы не предполагали, что могут оказаться способными жить на суше и даже не знали о её существовании. Их заставила выбраться на берег перемена природных обстоятельств, так же как позднее вынудила отрастить крылья и подняться в небо. Но они не обладали сознанием, и им приходилось дожидаться, пока их вынудят к преображению природные условия. Сама возможность преображения предполагалась всегда, и нет причин полагать, что она могла иссякнуть.

Вправе ли мы и сейчас дожидаться, чтобы нечто произошло со Вселенной, что могло бы вынудить нас измениться? Дело в том, что теперь такая задержка не безобидна.

Без необходимости постоянно удерживать в сознании единство «вещи для нас» и «вещи в себе» – что, как я думаю, и было смыслом учения Канта – наш образ зримого мира оказывается предоставленным самому себе, трансформируется совершенно произвольным путём и влечёт за собой искусственные и противоестественные изменения в структурах нашего сознания. Мы формируем в себе искажённые нормы – эстетические и этические фантомы, а затем вынуждены следовать им, создавая уже не просто неполную, а полностью вымышленную систему мироздания.

И когда кто-нибудь из нас, случайно избежавший этого недуга, застывает в изумлении: как же люди не видят совершенно очевидных вещей? – ему трудно вообразить, что они и не могут их увидеть. Внутренний компас перестал работать, и синяя стрелка показывает на Юг. Тогда мы берёмся объяснять их слепоту неискренностью или тайными целями, ещё больше запутывая ситуацию.

Поклонникам йогического владения телом, вместо того, чтобы использовать эти полезные навыки для нирваны и отстранения от мира, следовало бы попробовать помассировать свой гипоталамус.

2.

Мало зная о сущности и функции наблюдателя мы, тем не менее, наблюдательны и успели набрать множество оснований счесть проект Мироздания неудачным и обречённым. Чем изощрённее становится зрение, тем больше мы видим таких оснований. А с самых разных концов Земли нашим наблюдениям сочувственно откликаются другие голоса:

«Должен откровенно признаться, что по моем возвращении из последнего путешествия некоторые пороки, свойственные моей натуре йеху, ожили во мне благодаря совершенно неизбежному для меня общению с немногими представителями вашей породы, особенно с членами моей семьи. Иначе я бы никогда не предпринял нелепой затеи реформировать породу йеху в нашем королевстве. Но теперь я навсегда покончил с этими химерическими планами», - так рукой Свифта пишет своему родственнику капитан Гулливер.

«Грустное и глубоко терзающее позорище...», - сокрушается русский писатель.

Задолго до них на это же сетовали Иов и, кажется, даже автор Экклезиаста – если читать его по-европейски, а не справа налево, как он был записан.

Соблазн велик.

А вот ещё одно наблюдение, которым мы пренебрегаем в мудрости и печали своей.

Разрушительные силы можно найти где угодно, но не в природе, которая знает только одну цель и ей следует – расти и жить. Многие её процессы представляются конечными, однако их завершение никогда не приводит к полной гибели, а становится лишь переходом в другую форму существования. Ей совершенно чужда идея абсолютного уничтожения. Даже столь очевидная обречённость человека сопротивляется смерти, и он продолжает жить в потомках и в результатах своих трудов. Не исключено, что и каким-то иным образом.

Предполагаемый – и весьма отдалённый – конец нашей планетной системы отнюдь не означает истребление человечества. И даже конец Вселенной, о котором мы до сих пор не составили себе ясного представления, остаётся одной из гипотез, и мы не в состоянии себе представить, что бы он мог означать.

Природа не знает цели своей таинственной животворящей силы, но сумела при этом создать человека, который способен такую цель отыскать. Или сотворить. Упорствовать в мысли об обречённости этого эксперимента, означало бы проявлять непонятное упрямство. А среди голосов, раздающихся в самых разных концах Земли, по-прежнему продолжают звучать и такие, которые не сомневаются в безграничных возможностях человека.

«И заходит солнце. И восходит солнце...».

Но этими голосами мы позволяем себе пока только развлекаться».

Николас испытывает чувство облегчения. Это не исповедь. Но и не простая записная книжка. А неожиданное упоминание о Лескове и Свифте, пробуждают любопытство.

3.

Угнетает неистребимость зла.

Но оно было сочинено нами самими. С библейскими и христианскими версиями мы пока подождём. Попозже можно поговорить и о них.

Зло родилось в тот момент, когда человек впервые обнаружил, что можно быстрее, чем ожидалось, приобрести всё, что он считал для себя необходимым, за счёт других людей – их слабости, доверчивости или нерасторопности. Но ещё прежде, чем решиться на такой поступок, и для того, чтобы его оправдать, ему нужно было потревожить своё воображение и счесть, что жертва находится ниже его по своему человеческому достоинству. А потребность такой дихотомии сидела занозой в его сознании с самого начала.

Человеку невыносимо, не под силу чувство самостоятельного независимого бытия. Слишком многое такая независимость несёт с собой и в осознании мироздания, и в чувстве ответственности за него. Насколько легче осознать себя через соотношение с чем-нибудь другим, но достаточно значимым. И заодно обзавестись преимущественными правами. Теперь он знает кто он такой.

Сначала это будет другое племя, обладающее неким достоянием, которое представляется необходимым тебе самому. И взять это тебе облегчит сознание собственного превосходства. Сопоставление себя с животным такого эффекта не произведёт, потому что разрыв слишком очевиден, а объект слаб, и ты опять остаёшься наедине с самим собой.

Рано или поздно объявится новое племя, которое окажется более сильным и отнимет сравнительное преимущество. Ощущение подчинённости, второсортности мешает внутреннему покою и равновесию. Тогда к первому, поколебленному самосознанию прибавляется образ всемогущих божеств или единого творца, которым человек отдаёт все права, освобождая себя от необходимости самому беспокоиться о своём образе. Их суд не так обиден, поскольку и победители, и побеждённые уравниваются в общем достоинстве перед могуществом высших сил.

Но облик этих сил расплывчат. Его нужно непрерывно поддерживать дополнительными усилиями воображения. Новой попыткой будет чувство личного сыновства и связанной с ним безусловной персональной опеки. Оно даётся не всем, а те, кто его обрёл – или присоединился к обретшим – оказываются более уверенными в собственном существовании, чувствуют себя как бы больше людьми, чем неверующие. Это ещё одна форма превосходства и ориентации в мире. Но и такое чувство требует постоянного духовного усилия.

Все эти терзания и постоянный поиск подтверждают, что человеку необходим какой-то внешний предмет, образ или идея, чтобы в достаточной мере ощутить себя человеком, что он не может решиться существовать сам по себе.

Это и есть экзистенциальный страх. Страх самого себя, каким человек даже не пробует себя представить. Пугающее состояние, которое находит множество сравнений с бездной, с царством злых духов, иногда с безграничными возможностями, которые человек не знает, на что употребить.

А цивилизация продолжает развивать и совершенствовать уже знакомый приём самоопределения за счёт кого-то другого, порождая рабство, расовое и этническое превосходство, беря себе в помощь под видом науки евгенику, что, в свою очередь, позволяет возникнуть идеям отбора и массового уничтожения. И в этой крайней идее

проступает изначальная ложь ситуации. Потому что генетически очищенная раса вновь предстанет перед экзистенциальным страхом самой себя.

Попутно накапливается инстинктивный ужас от совершённых преступлений, страх возмездия. По мере развития событий, из мысли о наказании может исчезнуть непосредственный исполнитель, но это не делает саму идею менее грозной.

Изначальный страх быть самим собой связан только с незрелостью сознания. Это, по мнению Гегеля, состояние человека непосредственного и умственно неразвитого. Такой человек находится в положении, в котором ему не следует быть, и из которого он должен освободиться. Что, в некоторой степени, постепенно происходит с частью человечества по мере его развития.

Избавление от вторичного, производного страха, созданного уже руками самого человека, требует дополнительных усилий. Прежде всего необходимо признать его наличие.

Всё это так. Но кажется я поторопился, слишком положившись на человеческие возможности и приняв на веру назидательное заявление философа. В состоянии непосредственном и умственно неразвитом человеку конечно быть не следует, и из этого положения он должен освободиться. Но может быть ничего такого с ним не происходит, распоряжение Гегеля остаётся неисполненным, и некому больше следить за его выполнением. Да и практических инструкций он не оставил.

А выглядеть они могли бы например так.

Экзистенциальный страх самого себя, страх самостоятельного независимого бытия по-видимому свойственен не только обобщённому человеку философии, но и каждому из нас по отдельности. И если распознать этот страх в глазах другого и додуматься, что им больны все мы до единого, а кроме нас никого больше на Земле нет, станет очевидным, что бояться нечего. В самом деле – не во имя же этого страха нас здесь поселили? Такая проделка была бы впору какому-нибудь садисту, но не могущественному Высшему Разуму, который, как-никак, желает нам добра, раз снабдил всем необходимым для жизни.

Так что, вместо того чтобы этот испуг прятать или избавляться от него негодными средствами, надо бы им поделиться со всеми остальными. Заблуждаться не стоит, дело это непростое – не каждый захочет и не каждый захотевший сумеет. И надо же ещё найти глаза, которые не побоятся этот страх разглядеть. Но вот это, пожалуй, единственное, чем сделало бы человечеству себя обеспокоить, и что могло бы оправдать временный отдых от философии...».

У Николаса нет никакого представления о том, что это был за человек, кроме общих сведений о его таланте в технологической области. И наблюдение за тем, как с личностью, целиком подпадающей под известный, вполне определённый тип, на твоих глазах происходит метаморфоза превращения в гораздо более сложный, почти возрожденческий образ, завораживает.

4.

«Рабство – форма убийства. Отрицание за соседом равного права на звание человека – это, в сущности, его уничтожение. Для физического уничтожения, которое может последовать, моральный запрет ослаблен. Но есть ли сам запрет?

Вернёмся к исходному событию.

Плод с Древа познания добра и зла не одарил Адама и Еву внезапным знанием о том, что есть добро, и что есть зло. Он лишь предоставил им возможность освоить это знание, и это оказалось долгим и трудным делом.

Дети Адама и Евы знали, кто их родители, но ясного представления о том, кто такие они сами, у них быть не могло. Мы склонны, опираясь на собственные представления, приписывать Адамову потомству ясный рассудок и нравственное чувство (даже цинизм: «Сторож ли я брату своему?») – свойства проявившиеся у человеческого рода намного позднее.

Но мы находимся у самых истоков. Заглядывать дальше – превышает наши возможности. А изложение этих, последних истин в Священном Писании переполнено провалами, в сумраке которых мерещится ещё какая-то, так и не названная правда.

Те, кто составлял эти скрижали, сталкивались, видимо с переживаниями, которые не в состоянии были объяснить. И не решаясь интерпретировать их на свой страх и риск, ограничивались зияющими пропусками. Или облекали их в соответствующие обстоятельства, где умолчание диктовалось самой высшей силой. Таких мест много.

В Апокалипсисе, в том месте, где речь идёт о Страшном суде, который уже начал разворачиваться, хотя до последней битвы, Армагеддона, дело ещё не дошло, апостол Иоанн пишет: «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». (Совершенно, кстати, современный поворот сюжета, в духе Эдгара По).

И Иоанн не записал, и мы до сих пор не знаем, что именно возвестили Семь громов.

Такое же место есть в Книге бытия, то есть, почти в самом начале Писания. После того, как Господь не принял жертвоприношения Каина, и тот, огорчившись, опустил голову, Творец спрашивает его – отчего он огорчился. И поясняет, что «если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит и влечёт к себе. Но ты господствуй над ним». Другими словами, Господь намекает Каину, что у него, должно быть, совесть не чиста, раз он огорчился. Должна же быть причина, по которой жертва Каина была отвергнута. До сих пор вопросов не возникает. Но за этим следует странное краткостью своей описание: «И сказал Каин Авелю, брату своему». И после этой, внезапно обрывающей изложение точки, мы уже оказываемся в поле, где Каин «восстал на брата своего и убил его».

Но что же он сказал брату своему?

Более поздние версии, пытаются пояснить, что Каин будто бы позвал брата пойти вместе с ним в поле. Можно было бы и согласиться с таким продолжением, тем более, что следующая фраза в каноническом тексте начинается с «И когда они были в поле...». Но почему же всё-таки в первом варианте образовался такой прогал?

И насколько убедительным было бы счесть, что Каин просто пропустил мимо ушей намёк Господа, не стал даже пытаться как-то его себе объяснить, а прямо перешёл к тому самому «греху», о котором был предупреждён?

Конечно, Каин персонаж не простой и психологически явно отличается от своего благоразумного и простодушного брата, но слишком уж намеренно упрощённым кажется представление о нём, как о заведомо пропавшей душе, изначально, от рождения оказавшейся в объятиях греха. Зачем бы ему тогда продолжать приносить жертвы? Наверно можно уловить в нём некие зачатки бунта, как это делает Байрон в своей знаменитой драме, но идее просто отвести ему роль воплощённой Тьмы наше сознание

сопротивляется. А укрепляет сомнения вот этот необъяснимый провал в последовательности событий, эта громогласная точка, прерывающая рассказ.

Что-то он всё же сказал брату помимо лукавого приглашения на казнь. И, скорее всего, брат ему ответил. И лишь в результате этого – кто знает, как долго продолжавшегося разговора или спора, они оказались в поле, где произошло первое в истории человечества убийство. Первое. Об этом тоже не следует забывать. Первый же человек, то есть рождённый не Богом, а сотворённый людьми, первым же значительным поступком совершил грех убийства, сразу измерив всю широту предоставленных ему возможностей – не вполне сознавая, впрочем, что это грех. И наказан был не смертью, а безопасной, охраняемой свыше от посягательств жизнью в изгнании. По-видимому, ему только предстояло ещё до конца осознать свой поступок, как греховный, почувствовать муку совести и прийти к раскаянию. Таков был первый изгнанник и первый уединившийся, впервые ощутивший мир чужим для себя, источником опасности. Преуспел ли он в осознании и раскаянии? Судя по всему – нет. Среди основополагающих вех богословия – будто бы всеобъемлющей теории морали – убийства повторяются с неизменным постоянством.

Прежде чем создать (или получить в качестве откровения) знаменитые Десять заповедей, Моисей – спаситель еврейского народа, возродивший иудеизм и положивший начало нравственным правилам, запятнал свою юность убийством египетского надсмотрщика. Но и его раскаяния и великих свершений оказалось недостаточно, чтобы искоренить убийство. Человечеству предстояло ещё раз, уже коллективно совершить этот грех, распяв не просто невинного собрата, но явного Сына Божьего.

Очевидно до этого момента запрет на убийство оставался всего лишь «правилом» – высказанным Создателем, принятым к исполнению, но не осознанным, а потому часто нарушаемым во имя других правил, которые представлялись время от времени более важными.

Совесть пробуждалась не сразу и сначала сознавалась не как безусловная высшая ценность, а лишь как болезненное терзание, помеха в отправлении жизненных задач. Таящийся внутри ужас перед преступлением никак не объяснялся и ощущался, как действие какой-то внешней силы, подобной любой другой. Потому и избавление от неё принимало самые уродливые формы, призванные объяснить неуместность этой силы, ошибочность её. Но поскольку ни одно средство не помогало устранить муку совести, постепенно возникал страх перед собственной беспомощностью.

Ужас вины, пожалуй сильнее всего описанный Достоевским, как одновременно физиологическая реакция лихорадки и беспомощности и духовное смятение, чувство отчуждённости от мира, соединился со страхом возмездия и беспомощности.

Только тогда стала рождаться догадка, что совесть – это не реакция на какую-то внешнюю силу, а свидетельство об одном из основных законов Бытия, и что следование этому закону – единственное условие полноценного человеческого существования. И мы всё ещё не убеждены в справедливости этой догадки...».

Сколько же их? Безымянных, скрывшихся прежде, чем мы успеваем о них узнать. Не объясняющих, что заставляет их пускаться в эти поиски, и что обрывает их. А поиски всё продолжают.

5.

«Не может быть, чтобы в наследственной памяти, в подсознании не оставался животный ужас перед совершённым твоим родом преступлением. И поскольку само преступление неотменимо, этот ужас порождает непрекращающийся страх возмездия. Он может быть никак не связан с непосредственной, практической опасностью, но, требуя противодействия себе, порождает предупредительную агрессивность, отталкивание, которое в свою очередь производит разнообразные вымышленные и посторонние оправдания.

Человек по-прежнему не в силах заглянуть в себя, и то, что диктует ему совесть готов воспринимать, как действие посторонней, враждебной силы.

С точки зрения психологии, такое чувство вины считается патологическим.

Вместо того, чтобы принять на себя ответственность и что-то изменить в своем поведении, человек просто «переживает» – или изживает – свою вину.

Патологическое, невротическое чувство вины, в отличие от здорового, носит характер эмоциональный, в то время как в здоровом чувстве вины эмоциональные реакции подчинены принципам разума. Постоянное, даже бессознательное самообвинение и скрытая боязнь осуждения, которыми сопровождается патологическое чувство вины, отвлекают внимание от вины реальной, и в то же время поддерживают её, поскольку ощущающий себя виноватым вынужден искать у других заверения в необоснованности самообвинений.

Так возникает передаваемый из поколения в поколение расизм и его своеобразное сектантство – взаимопонимание и взаимная поддержка расистов.

Сначала это случилось с коренным населением – индейцами.

Они слишком явно и слишком многим отличались от завоевателей и могли представляться дикарями, варварами, но это были варвары со своей яркой, таинственной и впечатляющей культурой. Чтобы оправдать собственную – необоснованную, непропорциональную жестокость, необходимо было убедить себя в том, что это не люди. Их встречная жестокость, вызванная необходимостью защитить себя и свою землю от вторжения, очень помогла убеждённости колонизаторов в своей правоте. Первое впечатление было подавлено, но оно никуда не исчезло и сохранилось глубоко в подсознании, как чувство общей вины.

Затем то же произошло с чёрными рабами.

Можно предположить, что подобная болезнь должна была поразить все колониальные империи. И в какой-то мере её симптомы возможно ощущаются наиболее склонными к самоанализу потомками колонизаторов. Но острота её исчезла с концом колониализма и раздельным существованием колоний и метрополий. Иными словами, напоминание о прошлом не стоит ежедневно перед глазами.

Здесь, у нас оно является неотъемлемой частью повседневной жизни. Потомки коренного населения живут рядом. Землей, отобранной у них и присвоенной нашими предками, владеем мы. Большинство наших соседей афро-американцев – потомки рабов, которых наши предки не считали людьми.

Есть и совсем недавние примеры фантастической и массовой жестокости в формах холокоста и других видов геноцида. Но это были относительно короткие периоды и в истории стран-преступников их можно считать трагической случайностью, хотя последствия для виновников столь же сильны. Во всяком случае, эти грехи гипотетически – а иногда и практически, как в случае Германии – поддаются осознанию, раскаянию и

искуплению. И нет иного способа избавиться от этого сумасшествия кроме усилия сосредоточиться на самих себе. В этом положении болезнь может сначала обостриться. Но уже не будет возможности отвлечь внимание внешними обстоятельствами – ни действительными, ни вымышленными.

Чтобы избавиться от этой патологии, нужно прежде всего отдать себе отчёт в самом присутствии страха, как бы глубоко он ни был спрятан, и в его абсолютной необоснованности и перестать искусственно питать его, сочиняя легенды о «врождённой преступности» другой расы.

Память её современных представителей о страданиях предков во всех отношениях равнозначна нашей памяти о преступлениях предков наших. Это не их страдания и не наша вина. Может быть, достаточно будет убедить друг друга в том, что сегодня (а не в далёком прошлом) у нас (а не у наших предков) нет взаимных претензий и ощущения чужеродности.

Поспешно выдуманная и осуществлённая политика «позитивных действий» – насильственное уравнивание общественных возможностей, не учитывающее возможности личные – ложная в этом отношении попытка, насилие над естественным ходом вещей. Она не исправляет ситуацию и не разрешает её. Возможно даже усложняет, поскольку остаётся упрямым и непрерывным напоминанием о проблеме и, в некотором смысле – оскорблением, унижительной подачкой: ты можешь и не заслуживать, но мы всё равно тебе это даём. Своего рода положительный расизм...».

Очень много совпадений с собственными догадками, и мысль быстро распространяется сразу в нескольких направлениях. Отчасти похоже на недоумение Энди МакГрата и в то же время отвечает на смутную потребность главы государства искать выход из положения, обращаясь к третьей стороне. Неожиданно застревает в памяти и упоминание о коллективном грехе распятия – оно самым непосредственным образом связано с представлениями о природе трагедии и об особой, поздней форме её. О необходимости ограничить свои импульсивные телодвижения в надежде разрешить эту всемирную трагическую коллизию наиболее естественным и разумным способом. Она медленно влечётся к финалу – к восстановлению связи времён. Каким образом оно свершится, мы не знаем, но упрямо предлагаем Бытию свои варианты, каждый раз вовлекая мир в неизбежную последовательность событий. Нас очень много, мы по-разному проникнуты осознанием реальности, и вероятно кому-то предстоит погибнуть. Но пока мы делаем это бессмысленно и беспельно. Должны ли появиться среди нас те, кто способен сделать это осознанно, понимая, в каком действии принимают участие, и не привнося в мир нового зла, по мере избавления от зла уже накопившегося?

Впрочем, это всего лишь ещё одна гипотеза. И никак не узнать, поднимается ли она до высоты и значения нового мифа.

19. О сыре и Моисее.

Познакомившись со спутниками уже в самолёте и надеясь, что им удалось удовлетворить вежливое любопытство священников, Марк и Николас не настаивали на продолжительной беседе, а оставшись вдвоём, быстро обнаружили, что не особенно склонны откровенничать и друг с другом. Предстоящая встреча уже протянула к ним руки

и напоминала о собранности, как редкие хлопки стража в Сикстинской капелле, призывающие посетителей к тишине.

Маркус вскоре задремал, а Ник с нетерпением вернулся к рукописи.

Записки Мелвина Рида (продолжение).

6.

В чём разница между человеком, у которого в распоряжении 70 сортов сыра или пива, и тем, у кого их всего 20? Даже если допустить, что часть людей – скорее всего, очень небольшая – обладает столь развитым вкусом, что в состоянии различить каждый из этих сортов, чем обогащает такая способность род людской? Какую роль играет она в его предполагаемом совершенствовании и преобразении? Следует ли всем остальным стремиться развить в себе такой специализированный вкус?

Поиском ответа на подобные вопросы оказалась смущена и сбита с толку современная философия, поддавшись их мнимой сложности. И была немедленно прибрана к рукам экономической системой, которая занялась использованием этого иллюзорного и псевдо-бесконечного разнообразия в целях стремительного обогащения проводников и бенефициантов этой системы.

Чтобы удовлетворить капризы разборчивых клиентов, достаточно пяти моделей вездеходов, отличающихся друг от друга лишь незначительными преимуществами. Но это создало бы ситуацию очень жёсткого рынка, где преимущества того или иного производителя были бы слишком очевидными, и требовали от них значительных усилий по непрерывному усовершенствованию своего товара, чтобы удержаться в конкуренции. И тогда эта паразитическая система изобрела для самосохранения расширенный – лишней, не нужный самому потребителю – рынок, где производятся уже двадцать моделей, разница между которыми носит ещё менее существенный, чаще всего внешний характер. В поддержку этой, фактически ничтожной разницы пришлось создать и целую индустрию рекламы, которая уже собственными, порой довольно красноречивыми средствами раздувала различия, создавая иллюзию выбора. Конкуренцию самих товаров заменило состязание их реклам. Аппелируя якобы к более высокому, «развитому» вкусу покупателя, льстя его чувству собственного достоинства, система уходит от вопроса о качестве, ослабляет остроту и жёсткость рынка и, таким образом, позволяет без серьёзных интеллектуальных и творческих усилий обогащаться производителям (и широчайшей рекламной и торговой сети), уловившим и использовавшим этот временный сбой в человеческом мышлении.

Это, собственно, поздний и сильно усложнённый вариант всё того же некогда обнаруженного древним человеком способа быстрее, чем ожидалось, приобрести всё, что он считал для себя необходимым, за счёт других людей. Лаборатория зла.

Если остановиться на двадцати сортах сыра, которые с лишком удовлетворят разнообразные вкусы большинства людей, и через некоторое время изобрести двадцать первый – это может прозвучать, как неожиданное и радостное открытие. Может быть с его появлением постепенно выйдет из употребления пятый или двенадцатый сорт – что всё ещё не нанесёт урона общему разнообразию. А если и огорчит немногочисленных поклонников именно этих продуктов, они вскоре привыкнут. Или попробуют изобрести свой собственный сорт, который будет отвечать их вкусам. Такая динамика, по крайней

мере, не отвлечёт человечество от более важных идей и задач и даже будет отдалённо напоминать о возможности малого творчества и взволнованности открытий.

Оставаясь со своими семьюдесятью сортами, большую часть которых многие так и не отведают, человечество продолжает пребывать в иллюзии изобилия и безграничного выбора и отвлекается от стремления к развитию и совершенству. А изобретая 71-й сорт, оно продолжает работать на природу, которая в этом не нуждается, и откладывает работу над собой.

7.

Уединение...

Лёгкий выход. Облагороженное средство спастись от напряжения, от усталости, которую обеспечивает неподъёмный труд человеческого общения. Поражение.

Об этом можно кое-что рассказать.

Что нового узнал о себе Иисус, проведя сорок дней в пустынном ожиночестве? Как безудержен в своих искушениях Злой Дух? Разве можно считать это Откровением? В двух из четырёх Евангелий об этом эпизоде даже не упоминается.

И разве об уединении повествует история Моисея и скитаний водительствоваемого им народа по пустыне? Эти сорок лет переполнены завоеваниями тридцати других народов и сожительством с ними. Бесконечной чередой роптаний и блудодейств и наказаний Божьих. В том числе – и слабоверием самого Моисея, за которое ему отказано было попасть в Землю Обетованную.

Если и было результатом этих скитаний Откровение, то выразилось оно даже не Десяти Заповедях, которые люди продолжали успешно нарушать, и большинство которых было временными правилами, связанными с условностями исторического мгновения, но лишь в Песне Моисеевой, которую он передал народу перед смертью, с тем чтобы она когда-нибудь помогла Израиллю вернуться к вере после неисчислимых – и неизбежных – будущих грехов.

«Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и в последствие времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая Его делами рук своих».

Не уединение их спасло – если вообще можно говорить о спасении, а лишь исход из египетского пленения. То есть разрыв с рабством.

А впереди их ждали и ещё восемь лет лет неволи, и ещё сорок, и восемнадцать, и двадцать лет. И явится ещё Экклезиаст со своими сетованиями. И Иеремия станет плакать о грехах и унижении своего народа. Пока не родится у пророков тоска по Мессии, и не явится сын Божий. Но и его «жестоковыйный» народ предаст мученической смерти руками римских властей.

Не живёт и не должен человек жить один. Даже и краткий срок.

И наконец – о тьме, в которую он вынужден опуститься, испытав невыносимую утрату ближних. Какова цена этого одиночества?

Приходится вновь вспомнить о необъяснимых зияниях в основополагающих списках Бытия. Величественный корпус античной и библейской мифологии тоже пестрит дырами, которые мы весело пропускаем, ссылаясь на возможные опечатки и искажения в пересказе. Но они возникают и возникают вновь. Зачем же мы так капризны? Доверчиво полагаясь на всю эту тысячелетнюю мудрость и потакая собственной нерадивости, мы не

желаем подставлять себя сквозняку, рвущемуся из этих дыр. А ведь он, вероятно – часть этой же мудрости.

Ойней, кроме дочери Деяниры, которая стала женой Геракла, родил, оказывается ещё и сына, которого сам же убил за то, что тот перепрыгнул через ров. Конец сюжета. Воистину «ров», провал, без дальнейших пояснений. А ведь к этой нелепости привязано имя – Токсей, которым несчастный мальчишка успел обзавестись...

И вот считается, что эта бездна утраты – смерть при жизни – якобы, даёт возможность возродиться. Но, по крайней мере, не перепрыгивайте этот ров! Не облегчайте себе представление о нём и не считайте спасение из него само собой разумеющимся. У нас, как правило, не хватает душевных сил опуститься достаточно глубоко, чтобы испытать преображение. Нам достаточно указания на него, и мы считаем, что оно произошло. На самом деле мы остаёмся всё теми же – скорбными, но непросветлёнными. К сожалению это переживание неизбежно, как неизбежна конечность земного существования каждого из нас. Но было бы непросветительным легкомыслием считать его надёжным средством возрождения и просветления.

Должно невероятно повезти, чтобы в опустошающем одиночестве с вами рядом оказался друг Горацио.

Подставляя другую щёку, отдавая вместе с рубашкой верхнюю одежду и проходя лишнее поприще, ты остаёшься рядом с бьющим и требующим. Когда ему станет очевидной бессмысленность его требований, ему не нужно будет искать того, благодаря которому он научился этой истине.

В одиночестве нет других глаз, чтобы встретиться с моими.

Вот опять эти глаза, которым, кроме всего прочего, предстоит распознать мой экзистенциальный страх. К такой встрече следует подготовиться обоим. И если говорить о пользе одиночества, то только в этом приготовлении и может быть его смысл.

Но это не взаимная групповая изоляция. Тут речь должна идти не о разделении государств или народов, а об индивидуальном разобщении. Такой план не может прийти в голову ни выдающемуся уму, ни гипотетическому прогрессивному мировому правительству. Это может осуществить только сама Вселенная с помощью какого-нибудь мирового стихийного бедствия вроде стремительной пандемии.

И сделает она это отнюдь не для того, чтобы сохранить самоё себя, как мы иногда склонны фантазировать с помощью своего саркастического ума. Заботливые родители разводят по углам расшалившихся детей не потому что они шумят и мешают важным родительским делам, а потому что, заигравшись, в воспалённой шалости те могут сами себя покалечить.

И вот опускается на мир, не удосужившийся себя приготовить, легко передающийся и быстро расстраивающийся новый смертельный вирус, который поздно предупреждать и нечем лечить. Единственным способом сохранить хоть какую-то жизнь становится необходимость эту всемирную пандемию переждать, сведя к минимуму все существующие контакты – совершить индивидуальное разобщение. Вот и представь себе, что все и каждый человек в мире отказываются от привычного, переполненного случайным общением существования и во имя спасения своей – и многих других – жизни выбирают самоизоляцию. Так хорошо знакомый призыв встретить беду вместе приобретает неожиданный смысл – оказывается быть вместе в критический момент может означать избавление общества от своего чрезмерного присутствия. Может быть в таком

личном уединении всех поголовно человеку откроется, в чём, собственно, заключается истинный смысл взаимного общения.

Потому что смысл этот не в преимуществе коллективных действий – войну, уборку урожая и даже строительство могут гораздо успешнее осуществлять машины. А бить по щеке или подставлять другую, отбирать рубашку или отдавать вместе с ней верхнее платье, заставлять или соблазнять другого содействовать в каком-то поприще или предлагать в ответ новое поприще – все эти действия непоправимо далеки от идеи совместности. Даже в настоящем застолье не еда составляет душу сборища.

Разве что любовь. Но ведь это всегда только двое – минимальная форма сообщества. И об их любви мы не можем знать ничего, кроме того, что она есть.

Подарит ли нам Првидение это необходимое несчастье, разочаровавшись в наших способностях? Может быть именно такой жестокий способ откровения предвещают упомянутые пропуски в священных летописях бытия.

8.

«Если мы обнаружим, что душа и Бог находятся в темноте, внутри, следует учитывать вероятность того, что путешествие будет опасным». (Джеймс Хиллман).

20. Тот, с кем можно молчать.

Поздно вечером вертолёт доставляет их из римского аэропорта в Ватикан, и они поселяются в Доме Святой Марты – гостинице для служащих папской курии, кардиналов и гостей, где второй этаж с самого начала его папства занимает резиденция самого Франциска.

На следующий день в восемь утра они с Маркусом спускаются в кафетерий, пьют эспрессо и с любопытством наблюдают за папой, который завтракает апельсиновым соком среди остальных обитателей отеля.

Николас пытается вообразить, как тому приходится постоянно держать в уме несколько регулярных форм отправления своих религиозных обязанностей – служб, молитв, проповедей. Это может наверно ощущаться как обязывающий режим, как жёсткая решётка, сковывающая обычную жизнь. Но что если его обычная жизнь как раз и выражена в этом желанном распорядке, если именно он составляет основу существования, и каждое обращение к одной из его форм ощущается, как возврат к настоящей жизни? А всё остальное воспринимается лишь как сопутствующие, не столь уж тяжкие, но необязательные отвлечения – скромные попытки внести долю смысла в окружающий мир, без особой надежды на успех, но с терпеливым ожиданием. Может ли быть, что его жизнь – это непрерывная молитва, постоянное усилие приближения к Творцу?

В отличие от современных духовных наставников он не готовит подобных себе и не побуждает остальных следовать его образу жизни. И он по-прежнему связан с миром, служит ему в полную меру своих сил.

Никку сообщают, что после короткой церемониальной встречи Папы с американскими кардиналами наступит его очередь. Около десяти его провожают к кабинету главы Римской церкви.

Франциск поднимается навстречу, и следует рукопожатие. Ник знает, что никакой особый протокол, кроме соответствующего обращения, ему не предписан.

- Ваше Святейшество, мне было сказано, что вы предупреждены о предмете нашей встречи и, я надеюсь, знаете немного обо мне самом. Нужно ли мне представиться?

- Вас зовут Николас, верно?

- Николас. Николас Гатов.

- Вот ведь неожиданность. Мы, знаете ли, вашего святого разжаловали недавно, понизили в должности, так сказать. Оставили на усмотрение самих верующих. Мне всегда было его жаль, как и святого Христофора. А тут вы и являетесь.

- Мне стыдно огорчать Ваше Святейшество, но кроме имени никакой связи со святым я никогда не ощущал. Даже не вспоминаю о нём. Хотя, на его месте мне бы наверно понравилось оставаться «на усмотрение». Я не должен скрывать, что у меня довольно сложные отношения с богословием, и возможности мои в качестве вашего собеседника вероятно следует считать отсутствующими.

- Не может быть, что уж вовсе не веруете.

- Хотел бы считать, что всё-таки верую, но, кажется, очень на свой лад.

- Это не беда. Я со своей стороны, прошу вас не стесняться, не обижать себя. Не станем говорить о богословии. Не оно ведь привело вас сюда. А мне так часто приходится заниматься богословскими делами, что отвлечься от них будет редким удовольствием.

- Я постараюсь.

- Вы, конечно, немало удивили всех нас. Но Его Величество король Уильям сумел меня убедить, что ваш Президент знает, что делает. Как я понимаю, вас тревожат два вопроса – ваше уединение и внутренний разлад.

- Если не считать основную причину изоляции, связанную с общим направлением развития экономики в последние десятилетия.

- Тут, пожалуй, даже и вопроса нет. Я своего отношения к этому развитию не скрывал, и в этом смысле ваши начинания мне по душе. Очень надеюсь, что вы с ними справитесь и тем самым поможете остальным одолеть эту бесчеловечную инерцию. Мы ведь можем только призывать, и без вас мы – как без рук. Но скажите это птице – она вас наверно и не поймёт. Вот ваша страна мне такую птицу напоминает.

- Тогда, стало быть, остаётся проблема изоляции.

- Знаете, если вы не против, давайте чуть повременим с этим, вернёмся попозже. А расскажите мне лучше, что вы думаете о вашем внутреннем неблагополучии. В общих чертах я, как мне кажется, понимаю, о чём идёт речь. Но надеетесь ли вы, что с этим можно справиться?

- Возможно это в большой степени проблема поколений. Молодёжи расизм чужд. Они не чувствуют вины за поведение предков, живших триста лет назад, с которыми у них нет ничего общего кроме расовых признаков, которых они и за собой не замечают. Сами они никого не угнетают и всех считают людьми, равными себе назависимо от их расы, национальности или этнической принадлежности.

- Счастлив это слышать. Стало быть, боязни чужих не испытывают. А что вы скажете о тех, кто до сих пор держится за идею расового превосходства? И вот все эти теории об умственной, нравственной и духовной неполноценности представителей другой расы или национальности?

- В общем-то, в конечном счёте это дело их совести.

- И всегда-то этого добра нехватает... Но вы не считаете, что бессовестный находится на более низкой ступени развития?

- Бывает такое искушение. Хотим мы этого или нет, развитие, о котором вы, Ваше Святейшество, говорите, как будто не поддаётся внешнему воздействию. И его

неравномерные темпы создают дополнительные трудности во взаимоотношениях. Но в этом конечно нет ни их вины, ни заслуги остальных. Таково, видимо, эволюционное взаимодействие природы и сознания. Разница в темпах проявлялась во всей истории человечества и стала слишком очевидной лишь с того момента, как некоторая его часть начала быстро двигаться в сторону цивилизации. А с тех пор, как образовался разрыв, возникла и идея насильственного прогресса. К сожалению, в этой идее было слишком мало любви к ближнему и слишком много посторонних, эгоистических целей. И она шла поперёк органического внутреннего развития. Можно наверно сказать, что приобретя ряд преимуществ, человек потерял терпение.

- Похоже, что так. Я не возьмусь судить, что помогло вам достичь нынешнего уровня вашего сознания. Но, в большой степени освободившись от предрассудков, разве не хотелось бы вам попытаться понять, что так упрямо задерживает этих других на их уровне? Может быть и не для того, чтобы помочь им подняться – что, как вы считаете, сделать невозможно – но для того, чтобы у вас самого появилось более полное представление о путях человечества.

- Иногда пробуешь что-то такое себе представить. Даже приходишь к некоторым соображениям. Но убедиться в их справедливости невозможно, и они не обладают достаточной силой. Ещё мне кажется, что наше ощущение неравенства может быть тоже связано с нетерпением, воспитанным в нас прогрессом, привычкой погонять эволюцию. Недаром ведь основным чувством, владеющим расовыми и прочими ненавистниками является нетерпимость. С помощью некоторых общественных установлений человечество научилось противостоять их самому вызывающему поведению. Возможно, важнее всего сейчас – удерживаться от встречной нетерпимости.

- Скажите пожалуйста, дорогой господин Гатов, а высоко ли вы оцениваете возможность иных, непрямых способов воздействия? Вам не кажется, что если бы изложить те или иные представления о причинах ненавистничества – не языком исследования или назидания, а в форме какой-нибудь притчи, легенды, можно было бы заморозить слушателей, как увлекают детей фантастические обстоятельства сказки?

- Этот способ я предпочёл бы любому другому. Беда в том, что, придерживаясь примитивных взглядов в своём отношении к непохожим на себя, во всём остальном они совсем не дети. У них даже есть основания гордиться своими достижениями в области усовершенствования бытия. Это в большой степени отучило их прислушиваться к сказкам. Они, кстати, довольно бесцеремонно ведут себя и в отношении себе подобных – может быть, без изуверской жестокости, но вполне не по-людски. А притчи такие, между прочим, существуют и ждут относительного спокойствия, чтобы быть услышанными. Автор их, к несчастью, не нашёл в себе сил дождаться. Отчаяния у него хватило только на то, чтобы их создать.

- Поможет ли им прозвучать более внятно, если их предложит людям пока ещё высокая и относительно независимая трибуна Папского престола?

- Ваше Святейшество, образы и идеи заложенные в этих сюжетах находятся в таком противоречии с учением христианской церкви, что вы не возьмётесь за их изложение. Верующих, я боюсь, они могут и оттолкнуть. Помимо прочего, человек этот покончил с собой. Это, как я понимаю, тоже не прибавит весомости его словам в глазах церкви.

- По крайней мере, я хотел бы с этим трудом познакомиться.

- Конечно, если вы настаиваете.... Я вот подумал, что такое знакомство могло бы совершиться менее болезненно, если бы вы согласились сначала встретиться со вдовой этого человека. Она бы и привезла вам рукопись.

- Охотно. Я распоряжусь, чтобы камерарий поддерживал связь с вами. Но в двух словах – в чём там суть?

- Вы сами уже упомянули о ней мимоходом. Страх. Страх человека перед самим собой, ужас самоопределения. И потребность найти, определить себя за счёт кого-то другого.

- О, это грозная тайна. И ведь видите, как получается – нам необходим другой, но совсем для иной цели. Без этого мы и не проживём. А у вас выходит, что мы пользуемся другим не по назначению.

- Не у меня. Для меня самого это было своего рода открытием. Но похоже, что так оно и есть.

- Интересный человек. И вы говорите, он наложил на себя руки?

- Да.

- Несчастье. Бедная женщина. И дети есть?

- Двое.

- Простите меня.

Святой отец отходит к небольшому узкому столу под висящим на стене распятием и несколько минут, склонив голову, остаётся там в молчании. Потом возвращается.

- Вы знаете, что в Ватикане сейчас два Папы?

- Нет.

- Этому мало кто придаёт значение, помимо католиков. Но для нас это в некотором смысле катастрофа. Вот видите ли, по учению церкви, наследник Святого престола наделён благословением непогрешимости. Даром правоты. А если их двое? И они не совсем совпадают во мнениях? Бенедикт ведь сам сложил сан и живёт тут неподалёку, считается почётным понтификом. И у него были поклонники... В том числе и среди ваших кардиналов. Мы в прекрасных отношениях, оба понимаем сложность ситуации, вполне можем удержаться, чтобы не противоречить друг другу публично. Он даже сгоряча запретил себе на шесть лет всякие высказывания. Потом не удержался. Мы совершенно разные люди... То есть, я подозреваю, что вы не вполне отдаёте себе отчёт, что означает одновременное существование двух наместников престола Св. Петра, придерживающихся разных взглядов на роль и практическую деятельность церкви. Скажу лишь, что такое напряжение – если не называть его противостоянием – вполне сравнимо с тем противоречием, которое вы обнаружили в мире и которое берётесь разрешить своими силами. Возможно, это будет для вас неожиданностью, но я не знаю, кто из нас больше нуждается в совете и поддержке: вы ли в моих или я – в ваших. Для меня невероятным облегчением стала, например, весть о ваших решительных действиях. До того я ощущал себя в опасном одиночестве. Но недавно я подумал, что смысл всего этого в том, что долго скрываемые противоречия, тайно разъедавшие, разрушавшие мир, наконец выходят наружу. И только так они смогут быть разрешены и устранены – или подчинены здравому диалогу. Глобализация же, в той форме, в которой она стала разворачиваться, угрожает ещё глубже скрыть эти противоречия, предлагая искусственное объединение. Кьеркегор был конечно мечтатель и фантазёр, легко подчинялся своему воображению. Но порой оно рождало глубокие прозрения. В одной из своих светских притч он описывает закоренелого преступника, не желающего делать признание. Интересно то, как он объясняет такое упорство: согрешивший не желает вступать в общение с добром –

страшится, даже претерпевая своё наказание. А ещё интереснее способ, который автор считает самым действенным. Молчание и власть взгляда. То есть, вот такой бесконечно терпеливый и тихий взгляд может вынудить у преступника признание как бы помимо его воли. Ни один человек, совесть которого нечиста, не может вынести молчания. Если его просто поместить в одиночную камеру, он всего лишь впадёт в оцепенение. Но вот такое молчание – самая ужасная пытка. Я бы подчеркнул в этой пронзительной картине ещё одно обстоятельство, особенно важное для нас сегодня – непереносимое присутствие другого человека. Только в такой встрече, мне кажется, возможно раскрытие и примирение. Мы можем теперь вернуться к вашему первому вопросу. Личное общение и общение народов – конечно не одно и то же. И всё-таки без общения мы как будто лишаемся очень важного средства. Уединение, одиночество – оно ведь не для слабых душ.

- Но, если верить Кьеркегору, встречаться имеет смысл лишь с тем, кто в нужный момент способен помолчать, не отводя взгляда...

- На самый крайний случай, да. А вы знаете, бывает и по-другому. Мне бы не следовало приводить этот пример – это ваша история, и вам она известна лучше, чем мне. Но вот что я слышал. Ровно в середине XIX века индейцы племени Чокто случайно узнали о великом голоде, разразившемся в Ирландии и уже унёсшем сотни тысяч жизней. Как рассказывал нынешний вождь племени, когда Чокто услышали об этом, они поняли, что пришло время помощи. С трудом собрали сто семьдесят долларов – для них это была огромная сумма – и послали деньги за много тысяч миль людям, которых им и увидеть-то было не суждено. Но они знали, что значит голодать и быть преследуемыми правительством страны, которое их и за людей не считало. Всего за пятнадцать лет до этого они сами потеряли множество своих братьев на Тропе Слёз – это когда их выселяли из Миссисипи в Оклахому. И ведь спасли они не только несколько ирландцев, они спасали себя, поддерживая веру в то, что, не рассчитывая на власть, всегда можно найти людей, которым можно помочь, дать им понять, что в страдании своём они не одиноки. Это тоже встреча, хотя вы и не смотрите друг другу в глаза... И можно действовать, не рассчитывая на правительство. Но если оно закрывает границы, оно может лишить вас и этой возможности.

- Господи, я надеюсь, что до такой блокады дело всё-таки не дойдёт. А с другой стороны, какая-то форма карантина может быть и полезна...

- Я догадываюсь, какой пример витает в вашем воображении.

- К сожалению, и он не вполне убеждает. В рукописи, о которой я упомянул, как раз говорится и об этом. В какой-то мере Моисею удалось осуществить свою задачу, но ведь и такое долгое очищение не уберегло его народ от ещё более глубокой пропасти.

- Я понимаю. Если уж мы отваживаемся толковать Священное Писание, вопрос в том, мог ли он – и следовало ли ему заглядывать так далеко вперёд. А если вы имеете в виду Евангельское свидетельство, наверно не следует забывать, что Сын Божий явился именно этому народу. Но мы всё-таки уклонились в богословие. Мне показалось, что вы не очень расположены к этому. Или я вас неправильно понял?

- Нет, нет, всё так и есть. Ваше Святейшество, я не то что не расположен, а просто нет у меня никаких прав об этом говорить.. Но мне всё же хотелось бы как-то оправдаться. Я был бы очень огорчён, если бы мои слова хоть отдалённо воспринимались, как отрицательное отношение к церкви. Это всего лишь моя слабая попытка хоть немного ориентироваться в мире. Вероятно неуклюжая. Но за всю свою жизнь я не сумел придумать ничего лучшего.

- Повторю ещё раз: не стесняйтесь. Всякое выстраданное мнение драгоценно, тем более если оно испытано временем.

- Дело в том, что религиозное существование в изложении церковной христианской доктрины оставляет меня в недоумении. Её сложная система символов и установлений часто кажется мне перегруженной и в то же время противоречивой, и от этого никак не складывается какое-то единое безусловное и устойчивое переживание, которое как будто необходимо для того, чтобы в нём постоянно существовать или часто к нему возвращаться. Я по своему довольно остро воспринимаю явление Иисуса Христа, но не в контексте традиционных представлений об искуплении, жертве, непорочном зачатии, воскресении и так далее. У меня сложилась другая картина этой истории и самого события распятия. Я бы рискнул сказать, что оцениваю явление Христа не менее высоко, чем церковь, но может быть – по другой причине. Во всяком случае то, как объясняет своё пристрастие к Нему церковь меня смущает. И такое расхождение уходит всё глубже и глубже, вплоть до идеи Первородного греха. Но вот где-то в ваших высказываниях я встретил место, которое кое-что для меня прояснило. Это ваше сравнение церкви с полевым госпиталем. Не со сложной конструкцией с многочисленным оборудованием, где можно лечить и лёгкие травмы и серьёзные болезни, а с подвижным лазаретом, где раненому человеку не дают умереть. Пункт первой помощи. Если дело серьёзное, его отправляют в более приспособленное для этого место. И вот мне иногда кажется, что церковь, безусловно способная такую немедленную помощь оказать, взялась некогда за лечение более сложных и глубоких недугов, которые ей, может быть, не по силам.

- Есть одно явление, которое, не вдаваясь в подробности, покрывает все возможные болезни. И для меня это дороже всего, как вы могли угадать, если знакомились с моими словами. Милосердие. Если, как я полагаю, это одно из имён Господа, то церкви хватило бы одного его, чтобы оправдать своё существование. Подумайте только – человек может утонуть в грехе, лишиться всех надежд, и при этом у него всё ещё остаётся возможность проявить милосердие. И тем самым подтвердить, что он всё ещё человек...

Проходит несколько секунд, и у Николаса вырывается неожиданное для него самого признание.

- Если можно, Ваше Святейшество... Об этой женщине. Я знаю, что вопрос пустой. Обращаться с ним к кому бы то ни было стыдно, унижительно... Но уж очень тяжело бывает... И надеешься, что, может быть, всё-таки есть возможность какого-то утешения. Я говорю об утрате.

Прежде чем ответить Франциск пристально вглядывается в собеседника., пока в глазах его не начинается теплиться слабая улыбка.

- Нет, мой сын. У меня такой возможности нет. Я скорблю вместе с вами, и это всё, что в моих силах. То есть, возможностей примирения много. Они – не выдумка и существуют на самом деле. И вам самому они известны или станут известны, если полюбозытствуете. Беда наша в том, что они не приходят извне. Всё в ваших собственных руках. Человек – великое создание. Каждый человек. Вы ведь русский? У вашего знаменитого писателя есть где-то такая фраза: «Широк, мол, человек. Слишком широк. Надо бы сузить...». Я может быть о том же самом скажу, но немного по-другому: не сам человек широк, а возможности ему предоставлены огромные. Пользуется же он очень малой долей и выбирает не самые интересные и важные. Вы вот очень справедливо упомянули о том, что хорошо бы удержаться от нетерпимости. В этом не может быть никаких сомнений. Но только терпимость не может быть снисходительной, не должна мириться с признанием малых способностей у человека. Признавая его несовершенство,

мы всё-таки вправе ждать от него преодоления себя. А пока он колеблется, мы вынуждены мучиться ожиданием в предчувствии радости от его прозрения. Если выпадает случай, поторапливать его тем или иным способом...

Тишина не сопровождается ни светлыми видениями, ни внутренним сиянием. Двое опустили в неё, как в безмолвный покой, который мог бы продолжаться бесконечно. Да он и продолжается испокон веков, вопреки шарканью и топоту поколений. Николас вспоминает о похожем ощущении, испытанном им на рассвете в вирджинских горах. Но там оно было отягощено представлением об одиночестве, тогда как настоящая тишина обнимает всех и не оставляет сомнений в единстве мироздания.

Собеседник по-прежнему не отпускает его взглядом, медленно наполняющимся влагой. Ник протягивает руку. Это не просьба о помощи, скорее он предлагает Его Святейшеству своё близкое присутствие и утешение. Франциск берёт его ладонь в свои обе, и ещё некоторое время они продолжают сидеть неподвижно.

- А я даже не католик, - говорит затем гость, - и совсем не церковный человек.

- Я знаю. Это ведь ничего не меняет.

Уже слышанные однажды слова отзываются толчком в сердце и вдруг рассеивают пелену, всё ещё скрывавшую их настоящее значение.

- Если вам нужна ещё одна причина для встречи с этой женщиной, вы наверно удивитесь, узнав, что эти слова я впервые услышал от неё.

- Я часто склоняюсь к мысли, что может быть наступает пора важных совпадений, которых мы так долго ждали.

- Думаю, теперь мне самое время идти.

Оба встают. Избавляя гостя от неловких ритуальных перемещений, Папа Франциск провожает его до дверей, взяв под руку.

- Спасибо, что пришли. Я очень рад нашему знакомству. Будьте благополучны. Храни вас Бог. Передайте мой поклон вашему президенту.

Николас минует лифт, спускается со второго этажа, пересекает мощёное камнем пространство перед Домом Святой Марты и сквозь несколько арок выходит на площадь собора. Впереди – целый долгий день. Покинув Ватикан, он отправляется по Виа дель Маскерино в запретное путешествие по городу воспоминаний. На этот раз может быть и впрямь последнее.

21. Кому следует беспокоиться.

Отчего в воздухе звенит струна тревоги?

Прогресс жесток. Но только по отношению к тому, кто придерживается заниженного представления о возможностях и предназначении человека. В целом, прогресс как бы исподволь понуждает его выбираться из этих представлений. Ему не нужно оставаться швейцаром, дворником или продавцом. И если слишком многие всё ещё удовлетворяются этими занятиями – это не повод для прогресса замедлять свой ход. Человеку следует быть благодарным за то, что его не оставляют в покое и продолжают напоминать о том, кто он такой на самом деле, и кем ему ещё предстоит быть.

Есть слух, что технический прогресс оставляет без привычных средств существования массу людей. Но эта сентиментальная скорбь об «оставленных позади» вводит в заблуждение. Она годится только для тех или иных спекуляций развращёнными

политиками, готовыми направить рождённый этой скорбью гнев на осуществление своих частных целей.

Однако, есть и действительное смятение, тщательно скрываемое от наших глаз.

Легче избавить ребёнка от ночных кошмаров, чем убедить взрослого и преуспевающего соседа в кошмарности его благополучия. Привыкший дышать чистым горным воздухом масштабных задач, безмерных операционных сумм и немислимых заработков, воодушевлённый существованием, полным риска и манипулирования крупными объектами, часто грозящим временной потерей, но ещё чаще вознаграждающим упоительными победами, которые поднимают чувство самоуважения к небесам, он стал бы задыхаться, вернувшись в естественную атмосферу наших низин. Им овладело бы настроение тоскливой скуки.

Это состояние незнакомо множеству его сограждан, которые по-прежнему заняты строительством дорог, электростанций и прочих зданий, переоборудованием заводов и расширением частных фермерских хозяйств, лечением людей и обучением нового поколения. Но не эти люди задают тон общему настроению. Шум обычно создаёт огромная армия специалистов, обслуживающих большой бизнес – бесчисленные советники, лоббисты и сочинители реклам, торговые агенты всех мастей, работники аналитических центров и банковских отделов по спекуляции фондами, бодрые или картинно циничные ведущие телевизионных каналов и стойкие поставщики скандалов из индустрии развлечений. Велик и благороден их вклад в основной показатель экономического роста, за что прощаются им все грехи. О, бог свободного рынка, Валовой Национальный Продукт, увеличением которого мы привыкли мерить своё благополучие!

Но вот он вдруг перестал расти, а затем и вовсе стал опускаться – а мы и не заметили, потому что уровень жизни даже не вздрогнул. Но этого не может быть!

Может. Если этот идол растёт за счёт увеличения тюремных заключённых, дорожных происшествий и финансовых спекуляций; если я, украв автомобиль и продав его, увеличиваю национальный продукт; если его увеличила фармацевтическая компания, создав искусственный спрос на наркотики, который привёл к резкому росту продаж – и эпидемии смертей; если значительной его частью являются расходы на вооружение, которые никак не связаны с общественным благосостоянием, то сокращение его за счёт всех этих, по меньшей мере сомнительных показателей, вы вправе и не заметить.

Заметьте вы другое.

Вас вдруг освободили, например, от безостановочного, оупляющего частыми повторениями натиска рекламы, избежать которого было невозможно. У вас просто не оставалось иного выбора, кроме как привыкнуть к этому водопаду мусора, во имя того, чтобы получить доступ хоть к каким-то полезным сведениям. Это и есть та слабая человеческая струна – неутолимая жажда знаний, которой можно пользоваться, чтобы всучить нам что угодно. Вы утешали себя тем, что назойливый поток можно пропускать. Но и этот непрерывный процесс требует внимания, усилий и безвозвратно утраченного времени.

Когда сама возможность существования средств информации определяется необходимостью в рекламе, когда одна только реклама и обеспечивает финансовую основу этих средств, ошибка заложена в самом принципе. Если изъять лежащую в основе этого принципа жажду выкачивать деньги, широчайшая сеть радио- и телевизионных компаний, равно как и соответствующих печатных средств, сократится. Но ей и не нужно быть столь широкой – это ничто иное как ещё одна форма расточительного перепроизводства, не приносящего пользы никому, кроме той горстки, которая

ухитрилась оседлать рыночного конька. Заодно сильно сократится и количество макулатуры. И сохранятся в целости леса.

Представьте, что вас избавили от этого вечного карнавала. Кто-то из постоянных его зрителей может приуныть и даже испытать некое подобие абстинентного синдрома, но мы с тобой, брат мой, вздохнём с облегчением. А вскоре все обнаружат, что и радио, и телевидение предлагают несравненно больший объём сведений о мире и о нас самих, и вновь овладеют навыком узнавать новое и получать от этого удовольствие. За это стоит и заплатить.

Но как же быть парившему в небесах соседу, который неожиданно обнаружил себя среди нас с тобой и попробовал дышать нашим обычным свежим воздухом?

Если бы он взял на себя труд всерьёз задуматься о том, что определяло его бурную деятельность и энтузиазм, соседу постигло бы сильное недоумение. Потому что за всем организационным, аналитическим и финансовым размахом пряталось праздное удовольствие от рассматривания витрин в поисках чего-нибудь подходящего – ненужного, но привлекательного. И в этом он ничуть не отличался от самого рядового обывателя, его конечного клиента. Этой, искусственно созданной прослойке, на образование которой были истрачены огромные средства, избалованной и испорченной иллюзорным успехом, но внезапно утратившей одновременно и работу, и влияние, суждено оказаться перед выбором: переродиться или смириться с обманувшей судьбой, отчаяться и угаснуть.

Вот кто бессознательно распространяет истерическую волну протеста против поступательного движения прогресса. Вовсе не пресловутая «соль земли», якобы им отесняемая. Как и сто лет назад, этим труженикам не нужно было пугаться и сочинять поспешные и мрачные теории своего будущего. Пути для освоения ими новой действительности были открыты, как остаются они открытыми и сейчас. А то, что освоение это требует дополнительных усилий – так это всегда соответствовало самому движению и никогда не выходило за пределы человеческих возможностей.

Но вот подсознательный страх новой армии продавцов дождя вполне оправдан. Она была создана как выдуманная категория профессий, и подерживалась искусственно, потому что с самого начала не требовалась Бытию и не обладала жизненной силой. Рано или поздно ей предстоит быть Бытием отторгнутой, как лишний и вредный нарост.

Им придётся вновь освоить позабытую истину о том, что существование и привычный им избыточный стиль жизни – не одно и то же; что бурная их деятельность не приносит добра и даже пользы никому, и в конце концов не делает счастливыми их самих. Как раз средств-то, уже обрётённых ими за время захватывающего кликушества, может хватить на весьма долгий срок. Забота сместится к вопросу, чем им теперь заняться. А это вопрос, хоть и непростой, но очень важный. Может быть, самый важный из тех, что рано или поздно встают перед каждым. Но тогда лучше бы в поисках ответа на него человека не отвлекали ложные, унижающие его достоинство возможности.

* * *

Пощупав почву в Ассоциации промышленников, Экономическом совете, Комитетах Конгресса и не встретив сочувствия, совет директоров компании, встревоженный проектами новых законодательств настоял на встрече с Президентом.

Дэвид Бёрнс ждал протеста – это было не первым столкновением с разгневанными собственниками. Узнав, что директоров – одиннадцать, он собрал для противостояния собственную рать из двух дюжин советников. Он не сомневался в своих силах и правоте,

и нужны они ему были только для того, чтобы не создавалось ложного зрительного впечатления его единоличной власти. Любопытен свидетель стычки в «Нисе», оказавшись в этой комнате, где за огромным столом сидели друг против друга два неравночисленных отряда, не сумел бы спрятать улыбку. Но здешние бунтовщики не могли сравнивать себя с посетителями ресторана в Лордсвиле. Они были элитой и, как им хотелось думать, владели страной.

После уважительных взаимных приветствий и благодарностей Президент предложил Джудит Мерс, председателю Совета директоров Дженерал Пауэрс начать.

- Вы не собираетесь, я надеюсь, убить ЖиПи?

- Давайте спустим температуру. Вы имеете в виду – разорить? Нет, такое нам и в голову не приходило.

- Но именно это вы делаете.

- Поясните, пожалуйста.

- Вы лишаете нас операционных средств.

- Вы говорите о субсидиях? О предоставлении преимуществ?

- О сотрудничестве с правительством, о налогах, о рекламе...

- Значит, всё-таки о субсидиях. Зачем они вам? Вы не способны справиться с рынком?

- Рынок не существует сам по себе. Господин президент, уж вам-то известно, что мы живём в сложном мире, который требует координации усилий.

- Несомненно. И с кем вы координировали усилия, останавливая производство в Огайо и расширяя его в Мексике?

- Но это же простая производственная стратегия! Мелочь. Чисто внутреннее дело. Модель перестала продаваться. Такие ошибки в расчётах неизбежны – это могут вам сказать все крупные производители.

- А почему вы уверены, что за вашу ошибку должны расплачиваться другие?

- Я не понимаю – вы предлагаете сократить производство?

Бернс покачал головой и, не ответив, повернулся к старшему экономисту Белого Дома Оливеру Пенсу.

- Если у вас нет другого способа свести концы с концами... – медленно проговорил Пенс.

- Но вы представляете себе, скольких рабочих мест вы лишитесь?

- Кто-то сократит производство, кто-то его увеличит. Рабочие места не пропадут.

- Кто же это его увеличит?

- Пока – Хонда или Тойота, у них есть здесь заводы. А потом и отечественные производители появятся. Сейчас это можно делать быстрее, чем прежде. Или Форд, например.

- То есть, вы хотите отдать предпочтение иностранцам? Или Форду?

- Нет, нет, - снова взял инициативу в свои руки Бернс. - С Фордом у нас уже был примерно такой же разговор. Но в вашем представлении речь идёт о каком-то нейтральном, никому не принадлежащем географическом пространстве и номинальной, безликой рабочей силе, которыми вы оперируете, исходя из своих внутренних деловых потребностей. Что если мы посмотрим на ситуацию в иной перспективе. В самом начале вашего роста вы не были ещё гигантской, глобальной компанией и не располагали нынешними ресурсами, а корпоративный налог составлял около 50 процентов. Вы, естественно, ворчали, но никому не приходило в голову впасть по этому поводу в панику. Эти деньги позволяли местным властям, где находились ваши заводы, поднимать

общественное благосостояние, а вам их отсутствие не мешало развиваться. Правительство, таким образом, избавляло вас от хлопот по координации ваших отношений с обществом. С тех пор налог этот непрерывно снижался, как бы предполагая, что вы будете взрослеть, осознавать свою ответственность и постепенно принимать всё большее самостоятельное участие в жизни общины, где живёте. Какую часть этих, отданных вам государством денег вы расходовали на благоустройство своих соседей? Охотно принимая это финансовое послабление от правительства, вы не только не повзрослели, но впали в ребяческую эйфорию и вообще перестали замечать, где живёте. Сейчас ваш корпоративный налог составляет около 20 процентов – меньше половины прежнего, и вы с лёгкостью бросаете соседей на произвол судьбы, нисколько не задумываясь о том, чем им это грозит. Позвольте теперь повторить вопрос: с кем вы координируете свои решения в нашем «сложном мире»? Он сложен, да. Но запутанность экономической реальности – лишь небольшая часть этого мира. А ваш способ справляться с этой сложностью – не единственно возможный и, как мы убедились, не самый лучший. И даже не пробуйте говорить о вашей заслуге в предоставлении им рабочих мест. Их заслуга столь же велика, без этих рабочих никакое ваше производство – как и ваши доходы – были бы невозможны.

- В общем, вы готовы задушить ДжиПи. Не забывайте только, что мы – символ американской автопромышленности. Вы посягаете на экономику страны.

- Да, символ, - отозвался профессор Стэнфордского университета, самый старший среди присутствующих, восьмидесятилетний Алан Бродски. - Какими в своё время были ПанАм и Ти Даблю Эй. Символы, но не сама американская индустрия гражданской авиации. Как и вы – ещё не вся автоиндустрия. Возможно Америка прольёт слезу, утратив возможность гордиться славой Джeneral Пауэрс. Но существенного урона экономике это не нанесёт. И почему мы говорим об удушении? Никто не покушается на богатство ваших акционеров. Речь идёт о том, что прибыль временно сократится – вы продолжите обогащаться, хотя и не столь стремительно, пока не освоитесь с новыми условиями и не отыщете способа поднять доходы на прежний уровень, в соответствии со здоровыми законами капиталистической экономики. Ваша реклама помогает вам увеличить прибыль, но мы и не лишаем вас этой возможности, мы хотим только, чтобы она не приносила вам прибыли дополнительной. Именно поэтому мы предлагаем вам исключить расходы на рекламу, как льготу, из вашей налоговой декларации. Мы тут все привыкли с цифрами работать. Ну вот давайте я вам цифры нвзову. Всего 20-процентный налог на эти расходы добавит в государственный бюджет 31 миллиард долларов ежегодно. И я уж не говорю о перепроизводстве самой рекламы, которая лишается практического смысла. Сколько раз в течение трёхминутного перерыва можно смотреть одну и ту же рекламу, которая всё чаще повторяется дважды подряд? Я подозреваю, что вам самим её смотреть унижительно. Но вы не стесняетесь унижать остальных, потому что вам это ничего не стоит.

И точно так же мы предлагаем вам устоять на ногах без ничем не оправданных и не совсем понятно, на что расходующихся автоматических государственных субсидий. А если обсуждается вопрос о повышении корпоративных налогов, то мы лишь возвращаемся в относительно недалёкое прошлое. Это просто вежливый намёк на то, что вы всё-таки живёте среди людей и, как и всем нам, вам следует набираться мудрости, брать на себя чуть больше ответственности за страну – и за её экономику. Страна по-прежнему верит своему символу и очень надеется, что ДжиПи сумеет справиться с основополагающими принципами разумного капитализма и равноправного рынка. Если же такие условия вам

не под силу, и ваше место займут более способные в честной конкуренции компании – мы от всей души посочувствуем вам, но страна без вас не пропадёт.

- Вы отдаёте себе отчёт, что, в сущности, вынуждаете нас перенести производство за границу? – не выдержал один из директоров, видимо решив, что их предводительнице необходима жёсткая мужская поддержка. - У нас и так там сто семьдесят тысяч рабочих – в три раза больше чем здесь.

Два- три представителя президентской стороны не удержались от смеха, но Бёрнс остановил их, предостерегающе подняв руку.

- Несколько патетический аргумент, вам не кажется? В конце концов, это ваше дело – где вам лучше работать. Не знаю, как долго вам удастся в таком случае сохранить образ американской компании. Символа, национальной экономики... А теперь позвольте мне обратиться к конкретной и насущной проблеме. До сих пор я с некоторым сожалением излагал обстоятельства, которые вам без сомнения известны, и повторяю которые в нормальных условиях было бы унижительно для интеллекта всех присутствующих. Пусть это будет свидетельством терпения и доброй воли. Независимо от того, к какому решению придёт ваш совет, было бы разумным и справедливым включить в ваши текущие расходы компенсацию общинам, где вы прекращаете производство. Это поможет им восстановить уровень жизни в переходный период и уверенность в будущем. Для вас же это станет первым и без сомнения благотворным шагом в сторону новой действительности. Размеры компенсации вы сможете обсудить с местными властями. И, пожалуйста – без обид. Все претензии к ДжиПи остаются в прошлом. Но условия изменились. Хотите работать вместе во славу Америки и во имя взаимного процветания – будем счастливы сотрудничать. И – на самом деле «координировать усилия».

- Я прошу прощения у вас, господин президент, и у ваших уважаемых советников, - вновь взяла на себя инициативу Джудит Мерс, - но мы продолжаем считать, что право – на нашей стороне. И я знаю, что нашу точку зрения разделяет вся корпоративная Америка. Видимо, нет другого выбора, кроме обращения к закону. Так что, увидимся в суде.

- Такая возможность у вас всё ещё остаётся, - ответил Бёрнс, улыбнувшись, - Благодарю всех за необходимую и, я надеюсь, полезную встречу.

22. Близость – это....

Джулия выглядела спокойной. Насторожённость её проявлялась только в том, что она некоторое время откладывала вопрос, ответ на который не решалась услышать. Она расспрашивала о поездке, Ник охотно рассказывал.

Они встретились в её огромной квартире в Чеве Чейс, куда она пригласила Николаса, как только он сообщил ей о своём возвращении.

- В конце концов я не удержался – так поворачивался разговор, что я не мог не упомянуть о записках Мелвина, и Франциск очень заинтересовался. А я ему сказал, что вы сами их ему и привезёте. Он ждёт.

- Ну вот ещё! С какой стати? Кто я такая, чтобы с Папой Римским встречаться?

- Он сказал бы, что у вас больше оснований, чем у кого бы то ни было.

Они сидели на противоположных сторонах большого круглого стола, и её узкие ладони разглаживали зелёную китайскую салфетку на полированной тёмной поверхности.

- Вы знали об этих записках?

- Нет. Я теперь думаю, что в этом и была беда. Он как будто боялся этих своих мыслей. Ушёл с ними куда-то далеко. Один. Не знаю, когда это началось. И не совсем им доверял, потому и делиться ими не хотел. Запутался, я догадываюсь. Опоздал... Если бы я знала, мне кажется, сумела бы его отвлечь.

- Всё, что он пишет, довольно глубоко. Но никаких мрачных сил я там не разглядел. Разве что он встретился с чем-то, о чём решил не упоминать... Почему я и думаю, что вам стоит с Франциском повидаться. Он всё-таки что-то знает об этом.

- Нет уж, пусть лучше он меня посетит. Я бы, пожалуй, смогла научить его паре вещей...

Она встала и отошла к окну.

- Он охотно учится... но опасаться тут нечего. Он человек довольно скромный. Если и станет спрашивать, то не больше, чем вы ему позволите.

- Никаких у меня ответов нет. Знаешь, у него иногда появлялся тик, - она незаметно перешла на «ты», и это оказалось самой естественной вещью на свете, - Смешной – на долю секунды брови поднимались уголком, как у Пьеро. Такая тень грусти мимолётная. И повторяется несколько раз... Я заметила не сразу, потом спрашивала его: откуда это. Он не знал. Кажется не знал даже, что это происходит, удивился. Пробовал наблюдать за собой. Но тогда тик исчезал. Приходил непроизвольно, и никогда нельзя было понять отчего... Я очень испугалась за него. Что бы там с ним ни произошло до того, потом он должен был попасть в совершенно кошмарный переплёт. Намного страшнее, чем любая беда. И я не знаю, как ему помочь.

Николас подавляет в себе желание подняться и подойти к ней.

- И никак не ощущаешь его присутствие?

- Я бы хотела... Но он не посмеет. А я хотела бы, чтобы он узнал, что конечно лучше бы не совершать таких зверств, но раз уж совершил, то не мне быть его судьёй. Не для того мы встретились, чтобы обвинять друг друга... Другие заботы у нас были и другие радости. Вот это меня мучает больше всего. Ему должно быть очень тяжело сейчас. Может быть тяжелее, чем всем нам. И я хочу ему помочь, как мы всегда помогали друг другу. Ты ведь не думаешь, что они просто исчезли, перестали существовать?

- Джул, что бы мы ни думали, мы думаем отсюда.

- Это-то я понимаю очень хорошо. Но что же нам делать? Я знаю одно – наши отношения должны продолжаться, и совершенно не представляю себе, что это за отношения. Думаешь твой поп знает что-нибудь об этом?

Она вернулась к столу.

- Скорее всего, нет. Один чужак, который тоже через всё это прошёл, говорит, что такое знание приходит как смех, тихий смех, звучащий ниоткуда. Наверно, у них есть основания над нами смеяться. Или приглашать нас посмеяться вместе с ними... А может быть, этот поп и знает. Меня, по крайней мере, встреча освободила от страха пройтись по Риму – чего я никак не мог себе позволить прежде.

- И как? Удалось посмеяться? Над страхом своим?

- Нет, ничего смешного. Но и страшного ничего не оказалось тоже.

- Ну, пусть хоть так. В том и беда, что нам не до смеху. Хочешь выпить чего-нибудь?

- Граппы?

- Можно граппы. Подожди, оливки принесу.

Ни на что не похожее чувство свободы в общении с ней отдалённо напоминало ему читанную некогда притчу, и он пытался восстановить её подробности...

Джулия вернулась с подносом, на котором были маслины, тарелка с сыром и две бутылки.

- Любишь граппу?

- Да, старые итальянские дела... А это что?

- Порт. Дела амстердамские...

- Стоит однажды попасть на остров, где многие поколения ясновидящих постепенно разучились говорить, потому что без слов понимают друг друга полнее и глубже, и пожить среди них, чтобы ощутить в полной мере, что это значит. Сначала можно и испугаться, когда обнаружишь, что весь ты у них как на ладони, вместе со своими случайными, глупыми и уродливыми мыслями, пока не поймёшь, что они знают цену этим глупостям и не останавливаются на них, принимают тебя целиком, каков ты есть. А потом, освоившись в этой полновзвучной и восхитительной тишине, вернуться в говорящий мир, где, пожалуй, и жить больше не захочется. Пока нам даётся только один способ испытать такое. Да и то не всем. Есть, правда, суррогат. Говорят, исповедь приближает к этому ощущению полной обнажённости, открытости. Но ведь речь всё-таки идёт о взаимной открытости... Человек, который сочинил эту историю утверждает, что когда-нибудь бездна между душой и душой будет преодолимой. Наверно всем нам предстоит стать ясновидящими.

- Мне казалось, я была... И он. Потом чего-то очень испугался.

- Не надо, Джул, не мучай себя. Ты ведь говоришь, что хочешь ему помочь...

Оставайся ясновидящей. Сколько сможешь.

- А ты?

- Я старался... Но это другой случай. Видимо, когда они уходят – они уходят. С какого-то момента они начинают видеть то, что нам недоступно, и им становится не до нас. Мы остаёмся...

- Хорошо, я согласна. Поедешь со мной?

- Нет. Это было в последний раз. Страх пропал, Италия меня больше не отталкивает, но мне там просто нечего делать. А ты справишься и без меня, за нас обоих. Буду ждать твоего возвращения.

Николас налил себе вторую рюмку.

- Что же это всё-таки? То, что он написал?

- Да ты знаешь. Я читал и иногда не мог понять, где кончаются его размышления и начинаются мои. И наоборот. Наверно это мне надо было раньше появиться... Во-время.

- Нет. Ты появился, когда надо. Не знаю, что всё это значит. Может, он всё ещё как-то этим управляет...

- Я начал рассказывать об острове... Женщины все были там очень милостивы, и он влюблялся в каждую. Они улыбались и доброжелательно объясняли ему, что это не любовь, а нежная дружба. А он, переполненный чувствами, изумлялся: если это ещё не любовь, какова же она – настоящая? И однажды он обратил внимание на странную реакцию всех присутствовавших женщин, которые стали переглядываться, и глаза их увлажнились. Это случилось при одном из его новых знакомств, и они первыми узнали, что наконец встретились истинно влюблённые. Потом он и сам почувствовал, в чём разница. И будущие отношения их омрачались только тем, что он не в состоянии был испытывать то же блаженство открытости, которое было доступно ей – ей не удавалось передать ему всю свою любовь... Он-то не был ясновидящим. Но до таких сложностей нам далеко.

- Жили долго и счастливо, и умерли в один день?

- Его унесло в лодке. Случайность. Там такие течения были, что с ними не совладаешь. Потому этих островитян никто и не беспокоил так долго. Пришлось ему вернуться к нам, остальным. Вот этого он уже вынести не смог. Может быть, не столько самой разлуки, сколько говорящего мира...

- Да, не получается.... Боже, как я была счастлива с ним...

Джулия облокотилась на стол и спрятала лицо в ладонях. Она плакала беззвучно, и Ник вновь удержал себя от того, чтобы к ней подойти.

- Есть одно место в записках... Оно стоит отдельно, как будто возникает ниоткуда. Он там цитирует Джеймса Хиллмана – был такой психолог – а у него есть среди прочих эта догадка: «Если мы обнаружим, что душа и Бог находятся в темноте, внутри, то следует учитывать вероятность того, что путешествие будет опасным». Это единственный намёк. Я тебе ещё не рассказал... У Франциска возникла идея привести рукопись в порядок – то есть, если она произведёт на него впечатление – и обнародовать её в какой-то форме под своим покровительством. Впечатление она произведёт, в этом я не сомневаюсь. Но смирится ли он со всякими еретическими идеями... Кто знает... Он очень не простой человек. А вот тогда муки его, о которых ты догадываешься, должны кончиться наверно. Я надеюсь, и тебе тоже полегчает...

- Ты не бойся. Я всё поняла про нежную дружбу. Я чувствую то же самое. Просто трудно поверить, чтобы нам с тобой так повезло. Надо же. Откуда ты взялся...

- А ты?

- Слишком много совпадений.

- Да я не знаю. Франциск тоже говорил что-то о времени совпадений. Но это не очень интересно. По крайней мере, это ничего не объясняет. Что мир един? Что всё в нём более или менее связано, хотя причины этих связей нам неизвестны? Так это известно и без внешних подтверждений. Ну, совпадение и совпадение. Гораздо интереснее – что благодаря такому совпадению узнаешь.

- Иди теперь. Скоро дети вернутся, и от них не спрячешься, а понять всё это они не ещё не в состоянии. Придётся мне как следует поработать. Ты ведь не сбежишь? И не убьёшь себя?

- Нет. Теперь, пожалуй, нет.

Николас наконец поднялся, но она подошла к нему сама, и они обнялись. Потом он поцеловал её руку, а она, не отпустив, поцеловала руку ему.

- Папский визит репетируешь?

Они смотрели друг на друга и улыбались.

23. Зверей в вольере много.

Николас послал Президенту отчёт о беседе с первосвященником, полагая, что этого будет достаточно, и оказался прав. Он упомянул обо всех подробностях состоявшегося разговора, умолчав лишь о том, что касалось Мелвина Рида и его записок, изложив, впрочем, некоторые практические его соображения, которые касались расизма. И не мог избавиться от чувства неловкости – в голову неизбежно приходили образы эпохи просвещённых монархов.

Получив в ответ выражение самой горячей благодарности, он не предполагал услышать о каких-либо последствиях своего визита в Рим. Однако, вскоре стали просачиваться подробности о некоем новом повороте в развитии событий.

Даже самые отчаянные и радикальные умы ни на одном этапе не думали об идее уединения, как о шантаже и, тем более – ультиматуме. Страна рассталась с манией величия и не стремилась распространять найденные ею ответы на весь мир. Хотелось сначала убедиться в своей правоте, предприняв некий эксперимент, с облегчением сбросив с себя хлопоты о мировом устройстве.

Следует ли предполагать, что мир в целом оказался умнее и дальновиднее, или разгулявшееся воображение разбудило совесть, но забот неожиданно прибавилось. В любом случае, мир справедливо напомнил о сохранившейся в веках истине: человеку не подобает спасаться в одиночку. Если ты нашёл дорогу – придётся позаботиться о том, чтобы вывести из чащи остальных, хотя бы тебе и не терпелось побыстрее выбраться самому.

Только тогда возник вопрос об условиях и о том, что придётся убедить всех в необходимости их принять.

Преимущество или убедительная сила заключались в том, что действиями своими страна, по существу, отказывалась от преимуществ. Проверив и перепроверив свои наблюдения, государство объявило об условиях.

Разрушительную экономическую практику, к которой стремились корпорации, с некоторых пор помогали проводить в жизнь три всемирных органа – Международный Валютный Фонд, Мировой Банк и относительно юная Всемирная Торговая Организация. Именно они диктовали условия рынка, ограничивали суверенитет государств, распоряжались финансовыми потоками и, в сущности, разоряли малые страны, а правительства крупных подчиняли корпоративным интересам. Порочная практика была заложена в самой структуре этих организаций, постепенно превратившихся в мировое правительство, и они не подлежали реформированию. Их предлагалось распустить, передав их полномочия в ведение Экономического Совета ООН, как это, собственно, и предполагалось при самом их возникновении. Лишь тогда можно было бы обсуждать новые пути сотрудничества между нациями и разумные способы согласования общих усилий.

И вновь страна не требовала для себя никаких особых прав в этом новом мировом порядке, выполняя, тем временем, свои обязательства и внося свой долг в решение общих проблем. Теперь дело было за остальными.

А затем в поле зрения вдвинулась ещё одна тень, сразу заслонившая все остальные. О ней поспешил предупредить Пентагон.

Военные стратеги охотно приняли отказ от активного вмешательства, но предлагали взглянуть на ситуацию в иной перспективе, которая им была известна лучше всех. Они первыми и самым непосредственным образом испытывали давление внешних и враждебных сил. Речь шла о сдерживании этого давления в нескольких точках земного шара, где вакуум, образованный отсутствием американских вооружённых сил, мгновенно заполнился бы силами противостоящими – с плачевными последствиями для населения этих нейтральных или неустроенных государств. Такое могло произойти ещё до образования новых союзов и размещения новых сдерживающих средств. Тут следовало говорить уже не о выходе из лесной чащи, а спасении от опустошительного лесного пожара.

Допустим, можно было бы пренебречь опасностью такого поворота для самой страны, отделённой от этих точек океанами. Но где искать моральных оснований для такого пренебрежения судьбой других стран? Агрессивные мировые игроки

существовали, и с этим нужно было считаться, иногда прибегая к вынужденной жёсткости.

Идея изоляции обростала реальными чертами, но вместо радикальной мечты становилась тактическим инструментом. Увлечение экономической глобализацией постепенно утрачивало характер массового психоза, а его организационные механизмы исподволь подталкивали мировое сообщество к некоторой форме всеобщего референдума по примеру одного решительного государства, где такой эксперимент благополучно совершился. Но мир – не государство. К нему нельзя даже обратиться одновременно.

* * *

Сны снились редко, были короткими, иногда загадочными, то такого отвратительного кошмара он никак не ожидал. Событий не было, были перетекающие из одного в другой тягостные образы.

Человек прижат к земле чудовищем, о размерах которого он судит, как может судить о размерах слона блоха, сидящая у него на хвосте. Целым видом или отдельным племенем, малым сообществом или персонально, он противостоит той же образине, не имеющей лица и формы, выпестованной его собственными усилиями и беспредельно разросшейся. Он делает вид, что управляет ею, тогда как на самом деле пользуется объедками с её стола. Она его и не замечает. И слава Богу. Не приведи судьба попасться ей на глаза! Не нужно сверхталантливых машин, искусственного разума и даже чьей-либо злой воли – всё это уже свелось воедино в гигантском, свинцовой тяжести коме, который катается по поверхности земли с востока на запад, с юга на север...

Между тем, практически формы обретает новая идея. У людей начинает возникать некоторое взаимопонимание, злонамеренные порывы поддаются укрощению, предполагаемая угроза понемногу ослабевает. Но откуда же возникает это ощущение, что несмотря на обилие драматических событий, в действительности ничего не происходит?

Нарушая все мыслимые природные законы, маятник старых дедушкиных часов продолжает раскачиваться, однако скрытые внутри гигантские шестерни мироздания замерли в неподвижности. События кажутся новыми и вытекают одно из другого, но заволоклись какой-то плёнкой усталости, и становится очевидным, что всё это уже было, что повторяясь с некоторыми новыми оттенками, события по существу остаются теми же самыми. Всё реже подёргиваясь отдельными конечностями, без всякого смысла и последовательности, земля застывает в ожидании, как бы говоря своим обитателям: «Вы испробовали все варианты, пришедшие в голову, и они не приносят вам ни счастья, ни покоя. Сообразите же, наконец – чего вы на самом деле хотите. И до тех пор я отказываюсь вам помогать».

Под это беззвучное качание маятника без ободряющего «тик-так», ни одна душа не находит сил возразить.

Уединиться... Но это и есть голос уединения, голос одиночества и пустоты. Только поэтому, может быть, в нём ещё не вся правда. И надо уходить ещё дальше, туда, где нет уже ни чудовищ, ни житейской сметливости, ни самой пустоты. Где не от чего больше уединиться...

Сон был тяжёлым и ушёл, не разрешившись.

Впечатления от последней встречи с Джулией, не позволяли толковать этот кошмар, как отражение собственной подавленности. Не иначе как безутешная тень её возлюбленного продолжала твердить, что успокаиваться рано.

Пытаясь соотнести это наваждение с реальностью, он вспоминал о своих студентах, которые вот-вот сами его спросят: а что следует за катарсисом? Что является собой эта «связь времён», которую необходимо восстанавливать?

Не надо бы спрашивать об этом у него. Нельзя просить у Мироздания заплатить вперёд за наше согласие жить, требовать у него заранее обеспечить ценность наших усилий. Постигание высшего смысла не может быть единственным условием деятельного существования, как и отсутствие его – причиной для резиньяции. Да и уединение – не способ отыскать этот смысл. Скорее всего прав Мелвин Рид – это слишком лёгкий выход, средство спастись от усталости, от тяжкого труда человеческого общения. Молчание в ответ на справедливый вопрос отказавшегося с тобой сотрудничать мироздания. Однако, разделившись с этим заблуждением, он нырнул гораздо глубже, воистину туда, где нет вовсе ничего.

Заинтересовавшись цитатой Хиллмана, о котором он мало что знал, Николас решил взглянуть на работы психолога. И нашёл несколько трудов о самоубийстве и об исследовании тёмных сторон души. Одно из его наблюдений вдруг сомкнулось с историей самого Рида.

Человек рождается гением, но оказавшись в плотной среде, которая не предусматривает гениальности и жёстко отвергает её, не успевает прислушаться к внутреннему голосу. Когда же этот голос всё-таки оказывается услышанным, становится слишком поздно. Если чуть внимательнее отнестись к некоторым словам, намёк на это отчасти скрыт в посмертной записке. Он говорил об определённой области в технологии, но может быть имел в виду всю свою жизнь.

Казалось бы, такое открытие не может быть разрушительным, должно прибавить сил, а не лишить их. Но что если вместе с ним родилось острое чувство греховности, если поймёшь, что всю прожитую половину жизни увлечённо и продуктивно заводил человечество в тупик? Раньше можно было предпринять что-нибудь экстравагантное, вроде ухода в монастырь или обета молчания. Хотя в отношении близких это значит подвергнуть ни в чём неповинных тяжкому испытанию, которое несколько не страшнее простого исчезновения. А если жизнь твоя оказалась моделью всего порочного общественного развития, первый приговор приходится выносить себе самому. И уж конечно поделиться этим ни с кем невозможно. Даже в самом конце он не назвал настоящую причину, потому что речь шла не о нём одном, а тянуть за собой кого-то ещё он был не в праве.

Это новое «потерянное поколение» пожалуй опередило в интенсивности переживаний своих предшественников. Возможно, это и была та неведомая тёмная сила, которая даёт о себе знать, в периоды настоящего кризиса, когда приоткрываются потайные двери Бытия. Когда человек понимает, что прожил чужую жизнь, и ему открылась его собственная, ещё не прожитая, но у него уже нет сил и времени её начать.

Нужно ли рассказывать об этом Джулии? Она унесёт из этой воображаемой, не подтверждённой версии, обиду, которую ей удавалось до сих пор преодолевать, или преувеличенную вину за то, в чём она никак не могла быть виноватой, и растворение счастливой памяти. Та ли это ясность, которая принесёт покой её душе?

С другой стороны, она имеет право всё знать о своём избраннике. Это она заслужила своей любовью. Она не ошибалась в нём. К несчастью, не все пути нам

известны, и мы не настолько совершенны, чтобы уметь их исправлять. Не мы выбираем, кого нам любить. И редко кому выпадает благословенная судьба Филемона и Бавкиды.

Чтобы не совершить ошибки, Ник решил удержаться догадки при себе, если только не появится вдруг ещё какой-то знак.

24. Дети взрослеют.

Ему и в голову не могло прийти, что этих двух связывают какие-то особые отношения, кроме совместного участия в его семинарах. Студенты не отличались церемонностью в проявлении взаимных чувств, и Ник легко мог бы догадаться, кого с кем в его аудитории объединяют романтические пристрастия.

Но Чарли был несколько отстранён от остальных и во многих других отношениях. Он держался со всеми свободно и непринуждённо, однако ни у кого не было сомнений в том, что он несёт на плечах какое-то дополнительное бремя, о котором по негласному уговору не принято было упоминать. А Сюзан была достаточно женщиной, чтобы удержаться от проявления односторонних знаков внимания своему избраннику.

И вот они оба попросили у него о встрече и теперь стояли в дверях его дома, пренебрегая обычными приветствиями, собранные и серьёзные.

Николас усадил их за кухонный стол, терпеливо принял отказ от горячих или холодных напитков и сам молчал, поддавшись торжественному настроению гостей.

- Я начну первой, - сказала наконец девушка.

Юноша глубоко вздохнул.

- Я оставляю учёбу. Иду работать менеджером к Эндрю МакГрату и Пат Холман. Я хотела стать учительницей. Мне казалось, это важно – готовить детей к жизни, а не к работе. А сейчас поняла, что пока есть Пат, ничего не может быть важнее, чем обеспечить ей доступ к как можно большему числу зрителей.

- Сюзан, вы пришли поставить меня в известность или у вас остаются сомнения и вы хотите посоветоваться?

- Нет, сомнений у меня нет. Но... Как-то это пока висит в воздухе, пока я не услышу, что вы об этом думаете.

- Не очень думается, когда новость и огорчает, и радует одновременно. Я готов от всего сердца поддержать ваше решение. Я может быть сам такое искушение пережил. Но у меня на это уже сил наверно не хватит, да и не приспособлен я к такой работе. Вам нужно только как следует подумать вот о чём. Вы отдаёте свою жизнь в чужие руки – это руки достойные, почти божественные, но они не вечны. По существу, вы берёте разделить судьбу Пат и других, подобных ей. Мало кто по своей воле решил бы это сделать...

- Именно. Потому у меня и сомнений нет.

- Хорошо, хорошо... Вам всего двадцать лет. Что вы станете делать, когда Пат и Эндрю больше не будет?

- Будет кто-то ещё.

- И если нет?

- Не знаю. Уйду вместе с ними. Мне всё равно.

Ну что ж, кажется душа этой девочки мудрее её возраста. Николас слышит дуновение той самой стихии, неизменно сопутствующей актрисе, труд которой безусловен, как звёздная россыпь в ночной мгле, как слоистый туман над водой в

предрассветный час, как восход солнца. У него, с его замысловатыми фантазиями по поводу чужих трудов, нет права будить в ней разочарования. Он, может быть яснее, чем она сейчас, видит её возможное будущее отчаяние, но таков жребий их всех. И нам, остальным доступна лишь печаль свидетелей. Кажется, о похожем чувстве говорил и Фрэнсис...

- Ну что ж, Сюзан, тогда мне остаётся только позавидовать. Было наслаждением работать с вами, и я уверен, что вы стали бы замечательным педагогом. Может быть, когда-нибудь ещё вернётесь к этой идее. Расставание удручает. Надеюсь, не наши семинары подтолкнули вас к решению. Такого драматического результата я, признаться, не ждал.

- А вы не надейтесь. У вас может быть тоже есть своя роль во всём этом. И не говорите мне, что вам не хотелось бы её играть. Я, по крайней мере, благодарна судьбе, которая привела меня и к вам, и к Патрише. Другой я себе и не желала. И не думаю, что мы расстаёмся – вы же с Пат не расстаётесь.

- Вы пришли вдвоём... У Чарли тоже есть что сказать по этому поводу?

- Не совсем по этому, профессор. Сюзан, конечно, отчаянная голова, но я её понимаю и нисколько не сомневаюсь, что она права. У меня-то совсем другие заботы, хотя... Одно от другого тоже не оторвёшь. Я даже не знаю, чего, собственно, жду от вас. Моя виза кончается через пять месяцев. Планы вашего правительства мне неизвестны, но если это разъединение случится вскоре, новой визы мне не дадут. До диплома мне ещё два года. А вернуться мне придётся в Пхеньян – это моя родина. Что означает – конец биологии, Сюзан, вообще всему.

Взглянув на девушку, Ник увидел, что эта подробность, наверняка неизвестная их сокурсникам, для неё не секрет. Он знал, какими обязанностями наделяло своих зарубежных студентов правительство Северной Кореи – все они вынуждены были становиться агентами, собиравшими полезную режиму информацию о враге, и регулярно отчитываться перед представителями своей страны в ООН. Но это была ещё «мягкая» информация, касающаяся настроений и культурных особенностей. Чтобы, скажем, получить работу в Америке, специалисту из Пхеньяна надо было стать настоящим шпионом и несомненно попасть в сферу внимания ФБР, что очевидно исключало такую возможность, если кореец не порывал связи с родиной и не становился политическим беженцем.

Чарли без обиняков открыл своё происхождение профессору, и не попросил не разглашать его. Это свидетельствовало о каком-то безусловном доверии и требовало ответной откровенности.

- Договаривай до конца, Чу, - сказала Сюзан, отвернувшись от обоих.

- Выбор невелик. Всё потерять или стать невозвращенцем.

- Ваши родители живы?

- Да. И как вы можете догадаться, они не рядовые граждане. Очень на виду. Но они всё обо мне знают и, в общем-то, дали мне своё благословение, что бы я ни решил. Просили о них не беспокоиться. Это само по себе причина, по которой нужно было бы всё бросить и от всего отказаться.

- Хорошо, Чарли. Для начала давайте немножко ослабим напряжение. У меня есть основания полагать, что нет необходимости принимать решение в ближайшие дни. Я не могу вам этого сказать с полной уверенностью, но даже сам вопрос об изоляции ещё не решён. А теперь скажите мне вот что: допустим кризис отложен, и вы благополучно получаете диплом. Что вы намерены делать дальше? Вы – биолог?

- Да нет, он не просто биолог, - Сюзан возвращается к разговору. – Он знает что-то, что нам всем позарез нужно сейчас. Что может избавить нас от этого генетического и микробиологического маразма.

- Подожди, Сю. Это не совсем так. И это не самое главное.

- Главное или не главное, но в Северной Корее тебе с этим делать будет нечего.

- То есть, всё равно встанет вопрос об эмиграции? – уточнил Николас.

- Ну, в общем да, конечно. В крайнем случае – в Сеул. Но кто может знать, что случится через два года? Вдруг двух Корей уже не будет. А вы серьёзно считаете, что границы могут и не закрыть?

- Знать я этого не могу. Но, кажется многие начинают понимать, что это идея чрезмерная и лишняя. Утешит вас, если я скажу, что слышал такие слова от Дэвида Бёрнса? Но вот уж это должно остаться между нами.

«А чего мне, собственно, бояться? – думает Ник, - Судя по всему, этому мальчишке самому скоро придётся работать с друзьями Маркуса, а то и с президентом».

- Так что время, я думаю, у вас ещё есть, чтобы как следует, не торопясь всё обдумать. Что же касается самой по себе эмиграции – это, скажу я вам, вопрос особый и тоже совсем не простой. Но и не фатальный. Как-нибудь мы сможем поговорить и об этом. И о биологии, кстати. Вы меня очень заинтриговали. Может всё-таки выпьете по чашке кофе? Или чаю? Когда вы бросаете занятия, Сюзан?

- Через месяц. Они уезжают в Сизтл.

- Стало быть, я вас увижу ещё.

- Не сомневайтесь. У меня тоже есть что сказать о «Чуме». И о карантине.

Николас отправляется к плите.

* * *

В преобладающем большинстве случаев реклама выглядит глупо и пошло. Такова уж её низменная природа. Но как и в любом занятии её творцу время от времени самому становится скучно. Он вдруг покидает границы вымученного остроумия и отупляющих клише и выбегает на свежий воздух чистой фантазии. Рождающийся в этом случае сюжет интересен уже тем, что не сразу понятно, что, собственно становится целью рекламы.

- Что тебе больше нравится – есть в ресторане или брать заказ с собой? – спрашивает один приятель другого в МакДоналдсе.

- Что за вопрос? – недоумевает другой, - Когда – как.

- А я люблю заказать еду на вынос, а потом остаться и съесть её здесь.

- Почему?

- Так интереснее.

Этот дурацкий клип внезапно всплыл в памяти, когда, проводив ребят, Николас стал перебирать упомянутые Чарли обстоятельства его личной жизни. За сдержанным рассказом юноши стояла настоящая опасность, грозящая его родителям – Ник знал из первых рук, как диктаторский режим расправляется с родственниками изменника родины. Мальчику предстояло принимать решение, которое не поддавалось выбору. Но кто-то брал на себя труд перед таким выбором его поставить.

Кто?

Он сам полчаса назад уверенно говорил о том, что вопрос изоляции ещё не решён, он касался этой темы в беседах с друзьями, с президентом и с Папой Римским, но где и кем было заявлено, что такой вопрос поставлен? Он как будто соткался из воздуха, из

догадок, намёков и предположений и стал само собой разумеющимся, подобно теории заговора. Образ уединения зрел и переливался то мифическими, то медицинскими, то нравственными красками, и люди охотно перескочили к обсуждению последствий такого разрыва, как будто приход его был уже неизбежен.

Но явными были пока только практические усилия освободиться от корпоративной зависимости – и международной, и внутренней, настойчиво осуществляемые правительством. Кто и когда сказал, что страна стремится к полной изоляции?

У этой шарады был, однако, глубокий смысл, потому что человек стал задумываться о вещах, которые раньше не приходили ему в голову, и которые, возможно, помогали ему осваивать действительность, до сей поры не поддававшуюся освоению.

* * *

Утром он заехал за детьми Джулии, и они отправились её встречать в аэропорт. Кейси было четырнадцать, Юджину шестнадцать. Он познакомился с обоими ещё до поездки их матери в Италию, когда сопровождал их всех на спектакль Патриши Холман, куда Джулия охотно согласилась пойти. Актриса, как видно, произвела сильное впечатление и на детей, и это сразу отразилось на отношениях с ними. Не то чтобы он приобрёл их расположение, но насторожённость исчезла без следа.

Он отвёз их домой и отправился на очередной двухчасовой семинар, пообещав заглянуть вечером.

- Я хочу поблагодарить тебя за то, что заставил меня поехать. Не обижайся, я всё рассказывать не стану. Это – между ним и мной.

- Что ж тут обижаться. Так и должно быть.

- В общем, я отдала ему рукопись, а на следующее утро за завтраком он сам подошёл. Не знаю уж, что он там затевает, но очень просил оставить. Я думаю, он ещё и тебя привлечёт, так мне кажется. Он тебя запомнил. А я, между прочим, не всё тебе показала... Не хотела уж очень навязывать. Ему я отдала всё. Если захочешь, отдам и тебе.

- Ты шутишь? Давай немедленно. Город-то хоть посмотрела?

- Ещё как! Там ко мне монаха одного приставили, и уж он меня повозил. Оказался весёлый и разговорчивый.

- Великий город.

- И люди другие.

- Верно ведь? В Греции то же самое. Они как будто не чувствуют на себе величия своих прежних цивилизаций – так, живут, радуются жизни, а вместе с тем за ними всё это величие сохраняется, окрашивает их каким-то светом, которого нигде больше не увидишь. Ирландцы, кажется, такие же. Англичане – нет.

- Мне придётся поехать в Лордсвилль на несколько дней, помочь Мигуелю. Но это уже работа. Наши заинтересовались всерьёз. Не хочешь компанию составить? Тогда и детей можно было бы взять с собой.

- Я не смогу. Очень много времени пропустил в университете. Ребята обижаются. Детей, кстати, можешь к нам поселить пока.

- У них школа рядом. Они не согласятся. Им дома спокойнее. Но тебя в покое не оставят, будут звонить, не сомневайся.

- Наверно хорошо – что у тебя столько работы.

- Работы искать не приходится. Но уж больно там место хорошее. Может что-то достойное получится.

- Значит, там будешь теперь пропадать?

- Какая разница, где пропадать... Ты не взялся бы с Джином поговорить? Он ведь на ИТ нацеливается, а при этом письмо отцовское читал. Что он там понял, я не знаю. Говорить не хочет... А записки, я боюсь, его ещё больше расстроить могут.

- Почему ты думаешь, что со мной захочет?

- Ну ты подъедь как-нибудь сбоку, ты сумеешь.

- И что я ему скажу?

- Да всё равно, что. Пусть только заговорит. Нехорошо, что он в себе всё это носит.

- Ладно, посмотрим. Там в Лордсвилле, между прочим, есть один интересный человек, учитель. Ты его уже видела в тот раз за столом. Тебе бы с ним познакомиться поближе – будет с кем отвлечься от юного Мигеля. Он заставил меня...

- Послушай, - перебила его вдруг Джулия, - Мы занимаемся только моими делами... Ты многое обо мне знаешь, и совсем не говоришь о себе...

- Если б я мог что-нибудь сказать, я бы сказал именно тебе. Но я не знаю, как...

- Ну, когда-нибудь...

Вошли, поздоровавшись дети Джулии. Молча уселись в разных концах комнаты, как бы в ожидании. Ник заметил, что они любили бывать с матерью просто так, без явной причины и взаимных расспросов.

И вдруг он захотел рассказать. Именно им, троим.

- Она была Жар-птицей... Говорят, они живут в Гелиополисе, где-то за сиянием Солнца. Долго живут, тысячу лет. И когда приходит пора, они опускаются к нам, сюда. И поют так, что само Солнце останавливается... Тем, кому посчастливится её встретить, видят одно из прекраснейших созданий. Но ты ведь не знаешь, когда её встретишь. А они тоже умирают. Прилетает она на Аравийские поля и собирает там пряные травы, особенно корицу. Набрав, улетает в Финикию и там вьёт гнездо. Утром, на восходе она поёт свою прощальную песнь, и Солнце задерживается послушать. Потом отправляется дальше, но роняет искру, и гнездо вместе с Фениксом сгорает. Через три дня она, конечно, восстанет из пепла, но ты этого уже не увидишь... Это будет совсем другая птица, не тебе предназначенная... Вот она была такой Жар-птицей. Такой её никто не видел, и у меня не получается никому о ней рассказать. И ещё – слёзы их... Они иногда плачут. Может потому, что не все их видят. Их слёзы – могут лечить раны, как живая вода... И в присутствии их никто не в состоянии солгать...

Прошло несколько неподвижных секунд. Внезапно Юджин резко поднялся и вышел из комнаты. А затем к нему бесшумно подошла сзади Кейси, крепко обхватила за шею и прижалась щекой к его голове. Николас ничего не видел, но чувствовал, что Джулия замерла не шевелясь.

Отпустив его, девочка так же бесшумно ушла вслед за братом.

- Я тоже пойду, пожалуй...

- Нет, побудь ещё. Ты правильно сделал. Теперь они знают. Ты у них будешь любимый сказочник. А главное, они поймут, что в театре видели. Я немного побаивалась за них. Слишком сильное впечатление. Мисс Холман тоже ведь из жар-птиц.

- Конечно. Все вы чьи-то жар-птицы... Но как же тебе удалось таких дивных детей вырастить?

- Это он. Не я. Был у него такой волшебный талант.

- Ну ладно. Давай тогда, тащи свои запасы, амстердамские, итальянские...

Николас всё ещё не решался рассказать ей о своих догадках, но в последние дни жалел, что они вообще пришли ему в голову. Он не был уверен, скрывает ли он их, оберегая вдову от лишней горечи, или опасается нарушить возникшую близость. Мотивы Мэла Рида в его интерпретации возможно могли бы вызвать любопытство у незаинтересованного лица, но для Джулии они могли прозвучать, как злословие. Вспоминая, как совсем недавно он рассказывал ей об острове ясновидящих, он думал, что обладай она таким даром, ему пришлось бы сгореть со стыда. И в этот момент ему открылось, как эфемерна их близость, как мало, при всей её трогательности, она для него значит. И что если уж раскрывать тайные помыслы, то говорить надо не о сомнительных умозаключениях, а об иллюзии, которую он так старательно поддерживает.

Он заметил, что Джулия пристально его разглядывает. «Сейчас спросит», - подумал он. Но она спросила о другом.

- Слава Богу, мы хоть сравнялись с тобой. Но почему вдруг ты решился рассказать?

- Может быть, ещё не сравнялись. Я рассказал не всё. Если осмеливаешься придвинуться слишком близко к гнезду, можешь сгореть вместе с птицей. И останется от тебя один пепел. Ты не Феникс. Тут уже ничем не поможешь. Возможно, сохранятся твои очертания, и многие будут по-прежнему принимать тебя за человека. Но если они тебе дороги, лучше не вводить их в заблуждение. Неизвестно, какой пустяк, случайное дуновение распылит тебя окончательно. И лучше бы им на тебя не полагаться. Вы трое заставили меня об этом забыть. Но забывать нельзя. Вот с такой оговоркой можно продолжать существование. Прости.

- Ты с Френсисом говорил об этом?

- Нет, конечно.

- Ну, тогда мы ещё посмотрим...

Вновь она смущала его своей дерзкой волей. Тогда может быть стоило коснуться и судьбы Рида. Надо было только сначала дочитать его записи до конца.

25. Микроб глухоты.

- Хочу сделать вам признание. Скоро у вас каникулы, так что одновременно это будет вам Рождественским подарком. В начале нашего курса я дал вам список произведений, которые надлежало прочесть. До сих пор вы более или менее поспедали за мной и, отдаю вам должное – в некотором смысле превзошли мои ожидания. Так что я вас отпускаю. Список этот – конечно же не приговор. Я вовсе не хочу, чтобы вы отказались от своих житейских радостей во имя того, чтобы поглощать это обилие материала. Я лишь очертил для вас границы той необъятной страны, которая называется западной литературой. По экзаменационному вопроснику за семестр, вы поймёте, что выбор произведений остаётся за вами. Пользуйтесь им по своему усмотрению.

Ну, к делу.

Я пропустил несколько этапов развития европейской литературы и множество произведений и предложил вам обратить внимание на роман Камю «Чума» не из-за его особых достоинств, а потому что он знаменует собой феномен в литературе, которая по каким-то причинам стала объединять усилия с философией. Впервые это случилось в XVIII веке, в период Просвещения, но мне показалось, что нам легче будет в этом разобраться, сдвинувшись поближе к нашему времени. К Вольтеру, Дидро и Руссо мы ещё вернёмся. Кто из вас ходит на семинары по философии?

Поднимаются пять-шесть рук.

- Стало быть, среди нас есть те, кто на досуге сумеет объяснить остальным начала экзистенциализма. Это сократит нам время и даст возможность оставаться в рамках художественной литературы.

- Между прочим, профессор Нортон тоже вами интересуется, - говорит один из поднявших руку.

- Джозеф – ваше имя?

- Джозеф Линч. Он спрашивал, занимались ли мы экзистенциалистами на ваших семинарах. Мне даже показалось, что он сам был бы не прочь прийти. Но видно занят.

- Я к сожалению не успел как следует познакомиться с профессором Нортоном. Но раз уж у нас образовалась такая связь, передайте ему, пожалуйста, что я всегда рад его видеть. Вернёмся, однако, к нашему предмету.

Говоря о трагедии, мы заглянули с вами в самое сердце художественного творчества. Творчество изначально заложено в Творении и должно было рано или поздно о себе заявить. Зарождаясь в человеческом сознании через религиозные ритуалы, празднества и древнегреческий театр, оно обрело наконец и литературную форму, которая сначала была лишь вспомогательным средством для постановки, а потом стала играть и самостоятельную роль. Оказалось, что трагедии можно читать. Вскоре выяснилось, что писать можно не только сценарии для театрального представления.

Как я уже сказал, вы сами можете найти массу сведений о последовательном развитии повествовательной прозы от античного греческого и римского романа до романа рыцарского, плутовского, сатирического и так далее. Я представляю себе нашу задачу не в построении этого величественного здания, а в том, в каком ритме и с какими переборами продолжало биться само сердце творчества.

С возникновением разнообразных форм повествования, катастрофическая аритмия трагедии уравнилась. Произошло это за счёт того, что рассказ стал включать житейские подробности, и это привлекало к нему всё больше зрителей и читателей. Таково предназначение искусства – служить как можно большему числу людей. Но в соответствии с неким законом, похожим на физическую энтропию, воздействие его изменило характер и стало, по сравнению с катарсическим эффектом трагедии, более мягким и растянутым во времени.

Теперь вы можете поспорить, выиграло ли что-то человечество от такого развития событий. Могло ли оно выдержать одно непрерывное содрогание в объёмах трагедии или нуждалось в более терпеливом и бережном обращении. На это вам намекал Эндрю МакГрат, если вы помните. Это будет темой вашей следующей работы. А в помощь себе возьмите эссе Хаксли. Оно называется «Трагедия и одна только правда». Так он определяет произведения, которые прибавляют к сюжету подробности, лишние для трагедии, и утрачивают её чистоту.

- Хаксли? Тот самый?

- Да, Олдос Хаксли. Только помните, что речь идёт о таких шедеврах, как «Одиссея» Гомера или «Том Джонс» Филдинга. Мы по-прежнему говорим о литературе, а не о малохудожественных опытах.

И вот, стало быть, роман нового времени. Художественный символ целой эпохи, начавшейся в конце XIX века с философии Ницше и Кьеркегора, продолжавшейся сквозь Первую мировую войну и включившей так называемое «потерянное поколение», а затем пережившей зарождение и разгром нацизма и получившей окончательное своё выражение в мировоззрении Хайдегера, Ясперса и произведениях ряда выдающихся писателей.

Пожалуй, мы поменяем приём и не станем подробно следовать за героями романа – во-первых, у нас не это времени не хватит, а во-вторых, в таком повествовании работают другие механизмы, и подобный род наблюдения нам ничем не поможет. Расскажите мне лучше о самом общем впечатлении от чтения. Есть ли какое-то преобладающее чувство, которое осталось у вас, когда вы закрыли книгу?

- Муторно как-то.

- Скучновато.

- Вы знаете, что это почти названия романов, написанных современниками Камю – Сартром и Альбертом Моравиа? «Тошнота» и «Скука».

- Ну правильно. Посмотришь на заглавие, и они как-то отталкивают ещё до того, как их откроешь. Разве только из-за автора. О, Сартр!

- Что, трудно было читать?

- Нет, не трудно. Даже интересно местами. Но вы спрашиваете, что остаётся... Кажется можно было и не читать, пропустить.

- Я не согласна, - возражает неутомимая Сюзан. - Мне кажется там что-то важное есть. Вот насчёт микробов... Он пишет, что они вечны, и что человек постоянно должен им сопротивляться. То есть, болеть конечно тяжело, но ещё тяжелее стараться не подхватить заразу... Но это всё-таки прямым текстом говорится. Откровения тут не случается, хотя подумать над этим стоит. А вот какого-то отчётливого настроения, чувства, в общем-то, почти не остаётся. Мне бы одной этой фразы хватило.

- А над чем тут думать? – настаивает разочарованный юный читатель.

- Ну как? Ты же о чуме и не вспоминаешь. Никаких усилий, чтобы от неё спастись, от тебя не требуется. А может быть, лучше не расслабляться, не думать, что выход найден раз и навсегда. Может это заблуждение, что цель человечества – облегчение существования. У чумы много всяких облиций. И она всегда наготове. Значит, всегда есть новый труд – искать угрозу во всё более усложняющемся мире. Не желать быть зачумлённым. Но опять – это всего лишь мысль. Надо ли было прибавлять к ней такую длинную иллюстрацию, я не уверена. Хотя есть там несколько сильных эпизодов. Цельного впечатления всё равно не остаётся.

- Кто-нибудь возьмётся защитить писателя от такого сурового приговора?

Желающих нет.

- Я начал с того, что это явление – произведения так называемых экзистенциалистов – особый феномен в литературе, которая по каким-то причинам решила объединить свои усилия с философией. В её оправдание следует сказать, что экзистенциализм, вероятно, нельзя считать философией в буквальном смысле этого слова. Это скорее выражение общего настроения потерянности, отчуждённости, которое овладело людьми, пережившими неведомые прежде формы войны, а затем жестокие условия агрессивно развивавшейся индустриальной революции и ещё более жестокою чуму нацизма. Многие поспешили оценить книгу Камю, как раз как аллегория германского фашизма, но это довольно поверхностное суждение. Вот это общее настроение люди, склонные к философствованию попытались обобщить в виде философской системы. И при этом жадно ухватились за художественные формы. Но попробуем всё же разобраться, что лишает роман безусловного художественного впечатления, которое вы неизменно уносите с собой по прочтении великих книг. Дело в том, что такая особенность присуща и многим другим произведениям этой эпохи, которые заняли своё достойное место в истории литературы и оказали существенное влияние на несколько поколений. Нам важно уловить, что их отличает от, скажем, романов Ремарка,

появившихся в то же время, но явно сохранивших эту силу волнующего и запоминающегося воздействия...

Николас старается привести их в такое место, откуда откроется перспектива на непрерывное биение творческого пульса, которое, однако, временами ослабевает, подчиняясь случайным внешним событиям, как будто высасывающим кислород из общей атмосферы. В благотворном расширении аудитории, которое принесла с собой повествовательная проза, таилась опасность вместе с чистым звучанием трагического камертона упустить вообще всякий звук живого творчества. Об этом микробе глухоты необходимо было помнить и быть в состоянии непрерывной готовности его обнаружить и остановить его распространение, не заболеть. Всё ещё оставаясь произведением искусства, повествование временами приближалось к самому краю, за которым, сохранив видимое обличие романа, переставало выполнять своё назначение. Некоторые художники, безусловно обладавшие талантом, слишком глубоко пережили общее настроение подавленности и гнева, поспешили обосновать его в последовательных размышлениях и, приняв это переживание за зов музыки, открыли путь целому литературному потоку, в свою очередь завладевшему умами современников.

В основе оригинальных мифов лежали взаимоотношения человека со сверхъестественными силами, прежде всего олицетворяемыми природными явлениями. Условия развитого индустриального общества, с его войнами и классовыми конфликтами, приняли в новой философской системе облик неподвластных человеку, как бы природных явлений, и мифы стали создаваться уже на их основе. Но это было обманом и заблуждением. Они оставались делом человеческих рук. И таким образом, новое мифотворчество лишалось настоящей основы, становилось производным и вторичным, а потому эстетически неполноценным.

Он предлагает ученикам выбрать эпизоды, которые произвели впечатление, а в ответ получает новый вопрос Пита Энглтона:

- А я думал, вы из-за карантина решили нам «Чуму» подсунуть.

- Ну, пора уж вам было усвоить, что прикладного назначения у литературы нет. У вас возникли какие-то ассоциации?

- Я надеялся, что возникнут. Он мог бы и сам роман назвать «Карантин». Но как-то сухо у него об этом. Вроде его не очень это и интересует. Как, впрочем, и сама «Чума», хотя вся книга только об этом.

- Вот видите, вы подметили ещё один промах экзистенциалистов – нарочитую двусмысленность. Читая «Дон Кихота», вы непременно почувствуете мягкую, можно наверно сказать – влюблённую иронию автора. Но Сервантес не подмигивает нам, кивая на своего героя – он пишет о Дон Кихоте. А вот называя свой роман «Скука» или «Тошнота», авторы заранее пытаются вступить с нами в заговор, как бы намекая: «Ну, вы же понимаете... Я не дурак, чтобы заставлять вас читать о мучительном расстройстве желудка или о полном отсутствии интересных впечатлений. Вы уже знаете, что речь пойдёт о чём-то другом». Но сколько бы ни прилагали они затем творческих усилий, роман начинается и кончается скукой. Потому что это, по существу – расширенная метафора, которая притворяется художественным повествованием. Может, не назови он свою книгу «Чума», мы с большим сопереживанием отнеслись бы и ко всем страшным и горьким подробностям эпидемии. А после такого заглавия, сразу всколыхнувшего воображение, само описание этих подробностей может потерять живость, превратиться в

простое перечисление. Наша интуиция, скрытое знание обладает более сильным представлением о чуме, чем то, какое предлагает нам автор. А он время от времени ещё и сбивает нас с толку догадкой: нет, это всё-таки не о чуме, тут что-то другое, пока сам не называет в нескольких фразах предмет своей подлинной страсти. И мы недоумеваем – зачем ему понадобилось так долго нас за нос водить?

Писатель может владеть большим или меньшим даром правдоподобия и заразительности в описании деталей, но у настоящего художника – в том и в другом случае – предметом его вдохновения являются не они. Здесь же автор ухитряется совершить двойной промах: сразу назвав предмет, он заставляет нас пристально следить за его описанием, и в то же время ему-то самому предмет нужен всего лишь как вспомогательное средство для раскрытия какой-то идеи, которой он обещает нас одарить. Органический творческий процесс нарушен и сердце едва-едва дышит.

Провидение до сих пор рождает трагические таланты. Да, эта форма перестала быть единственной, но объединяет все эти формы всё та же изначальная природа, которую в настоящем произведении искусства обнаружить легко, благодаря продолжающемуся в нём сердцебиению – свидетельству жизни. Когда оно работает с перебоями, вам грозит опасность остаться равнодушными. Писателя винить не следует – его усилия искренности и бескорыстны, он желает нам добра. Дело в том, что он, как и мы, имеет дело со строгой и требовательной стихией искусства. Вместе с ним мы предпринимаем попытку ею овладеть, и вместе с ним терпим поражение.

Ещё одно. Прежде чем, взглянув на название, откладывать книгу, подумайте вот о чём. Камю не удалось подарить вам глубокого, запминающегося волнения, которое оставляют «Дон Кихот» или «Сага о Форсайтах». Но его одарённость и честные намерения сумели напомнить вам о микробе глухоты. Может быть, вопреки своей задаче, он инстинктивно написал роман о собственном романе, свидетельствующий о постоянном скрытом присутствии такой угрозы, и книга оставляет нас в состоянии насторожённости. Попробуйте такой трюк исполнить – и пожалуй вам расхочется его осуждать.

Питер, если хотите о карантине поразмыслить, прочтите другую книгу Камю – «Посторонний». Её в списке нет, и, собственно, о карантине там нет ни слова, но кое-что о природе этого состояния вы найдёте. Кстати, можете взять её в качестве вашего персонального задания вместо Хаксли.

26. Частные тюрьмы и мнимые враги.

Дэнни Кронеберг, тридцатилетний житель Лордсвилля, всё это время наблюдал за переживаниями соседей со сдержанным сочувствием. Его не коснулись ни разрушительные перемены, ни благополучное разрешение ситуации – он работает надзирателем в Исправительной тюрьме, в двадцати километрах от города. То, что вот уже несколько лет день за днём терзает его душу, он не решается разделить даже с приятелями. Слишком запутанным представляется положение в которое он попал.

Сегодня – один из тех дней, когда у него опять сильное искушение потревожить покой собеседников в «Нисе».

- Что это они там толкуют о какой-то изоляции, а то ещё – о карантине? Кто-нибудь может мне сказать, что происходит? – спрашивает собравшихся один из посетителей.

- А кто сказал, что что-то происходит? – отвечает Дэнни, - По-моему, как было, так и есть.

- Болтовня это всё. Вечно они там между собой собачатся., - вступает в разговор третий.

- Кто с кем?

- Да кто их разберёт... Но без этого они не могут. А то подумают, что они ничего не делают, ни за что деньги получают.

- Нет, ну а всё-таки, что там говорили о закрытии границ? Что, мол, выехать уже никуда не дадут?

- А ты куда хотел выехать? – Дэнни всё пробует сдвинуть с места привычную болтовню.

- Я-то никуда. Я так спрашиваю.

- Так какая тебе разница?

- А если вдруг захочется?

- Мало ли чего тебе может захотеться. Ты сам ещё не знаешь. Чего заранее волноваться. А насчёт происходит – вон завод налаживают. Новый народ стал появляться. Площадь строят, новые дома....

- Дэнни, это я и без тебя знаю, я сам уже вторую неделю работаю, слава Богу.

- Ну и значит всё по-прежнему – потерпели, и наладилось.

- Так и раньше так было – то похуже, то получше. Ради чего тогда весь этот шум поднимали с Референдумом? Чего-то изменить собирались или так, для видимости?

- А этого мы никогда не узнаем. Если и поменяют что-то – пока до нас докатится, ещё десять референдумов объявят.

- Точно.

Нет, они не готовы. Им не понять, насколько угнетающими становится эти откладываемые ожидания. В его работе ничего не меняется, а там эти реформы должны были бы сказаться прежде всего.

Он служит в частной тюрьме. Этот зловещий урод, корпорация частных исправительных заведений, появился на свет три десятилетия назад, когда предприниматели предложили правительству, обременённому всё растущим количеством заключённых, взять на себя часть тюремной системы. Соблазн заключался в экономии средств налогоплательщиков – поскольку частные собственники обещали строить и содержать тюрьмы дешевле; в создании новых рабочих мест – за что жадно хватались местные власти, разорённые закрывающимися одно за другим предприятиями; и в новом вкладе в общую экономику страны, поскольку в игру вступали корпоративные силы.

Новая форма индустрии не вызвала даже серьёзного обсуждения – настолько всё казалось ясным и полезным. Но уже через полтора года после открытия новой тюрьмы в Янгстауне, после сорока нападений, двух убийств и бегства шести заключённых, законодатели штата обнаружили, что руководство слабо разбирается в вопросах управления такими заведениями. Однако, и ответственности перед местными властями не испытывает – неожиданная инспекция Штатной комиссии была остановлена у ворот и не допущена на территорию. Тюрьму попытались закрыть или передать в ведение штата, но было уже поздно. Она была собственностью «ИКА», частной корпорации, неприкосновенность которой охранялась законом.

Хорошо звучит, да? «Исправительная Корпорация Америки». Они, правда, догадались кажется, что не совсем удобно... Теперь назвали скрытно, сокращённо – «Кор

Сивик», что, если всё-таки хоть как-то расшифровывать, звучит ещё более устрашающе, что-то вроде «Суть общества», или «Основа гражданства»...

Никак не предполагал Дэнни, что долгожданная возможность поговорить о том, что его волновало, возникнет от встречи с совсем уж непредставимым собеседником. Встречи, предложенной и организованной местной церковью, рискнувшей свести в непосредственном общении представителей резко и непримиримо противостоящих друг другу сторон общества.

- О Господи! А зачем вам так много? Что вы со всем этим делаете? – всплеснула руками, взглянув на коллекцию оружия Дэнни, Джудит Гордон, пожилая лесбиянка, приехавшая на три дня в Лордсвилль в группе таких же как она либеральных евреев из Бостона, и приглашённая поселиться в доме Кронебергов.

- Э-э, леди. Это не много, и всё разное оружие, по разному действует. Завтра утром поедем в открытый тир, и я вам покажу. А захотите – и сами попробуете.

Белый консервативный христианин, тюремный надзиратель из Огайо, сторонник стены на мексиканской границе, владелец личного арсенала, который включал АК-47, противник аборт и однополых браков, был, однако, не лишён любопытства. Он верил, что евреи – Богом избранный народ. И в то же время знал, что большинство нью-йоркских и бостонских евреев придерживались либеральных взглядов. Как могут богоизбранные люди быть либералами?

На большой поляне, отведённой под открытый тир, упражнялись всего три человека. Но один из них, которому помогал не то прислужник, не то тренер, стрелял из огромного старинного ружья, заряжаемого через дуло с помощью шомпола. Он пользовался дымным порохом, и зрелище тёмно-серых клубов, сопровождавших редкие и оглушающие залпы, совершенно заворожило гостью.

- Прямо гражданская война какая-то, - изумлялась она.

Дэнни был чрезвычайно доволен этим неожиданным впечатлением.

- Вы когда-нибудь держали в руках пистолет, Джудит?

- Упаси Бог! Никогда в жизни.

- Ну, когда-нибудь всё приходится попробовать.

Он терпеливо объяснил ей, как следует обращаться с оружием, и через несколько минут внезапно обнаружил, что Джудит – исключительно меткий стрелок.

Она была испугана перспективой знакомства не меньше его и ночь перед поездкой провела без сна. И вот, сидя за обедом, приготовленным женой Дэнни, которая неожиданно оказалась филипинкой, она вела беседу о справедливости однополых браков, и необходимости контроля за личным оружием, выслушивала обстоятельные, но мирные возражения и не переставала изумляться испытываемому ею чувству расположенности к этим людям. Было похоже на лёгкое головокружение, потому что мир расширился и в то же время становился сложнее.

А Дэнни был почти растроган тем, как внимательно слушает его эта пожилая женщина, которая в воображении его должна была бы немедленно и с отвращением от него отвернуться.

И он решил разделить с незнакомкой сомнения, в которых не мог до конца признаться даже самому себе.

- Я наверно чего-то не понимаю. Может вы сможете мне объяснить. Я целиком за частное предпринимательство. Пока никто в мире ничего лучше придумать не смог. У меня самого этой жилки нет. Или, может, кишка тонка. Но я просто восхищаюсь тем, кто

берётся найти денег, организовать крупное производство, дать людям работу, делать полезные вещи и при этом много зарабатывать. Просто восхищаюсь, и никакой зависти у меня нет. Ну, немножко завидую, что Господь обошёл меня таким талантом. Есть, конечно, сукины дети, которые кроме наживы ничего знать не хотят и стараются наживаться на чужом горбу, но таких везде хватает. Если бы все были такими, никто бы не выжил. В самом принципе я никогда не сомневался. Но как пришло в голову приложить этот принцип к тюремной системе – я понять не могу. Ладно, случилось такое недоразумение, тюрьмы ломались от заключённых, государство не знало, как с ними справиться, и кто-то предложил ему помочь – не из чистых побуждений, конечно, а как бы на взаимовыгодных условиях: вы будете платить нам меньше, чем расходуете сейчас, мы сделаем работу ещё дешевле, а разницу возьмём себе. Я не семи пядей во лбу, но надо быть в большой заморочке, чтобы сразу не увидеть в таком предложении явный обман. Во-первых, нет такого секретного метода, который позволил бы сократить средства ни на строительство, ни на содержание тюрем. Строят их те же коммерческие подрядчики, а рынок в строительстве – один и тот же. Удешевить систему управления и безопасности можно только ухудшив её и сократив программы по реабилитации – то есть, в результате увеличить размеры рецидивизма и непрерывного пополнения числа заключённых, а то и роста его. Я не сомневаюсь, что в правительстве хватает бездельников, которым неохота следить за расходами, но на них есть управа. И если они заиграются – сядут в ту же тюрьму. А волшебного средства, которое разом установило бы разумный и минимальный предел таких расходов, нет. И тот, кто говорит, что у него такое средство есть, врёт. Оно, кстати, сразу же и выяснилось. Сколько ни считали, пришли к выводу, что надежды на экономию не оправдались. Но теперь самое главное. У любого бизнеса две главные задачи – расширение производства и экономия затрат. Только так он выживает и процветает. Значит, получается, что первой задачей частных тюремных корпораций является увеличение тюрем и количества заключённых... Каким боком это совпадает с благополучием общества? Вторая их задача – сокращение затрат на безопасность, обслуживание, медицинское обеспечение и остальные программы по реабилитации, что прямо точно совпадает с первой задачей. Чем хуже и опаснее условия в тюрьме, тем меньше надежды, что заключённый сможет там вернуть себе человеческий облик, и тем вернее, что он скоро туда вернётся, помогая развитию и обогащению корпорации. Что ж удивляться, что, как правило, штат таких тюрем профессионально некомпетентен. Им и не нужны профессионалы – они быстро опустят их доходы до нуля.

На мой взгляд, это пример того, как безукоризненно работающий капиталистический принцип частной собственности и производства самым разрушительным образом действует против общества. Почему никто не замечает? А те кто искренне пытаются усовершенствовать эту систему, как будто не понимают с чем имеют дело. Я когда задумался об этом, посмотрел кое-то. Большим прогрессом считается решение Австралийского правительства поощрять частные тюрьмы, которые добиваются сокращения рецидивизма своих заключённых – вознаграждать их деньгами, короче говоря. То есть, это разумное правительство предлагает корпорации уничтожить самоё себя. И готово за это заплатить. Смеются они что ли?

Говорят, как я слышал, что вся судебная-исправительная система разлажена. Об этом я судить не берусь. Я не спорю, но на такие вопросы у меня мозгов не хватает. А в Янгстауне я каждый день вижу это своими глазами.

- Дэнни, как же вы работаете?

- Как могу. Мне семью кормить приходится, другой профессии у меня нет. Найду другое место – уйду и не обернусь. Но тюрьма-то останется. Вот что меня разбирает. А если такой очевидный обман остаётся без внимания, так наверно ещё много чего этот капитализм себе может позволить. И ничего другого пока не предвидится. Как мы жить-то будем?

- Ох, Дэнни, вы разобрались в этом лучше, чем я сама смогла бы. И что вам ответить я не знаю. Я верю только, что кроме правительства этих зверей обуздать некому. И лучше бы нам ему доверять и его поддерживать. Модно считать, что в правительстве одни бездельники и политики, которые вцепились в свои места, и что оно ничего не делает для народа. Но мы платим налоги, чтобы дома наши не были ограблены, чтобы продукты, которые мы покупаем нас не сделали больными, чтобы банки не лишили нас денег и чтобы мосты, по которым мы ездим не рушились. А когда вы на рыбалку едете, вы ведь и не задумываетесь, что вода чистая и рыба ещё есть – и всё это обеспечивают федеральные и местные службы. Иными словами, если правительство правильно делает свою работу – ничего не случается. Немудрено, что никто этого не замечает. Так что, хотя мы многое получаем в обмен на наши налоги, мы часто получаем это в форме, в основном, невидимой для нас. Это одна из причин, по которой мы часто впадаем в заблуждение, что правительство ничего для нас не делает. Но чем меньше слышишь о правительстве, тем лучше. Это означает, что всё в порядке. А всё, что мы слышим поступает из прессы, а её принцип существования – скандал. Так уж мы привыкли жить, без скандалов становится скучно. Вот и кажется, что там одни проходимцы.

Идея знакомства состояла во взаимном приглашении в гости. Теперь Дэнни Кронебергу предстояло на три дня приехать в Бостон, где он отродясь не бывал. Но этой встречи он ждал уже с нетерпением. У него создалось впечатление, что он обзаводится новыми друзьями. Ну, может быть, дружбой это назвать было и нельзя, но прочное убеждение, что половина либералов считает полицию злой и вредной силой, и хочет полностью открыть границы, развалилось на его глазах.

А Джудит, готовясь к встрече гостей испытывала необъяснимое волнение. В Лордсвилле она почувствовала себя неожиданно свободной и уверенной в себе. Ей казалось, что с плеч её свалилась какая-то огромная тяжесть, и это ощущение необходимо было сохранить и укрепить. Ни та, ни другая сторона не изменила своих убеждений, но слушать друг друга оказалось увлекательным делом. Особенно, когда выяснилось, например, что сугубый консерватор из Огайо не сомневается в существовании в стране расизма и является строгим его противником. Она-то была уверена, что таких консерваторов и вовсе не существует.

27. Нас покидающие.

Чтение последних страниц было похоже на присутствие при агонии автора. Невозможно было избавиться от наваждения, что певцы уже пробуют голоса, а музыканты настраивают инструменты, готовясь к исполнению реквиема.

Николас вынужден был несколько раз прерваться. Слишком знакомо всё это было, и слишком болезненным каждый раз оказывалось возвращение к памяти. Следя за тем, как каждое слово становилось последней попыткой удержаться в этом, ещё осязаемом мире, и

помня, что все они остались тщетными, он бережно переворачивал листы, как бы окутывая саваном отсутствующие, давно неподвижные останки.

Записи Мэлвина Рида. (окончание).

10.

Ощущение времени. Мы забываем о том, как медленно оно движется в природе, хотя иногда – очень редко – с изумлением замечаем перемены, которыми оно отмечено: времена года, рост деревьев, взросление и старение человека.

Общественные перемены – в политике, технологии, всеобщих увлечениях совершаются быстрее, и их темп заметно ускоряется.

События в нашей личной жизни развиваются ещё стремительнее, и поскольку они касаются нас непосредственнее всего, именно их ритмом мы склонны мерить и оценивать всё происходящее – и изнывать от нетерпения. И вместе с тем, нас не покидает ощущение, что мы всё время опаздываем.

Нам кажется, что справедливость осуществляется слишком медленно – если она вообще ещё действует. А когда она всё же приходит, способ её осуществления может быть до такой степени непонятен, что мы уже не связываем его с вызвавшей такие последствия причиной. Обретение нашего личного благосостояния что-то слишком затягивается, а то и вовсе грозит не прийти. И мы начинаем искать способы его обрести в обход общепринятых правил, а то и закона. Люди вокруг обычно не спешат считаться с нашими потребностями, и мы не очень высоко оцениваем их достоинства. Короче говоря, мир устроен неправильно, и самые активные из нас считают необходимым его исправить, чтобы не пришла катастрофа. Мы начинаем принимать меры для устранения катастрофы, забывая, что катастрофы как раз и вызваны принятием мер. Мы пропускаем – или используем не по назначению – те самые несколько минут в день, когда всё и может решиться, потому что решается всё гораздо раньше принятия мер, в мысли. Мысль же не начинается, пока человек не включает в своё сознание совесть.

Так или иначе, приходится вернуться в пределы всё той же необходимости мыслить. А каков удельный вес мышления в системе мироздания – спросите у Декарта.

За четыреста лет до наших скоростей, при абсолютной монархии, когда никто никуда не торопился, он сказал, что мышлением можно заниматься всего четыре часа в месяц. Не больше. Поскольку это не в человеческих возможностях. И, стало быть, в день нам полагается думать – восемь минут. Весь остальной день мы не мыслим, занимаемся чем-то другим. Вы решаете поправить Декарта и продолжаете это занятие, но никаких мыслей не производите. Вот и Платон жаловался на жуткий труд мысли, утверждая, что она доступна человеку лишь на пределе напряжения всех его сил. Насколько умело мы этот краткий просвет употребляем – то есть, если вообще его используем?

То что мы привыкли называть мышлением, следовало бы называть соответствующим этому занятию именем. Мы не мыслим, а соображаем. Не рожаем новый смысл, а сводим концы с концами.

Мы хотим за восемь минут в день урегулировать общество. На основах чести, совести и достоинства. Вот они пред нами маячат, все три основы. А часы тикают. Семь девятнадцать, семь восемнадцать, семь семнадцать... Значит, прежде всего нам следует... Четыре одиннадцать, четыре десять, четыре девять... А, да! Вот что! Сначала и немедленно – образование. Одна три... одна две... И всё. Где-то тут витали... честь, достоинство... всё рассеивается. Время вышло. До завтра. Эхом ещё звучит какое-то

«образование»... что-то мы решили предпринять... Но следующая сессия через двадцать четыре часа. Может, как-то подготовиться, обдумать заранее? Нельзя. Декарт запретил – пустое, бесполезное занятие. Не тратьте сил.

Об этих судьбоносных восьми минутах в день мы просто забыли.

11.

Если проделать мысленное усилие (насилие в некотором роде) и разделить целое мироздание и мир, созданный нами, с которым мы, собственно, и имеем дело, можно обнаружить, что в мироздании никакой ошибки нет, что только наше нежелание прислушаться к неторопливому шелесту его поступательного движения, к его настоящему времени побуждает нас увлечься бесконечным исправлением собственных ошибок без всякой надежды вырваться из этого замкнутого круга и, вконец замучившись, спрашивать: «Зачем всё это?»

Мы страдаем не потому, что так было задумано творение, а потому что все свои силы расходует на сопротивление его законам. О высочайшем благе этих законов свидетельствует та непреложная истина, что вопреки нашему удручающему невежеству и упрямству, мы всё ещё существуем. Но пока нам это даровано, может быть стоит подождать с исправлениями и освоить идею, что мир создаётся заново каждое мгновение. И в каждом мгновении содержится возможность начать его создавать обновлённым. Поверите ли, иногда эта идея представляется до потрясения очевидной: Творение – это одновременно и нечто уже существующее, и постоянно воссоздающееся. Вот где пригодятся эти декартовские минуты.

Идея непрерывного творения или со-творения и есть состояние сына Божия. В этом состоянии Он становится воистину воскресшим, а грех наш – искупленным. Поэтому важнее всего в Евангелии сам Христос. Его особенность и уникальность состоит в предельном выражении связи с Творцом, которая обозначилась его чувством буквального сыновства. И это, с такой полнотой и естественностью выраженное чувство «Я – сын Отца» должно было произвести сотрясение в сердцах и душах.

Представьте себе, что некто встреченный вами говорит «Я – сын Божий», и вообразите, что у вас не остаётся внутреннего выбора: верить или не верить – так он выглядит, так себя ведёт и так говорит. Как власть имеющий. И подумайте, как пойдёт дальше ваша жизнь после такой встречи. Бога вы увидите никогда. А сына Божия... Да вот он.

Такое представление трудно получить просто от чтения Евангелий. Хотя сам факт подобных встреч там присутствует. Но вам больше скажут реакции людей на него, чем его собственные слова, пересказанные, в конце концов, сынами человеческими. Нового в том, что он говорит, совсем немного, только то, что начинается со слов «А я говорю вам...», и отличается от закона книжников. Вот в эти моменты и надо постараться представить его живым. Или когда он говорит: «Будьте как я». Совсем не тогда, когда он предвещает гнев Божий и говорит о «плаче и скрежете зубов».

«Знаю, что придет Мессия... Когда Он придет, то возвестит нам всё», - говорит ему самарянка у колодца. «Это Я, Который говорю с тобою», - отвечает Он. Вот и всё Слово. Между Ним и истиной нет просвета, как у всего лишь просветлённых.

Он никогда не упоминал о непорочном зачатии, и никто Его не посылал. В том и величие, что Он нашёл, открыл в себе силы и власть сказать: я – сын Божий. А уж потом можно представить себе, что и – Отец послал в некотором смысле, поскольку я оказался здесь, среди вас. Не мне сказал: сходи, а вам говорит: принимайте.

Хотите ещё один пример загадочного провала в Священном Писании?

Когда женщину, обвинённую в прелюбодеянии приводят к Христу и готовятся наказать её по закону Моисея забив до смерти камнями, он останавливается и начинает чертить что-то на песке. Мы не знаем, что он пишет – Евангелие об этом не говорит. Только рассказывает, что все побросали камни и разошлись. Что такое Он написал, что заставило отказаться от наказания? Почему один из ближайших к Нему отказывается нам это сообщить? Не сумел разобраться? А все остальные?

12.

Искусство нас немного пугает невозможностью знать заранее, как оно изменит человека, который примет вызванные им чувства без сопротивления. Вдруг он перестанет быть самим собой? Как если бы он знал, что он такое! Может быть, он боится как раз стать им, инстинктивно предполагая, что это наложит какие-то новые обязательства и потребует от него дополнительных усилий. Но ведь он свободен, и всегда останется возможность от этих обязательств отказаться. А если окажется, что они выполнимы и плодотворны – так ведь это только обогатит его представление о самом себе.

Искусство, конечно же, не единственный способ обрести истину. Нам в помощь даны и наука, и философия и, разумеется – религия, которая утверждает, что именно ей известны пути спасения человечества и его конечная цель. Допустим, мы слишком увлеклись своими художественными и историко-философскими выводами, и правы не мы, а христианская церковь. Посмотрим, к чему пришла в результате долгих препирательств ею сформулированная доктрина, и какое разрешение предсказывает нам путь, ею предлагаемый.

Рано или поздно мир ожидает конец, и мы окажемся в Царствии Божием, которым безраздельно владеет Творец, то есть там, где нет места злу, страданиям и даже смерти. При переходе состоится Божественный суд, называемый ещё «Страшным», который оценит наше прежнее существование, производя отбор овец от козлиц, и пропущены в Царствие окажутся не все, а лишь те, кто преданно ждал его наступления и схоронился от греха. И, следовательно, цель человека – продержаться до этих неведомых времён, ведя благочестивую жизнь и надеясь на справедливый Божий суд.

Как если бы одна эта задача уже не казалась непосильно трудной и не особенно увлекательной, перед концом мира зло чрезмерно усилится, а Церковь земная, предназначенная помогать человеку, крайне ослабеет. Но в конце концов Иисус Христос вновь вернётся на землю, все люди воскреснут, и совершится над миром суд. Дьявол и его сторонники будут осуждены на вечные мучения, для праведников же начнется вечная, блаженная жизнь в Царстве Божьем.

Итак, цель – райская жизнь, с чего всё и начиналось.

Но почему Церковь земная крайне ослабеет? Очевидно имеется в виду весь сонм праведников, которые выдержат до конца. Отчего же они так обнищают силой? Благовествование содержит светлую идею Божьего сыновства, но, как бы сомневаясь в человеческой стойкости, предупреждает о возможном наказании. Завершающее же Откровение Св. Иоанна не оставляет никаких сомнений в том, что Евангелие оказалось человеку не по силам, отражает отчаяние любви в отсутствие веры и видит спасение лишь в высшем вмешательстве.

Живущий сегодня человек-христианин, может в связи с этим сделать единственный вывод: выбора нет – раньше или позже нас ждут катастрофические времена, спасение может прийти только свыше, вся ценность и задача веры – возможность

уцелеть, а наградой станет блаженство праведников на обновленной Земле, где Бог отрет всякую слезу с очей страдальцев, где не будет уже ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни.

И ни слова о том, что – *будет*, чем можно будет человеку заняться. Блаженствовать – не занятие. Я опущу некоторые подробности, но из того, что нам уже известно о самих себе можно сделать вывод об обширных способностях и талантах человека. Похоже, что они окажутся больше не нужны.

Если быть чуть настоятельнее, можно добиться от христианских толкователей таких, например, пояснений: там ожидает вся полнота бытия, как сфера свободного творчества – хранить и возделывать Рай. Хранить... Разве ему что-то ещё будет угрожать? А возделывать... Что же тут возделывать, куда дальше творить? В любом случае, для того, чтобы это делать, надо бы, по меньшей мере, сначала изучить, что же это создано, то есть – обратиться к познанию, что, собственно, человек и попытался осуществить. Кончилось это плачевно.

Ещё предлагается, что человек там окажется вновь способен к полноте богообщения, к которой был изначально призван. Но трудно вообразить, в чём состояло бы богообщение Адама, если бы он внял предупреждению и остался в Раю. Не очень понятно, что Создатель может найти интересного в общении с таким упрощённым существом, которое начинает напоминать простую игрушку для развлечения?

Так что никаких занятий не предвидится, а жизни этой не будет конца.

И вот ради такой развязки был казнён Сын Божий. Через эту жертву, принесённую ради человечества, достигается цель, ради которой и был человек создан Богом.

Что за цель? Ради чего человек был создан? Согрешить и стать воссозданным, воскрешённым, освобождённым от смертности? Он уже был таким в Раю, и тогда надо убрать оттуда Древо познания, если не начинать сначала ту же историю со свободой и искушением. А если человек на этот раз послушается и не вкусит, то никакого человечества больше и не предвидится ни на Земле, ни где бы то ни было. «Плодитесь и размножайтесь» - было сказано только зверям. Догадаться, зачем Адаму этот кругляшок, а Еве – ложбинка, можно было только съев яблочко, а это было запрещено. Да само присутствие этого странного древа тоже остаётся необъяснённым. Согласитесь, что такой проект, осуществлявшийся многие тысячелетия, непонятен. Когда же нам говорят, что тут – тайна, что пути Господни неисповедимы, это звучит беспомощной отговоркой, и диалог иссякает. Тайна-то есть, но только она – не в путаном мифе, а в зияющих разрывах в повествовании, перед которыми застываешь, раскрыв рот.

13.

Мы много раз убеждались, что человек способен быть абсолютным чудовищем. Он сумел сотворить зло и сильно укрепить его в мире. Кажется я уже упоминал о том, что родилось оно в тот момент, когда человек обнаружил, что можно быстрее, чем ожидалось, приобрести всё, что он считал для себя необходимым за счёт других людей. Когда у него получилось, пример оказался соблазнительным, и вскоре рядом с привычным добром в мире поместилось зло. С тех пор каждый рано или поздно встанет перед выбором, которого прежде не существовало. А у добра появилась необходимость быть заметным, чтобы в таком выборе соперничать со злом, что ему по природе его несвойственно, ибо добру не нужно доказывать свои преимущества – и ему это не очень удаётся. Зло же, охотно пользуясь и этим обстоятельством, успело очень широко и прочно обосноваться.

В основе своей человек от рождения расположен к добру, и ему легко было бы совершать этот выбор, раз уж он ему с некоторых пор предложен, но он естественным образом рассчитывает на опору в равном, по меньшей мере, присутствии в мире добра и очень часто такого присутствия не наблюдает. Во всяком случае, зло ведёт себя гораздо более громко и вызывающе. А чувство опасности, сопутствующее иногда его предприятиям, сообщает ему даже оттенок некоторого воодушевления, иллюзию жизненной силы. При этом, зная об отсутствии у себя подлинных прав, оно научилось сочинять самые разные обоснования своего изначального, домирного существования, используя такие сложные инструменты сознания, как философия и даже религия, которая помогла, например, злу придумать образ вечного Дьявола – романтического соперника Творца. Да и сама, как бы основополагающая идея Первородного греха, перешедшая из Ветхого в Новый Завет, хитроумно распределяет зло на всех без исключения. Но оно началось не в Раю, а здесь на Земле, как и первый общий грех случился уже здесь.

Злу ничего не светит. В отличие от добра у него нет онтологического основания, оно не укоренено в Бытии и является всего лишь продуктом человеческой деятельности. Так что переоценивать его засилие не стоит. Но естественное поведение человека вдруг приобрело возбуждённую, нервическую окраску противостояния злу. Если и говорить о противостоянии в мире и о выборе, стоящем перед человеком, то это выбор между Бытием и небытием, между человечностью и инерцией биологической человеческой заготовки.

На самом же деле никакого выбора нет. Есть совесть, языком которой говорит добро. Этот негромкий голос каждый из нас всегда отчётливо слышит, и он не имеет ничего общего с ожиданием наказания. До тех пор пока человек мотивируем страхом наказания или надеждой на вознаграждение – совесть еще не сказала своего слова. А пока зло ещё буйствует, достаточно всего лишь настойчиво использовать уже созданный нами по совету добра инструмент права. И поскольку он несовершенен, постольку стараться совершенствовать его, прислушиваясь всё к тому же голосу совести.

«Но как же боль и смерть? - спросите вы, - Не ярчайшее ли это проявление зла?»

Боль и смерть – не зло, а естественные условия нашего существования в этом мире, и они совсем не обязательно должны приносить невыносимые страдания. Это ещё одна пагубная уловка зла – даже такие основополагающие явления обращать себе на пользу, как бы укореняя, проталкивая свои права к самым основам мироздания.

Мир был создан именно таким неспроста и не по чьему-то злому умыслу. И даже обыкновенный здравый смысл может легко продемонстрировать нам, что удивительный механизм непрерывного биологического воспроизводства неизмеримо сложнее и этически предпочтительнее беспредельного размножения вечной жизни. Нас ведь страшит не смерть сама по себе, а преждевременная или мучительная смерть. Можно конечно спорить о том, сколько следовало бы человеку в среднем жить – сто лет или двести, или пятьсот, но это спор праздный. Мы ведь знаем, что человек способен свершить свою выдающуюся судьбу и в 40, и в 30 лет, так что можно считать, что срок нам предоставлен со щедрым запасом.

Что же касается боли, то простейшее из объяснений очевидно: мы сами готовы согласиться с охранительной ролью боли, предупреждающей нас об опасностях, окружающих нас в природном мире со всех сторон. Нетрудно вообразить, что в отсутствие болевых ощущений человек не выжил бы неизбежного соприкосновения с огнём, холодом, ранящими предметами. И даже более сложные болевые ощущения

исходящие от организма и предупреждающие о начале болезни как будто служат той же цели биологического выживания. В этом отношении проект мироздания, основанный на живой природе выглядит безупречным.

Труднее оправдать боль, сопутствующую неизлечимой болезни. Или боль предсмертной агонии. И та и другая ни от чего не спасают, являясь скорее предвестниками неотвратимого конца. Даже если мы соглашаемся принять конечность нашей жизни, как фундаментальный закон природы, остаётся неясным, почему сам по себе печальный акт расставания должен сопровождаться ещё и физической болью.

Можно было бы к одному из природных законов отнести и некое необходимое равновесие противоположных ощущений и согласиться, что раз уж нам выпадает в жизни некоторая доля удовольствий и радостных переживаний, надо же чем-то за это платить. А среди возможных форм расплаты боль, с точки зрения не склонной слишком задумываться о средствах природы, пожалуй будет самой простой и естественной.

Но тут приходится вернуться к вопросу о выборе. Согласен ли любой из нас искать удовольствий и радостных переживаний, твёрдо зная о последующем мучении? Хотя есть среди нас вероятно и такие. Разумеется, никто не живёт постоянной мыслью о грядущем страдании и уж безусловно не вспоминает о нём в счастливые мгновения. Но если мы всё же говорим о самом человеке, во всей сложности его бытия, в его двойственной принадлежности и к природе, и к высшей созидательной силе – можно спросить: что сама эта высшая сила имела в виду, награждая своё уникальное творение обречённостью на такой мучительный баланс?

Одна из догадок может быть связана со свойственной человеку неустойчивостью сознания и с заложенным в мироздании механизмом, позволяющим такую слабость, если не преодолеть, то хотя бы не поощрять.

В целом обычного человека смерть пугает. Следует приложить много интеллектуальных и духовных усилий, чтобы ослабить этот страх тем или иным представлением об устройстве мироздания, о соотношении времени и вечности, о бессмертии каждой личности. Не всем это по силам, и далеко не все склонны совершать такой труд. А течение событий тем временем приводит каждого к различной, часто никак не соответствующей обстоятельствам его жизни и его достоинствам мере испытаний, нередко включающих и физическую боль, и душевные страдания от одиночества, от невыносимых, неожиданных утрат.

Если представить себе, что смерть – конец земного существования, а с ним и возможности вновь и вновь встречаться со страданием – легка, никак не связана у человека с мыслью о боли, скольким из нас показалось бы желанным покинуть этот эксперимент, сохраняя глубоко внутри хотя бы и самую слабую надежду, что не всё со смертью кончается? И сколько задумавшихся о самоубийстве сохраняли бы мужество и терпение выносить эти муки до тех пор, пока мера их не превысит даже страх предсмертной агонии?

Но по замыслу Творца, как представляется, у человека есть миссия, и за то время, которое ему отпущено природой, он должен постараться её осуществить. В конце концов, предполагается, что это – совместная с Творцом миссия, добровольное и воодушевлённое сотрудничество. Самовольный, односторонний отказ от него не делает человеку чести, как бы ни склонен он был в трудные минуты об этом забывать. А посему, непрямым, опосредованным приёмом дружественная рука Всевышнего удерживает его от этого шага, отстраняет от мысли о смерти, делает её непривлекательной.

Однако, есть и такие, кто держит данное слово и не помышляет о бегстве. Чем следует объяснять их предсмертную муку? Их не так уж мало. Иногда их самосознание так глубоко, что они способны и эту боль ставить в ряд со всеми остальными потерями в противостоянии с природой во имя возможности участвовать в Творении. Но возможно они знают, что осуществимо и такое мироздание, в котором отсутствовали бы невыносимая боль, преждевременная или насильственная смерть и опустошающие страдания. И как раз его-то, может быть, и есть шанс у человека сотворить, руководствуясь опытом того мира, в котором он себя обнаруживает, включая все его стороны. Творчество же как раз и предполагает овладение энтропией, взаимодействие с хаосом, излечение болезней, осуществление этических требований – неограниченное совершенствование мироздания. Нет, это будет не вечным блаженством и безмятежным богообщением, а всего лишь благородным и благодарным творческим трудом созидания всё более удивительного и небывалого.

Стоило ли соглашаться участвовать в этом эксперименте, каждый решает сам. Но, пожалуй, исполненный добра Высший Разум не стал бы творить этот мир, не получив нашего согласия.

В прозрениях Христа это звучит так:

«Прославь Меня Ты, Отче... славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира».

14.

Сомнений нет, весьма значительная часть человечества продолжает творить зло – или медлит принять человеческий облик. И столь же несомненно, что человек по-прежнему остаётся способен на проявления абсолютно бескорыстного добра. Вот это устойчивое тяготение сынов Божьих к добру – может быть единственным, о чем имеет смысл думать.

Заставить человека обрести смысл нельзя. Никого нельзя заставить прислушиваться к совести. Никого нельзя заставить обратиться за помощью к искусству. И, в конце концов, человек, в достаточной степени удовлетворён своей жизнью. А то, чем бывает иногда неудовлетворён, он, как ему кажется, вполне в силах исправить сам. Почему бы не оставить его в покое? И кто мы, собственно, такие, чтобы сомневаться в справедливости такого положения вещей? Что такое нам известно, что свидетельствовало бы о неблагополучии этого положения, что не даёт покоя – нам?

Сонм гениев, кричащих о гармонии – и приглушённая, не соответствующая пронзительности этого клича реакция человечества. Великие произведения искусства, ошеломляющие открытия науки, глубокие откровения философской мысли – они ведь рождаются не зря и свидетельствуют о необъятных глубинах человеческого духа. И непонятно, необъяснимо нежелание человека услышать и вместить этот зов.

Может быть, это страх предчувствия, что, вместив, он вынужден будет осознать свои, неведомые ему до сей поры возможности и, не дай Бог, реализовать их. Он ведь видит, на какие умопомрачительные зверства способен иногда их употреблять. Разве не опасно было бы эти возможности расширить до бесконечности?

Сам себе продемонстрировав собственные разрушительные способности, человек оробел, оставив себе лишь внешнюю свободу развивать то, что уже существует, чем, худо-бедно, научился управлять. И остаётся глух к призывам, обращённым к самой его сущности, к его совести и сердцу. Мы не строим дом, ибо презрели тот камень, который должен был бы встать во главу угла.

Мы даже ухитрились создать наш собственный, редуцированный вариант Мессии.

Как заметил Джордж Оруэлл, всё шире распространяется мнение, что «неучастие», то есть, некоторая отстранённость от повседневности, обычно связываемая с просветлением и ярче всего выраженная у буддистов – лучше полного приятия земной жизни, и что избегает этого пути обыкновенный человек только из-за его трудности. Другими словами, что рядовой человек – это несостоявшийся святой. А затем, предлагая своё видение ситуации, Оруэлл утверждал, что многие люди как раз искренне не хотят быть святыми, и, возможно, некоторые из тех, кто достиг святости или стремится к ней, никогда не испытывали сильного искушения быть людьми.

По его мнению, главным мотивом «неучастия» может быть желание уберечься от страданий жизни и, прежде всего, от любви, ибо любовь – тяжелый труд. И тогда понятно, почему их не особенно заботят проблемы человеческого опыта во всей его сложности и полноте. Они следуют напрямик к просветлению, достигнув которого, мы перестаём придавать особое значение тому, что с нами случается в жизни, и берегаем себя от страданий и, прежде всего, от любви. А ведь на этом построены все так называемые современные духовные движения, и популярность их огромна. Остальные же искренне не помышляют о святости. Правда, многие и о человечности не помышляют.

15.

Уединение, говорите?

Пожалуй, я могу сказать об этом кое-что ещё.

Я старался, Я отдал все силы, чтобы жить, как вы все, за исключением худших из вас – на это последнее у меня нехватило времени. И теперь я понимаю, что вы имеете в виду, признаваясь в своём бессилии. Никто не берётся сказать последнее слово, и я сделаю это сам. Всё будет отныне так, как я скажу.

Вы не знаете, что ждёт вас за порогом смерти?

Я знаю.

Вы не знаете, отчего вы появились на свет?

Я знаю.

Вы не знаете, зачем вы живёте?

Я знаю.

Вы не знаете, что вам надлежит делать?

Я знаю.

Вы не знаете, почему вы терпите мучения?

Я знаю.

Вы не знаете, отчего всё валится у вас из рук и рассыпается в прах?

Я знаю.

Вы мне не верите?

Ваша вера ничего не стоит, равно как и ваше неверие.

Вы станете мной. Иначе вас нет и никогда не будет.

Теперь я расскажу вам, как я стал собой. Для начала нужно чтобы со скрежетом и визгом остановилось движение. Внезапным скрежетом и продолжительным визгом...».

На этом настойчивый поиск смысла оборвался... Ни слова об опасности, кроме короткой чужой цитаты. Стало быть, этот поход к истине не так уж светел и победоносен, и не каждому удаётся завершить его живым. И не каждый успевает предупредить о той чудовищной силе, которая сопротивляется таким попыткам. Об ощущении

безнадёжности, обречённости, всеобщей глухоты. Но может быть и нет такой вездесущей силы, как не существует изначального зла. Есть только свой персональный демон, который у каждого обладает разной властью, и о котором нельзя рассказать, как не могли рассказывать о своём опыте вернувшиеся из Аида или побывавшие на Элевсинских таинствах... Иначе человек раз и навсегда отказался бы от этого предприятия.

Сколько же тех, кто не сумел оставить и свидетельства своих усилий...

28. Время отдыхать и время работать.

Профессор философии Бенджамен Нортон появился недавно, одновременно с пересмотренными учебными программами. Его пригласил в университет заведующий кафедры, который завершал педагогическую карьеру и, благодаря новым правилам, мог передать эстафету следующему по старшинству, а на освободившееся место взять своего бывшего ученика, преподававшего в одном из колледжей Среднего Запада.

Николас счёл невежливым не откликнуться на внимание к себе и не стал дожидаться посещения. Он разыскал служебный телефон философа, убедился, что тот у себя в кабинете и отправился к нему.

Нортону было около сорока лет, но казался он усталым. Проявлялась эта усталость не в отсутствии энергии или пониженном внимании к окружающему. Так выглядит человек, который не даёт себе передышки. Вот и теперь он опередил Николааса, сразу перейдя к делу.

- Я посмотрел запись ваших семинаров, особенно последнего, которым вы мне очень помогли. У меня нет возможности отвлечься на литературу, но вы так распахали им мозги, что сильно облегчили мне работу с экзистенциализмом. Я хотел бы вам отплатить. Вы называете две формы трагедии. Знаете, что существует третья?

- Догадываюсь. Связано ли это каким-то образом с христианством?

- Косвенно. Но тут может показаться, что это просто развёрнутый вариант второй гамлетовской трагедии, распространившейся на всё человечество, а это не так. Это совершенно новая форма, вызванная к жизни новыми обстоятельствами, сравнительно недавними. К сожалению, невозможно изложить всё это в двух словах, но если вы согласны ненадолго уступить свою роль учителя, я рад был бы подарить вам эту идею. Она не совсем моя – я, как и вы, сильно уклоняюсь в своем курсе от академической последовательности, и одной из тем взял современного философа, бывшего вашего соотечественника, которого здесь практически не знают. Я тороплюсь переводить его лекции, чтобы было о чём беседовать со студентами... Но не в этом дело. А в том, что он, как мне кажется, проникает в самую суть стоящих перед нами проблем.

- Вы не о Мамардашвили случайно говорите?

- Как вы догадались?

- Да если судить по вашим словам, ни о ком другом речи быть не может.

- Ну, значит нам легко будет понять друг друга.

Неужели, это и был тот человек, которого ждал Николаас, беспомощно пытаясь свести воедино одно за другим возникавшие разрозненные представления – и собственные, и приходившие со стороны: пассивную роль искусства и его сиротское состояние в современном обществе, необходимость образовательной реформы, страх человека перед самим собой, потребность и опасность уединения, агрессивную уверенность идеологии благополучия и многое другое? Он, видимо, как и упомянутый им философ, владел тем особым складом мышления, который позволял прозревать единство.

- И вы сумеете найти для меня время?
- Времени у нас с вами всё равно нет, сколько бы нам его ни предоставляли. Так что я давно уж отказался его экономить.
- Слушайте, Бенджи, я не нахожу слов, чтобы описать, как я благодарен, что вы меня заметили. Но мне кажется расточительным тратить ваши силы на одного меня. Есть несколько человек, которым не менее важно было бы всё это услышать. Вы согласились бы чуть-чуть расширить аудиторию? Что если мы сделаем вашу лекцию Рождественской?
- Вы зовёте меня в гости?
- Да. Это хороший дом, и там будет всего пять-шесть человек.
- Если вы считаете это необходимым, я готов.

* * *

На этот раз Марк пришёл сам, кажется сбежав от наблюдения жены. Он не был растерян или подавлен, но бодрость его приняла какую-то новую, легкомысленную и циничную форму.

С римской поездки они не встречались, а на обратном пути всерьёз её не обсуждали. Николасу показалось, что его приятель остался доволен визитом и задачу свою считал выполненной.

- Ты не хочешь убраться отсюда куда-нибудь подальше? У тебя тоже каникулы скоро. У Вудса яхта есть – по-моему, в Филадельфии. Закатимся на Бермуды...

- Устал?
- Нет. Скучно. Понуро всё выглядит.
- Всё?
- Всё.
- Кто бы мог подумать? И райский городок в Огайо?
- Ослепительный проект. Блестящий. Разберутся без нас.
- Ты хочешь сказать – за нас?
- Ну, ты ещё о совести мне расскажи. У всех вокруг вдруг совесть заговорила. Я пока за свою отчитался. Подожду других.
- Марк, в чём дело?
- Да нет никакого дела. Отсутствие впечатлений. Ничего не происходит. А на Бермудах я ещё не бывал. И Ленку тоже надо развеселить. Она виду не подаёт, но я-то её знаю...
- А у неё что?
- Лекарств нет. Ты её в гневе не видел? О-о! Это надо видеть, хотя я тебе не советую.
- Что значит – нет?
- Нехватает. Великая страна изобрела спасительное лекарство от детского рака, но не в состоянии обеспечить им своё население. Я пробую объяснить, как это выходит – она не хочет слушать. И правильно делает. Сначала эти нелюди манипулируют ценами, попадают и платят штрафы. Потом отказываются поднимать цену на нужный уровень, потому что боятся скандала, а остальные не хотят вступать в конкуренцию и увеличивать производство, потому что невыгодно. И дети проваливаются в это решето. О взрослых я не говорю, потому что они сами – гореть им адским пламенем! – устроили эту рыночную вакханалию. И когда моя возлюбленная вопит: «Заткнись!», я с ней заодно. До тех пор,

пока условием для этого сияющего рая остаётся невежество, равнодушие и жадность, я говорю: пошёл он ко всем чертям!

Совсем неподходящим собеседником был сейчас Николас для подобной терапии. Разве что поделиться недавними сновидениями и хором попенять на обманывающую ожидания действительность. Вот только Бермуды оставались торчать как неуместная, аляповатая картинка. И это уводило ситуацию назад, к ночному кошмару. Возвращаться туда ему не хотелось.

- Подожди. Дай-ка я тебе покажу одну работу. Просто студенческую курсовую.

- Оставь ты меня с исследованиями своими. Неужели мне нужны разъяснения какого-то мальчишки или девчонки?

- Видишь ли, мой взрослый друг, нам нужны не разъяснения их, а они сами – наша способность их выслушать. Или кого бы то ни было вообще. Ты недавно беспокоился о целенаправленном, конструктивном понижении интеллектуального уровня во имя скорейшего сближения с искусственным разумом. Ты, может быть, до такой степени прав, что в крайнем своём выражении этот процесс уже убил Мэлвина Рида.

- Откуда ты знаешь? – встрепенулся Маркус. Но Ник вопрос пропустил.

- Ты и не заметишь, как твой болевой порог здравого смысла вырастет до небес, и тебе – или твоим друзьям – удастся создать новое, проклятое человечество. Так что брось канючить и послушай.

Ник разыскал нужные страницы.

- Мы недавно работали над «Чумой» Камю, и этот парень спросил меня, не идея ли карантина была причиной моего выбора. А я ему посоветовал, если его эта тема занимает, почитать «Постороннего» и свои впечатления записать. И он мне тут такое настроил, что чуть ли не усыновить его захотелось. Помнишь книгу?

- В общих чертах.

- Этот персонаж, он такой, равнодушный, как будто не способный взволноваться ничем – ни смертью матери, ни друзей у него настоящих не заводится, ни возлюбленной. Камю не объясняет причин такого состояния, но он вроде не вполне участвует в жизни. И парень этот – его Питер зовут – он сумел углядеть в этом некоторую форму искусственной отъединённости, карантина. Потом он ни с того, ни с сего убивает случайного араба, и его приговаривают к казни. А в тюрьме его пробует утешить священник, и вот тут он взрывается и сам себя объясняет. Теперь я тебе прочту.

«Я был прав, я и сейчас прав, всегда был прав, – лихорадочно выкрикивает он. – Все – все равно, все не имеет значения, и я твердо знал, почему... Что мне смерть других, любовь матери, что мне его бог, жизненные пути, которые выбирают, судьба, которой отдают предпочтение, раз мне предназначена одна единственная судьба, мне и еще миллиардам других избранников, всем, кто, как и он, называют себя моими братьями. Другие тоже когданибудь будут приговорены к смерти...».

И мальчишка этот, как ты говоришь, начинает попутно комментировать:

«Кто это говорит? Убийца, лишивший жизни человека без всяких причин и не усматривающий в своих действиях ничего порочного. Унылый демагог, недоразвитая личность. Но нам предлагают всерьёз прислушиваться к его «философии жизни»?

«...Рано или поздно, старым или молодым, в собственной постели или на плахе...».

«То есть, для него нет разницы – умираешь ли ты своей смертью или расплачиваешься за убийство другого».

« ...каждый умрет в одиночку, разделив участь всех прочих, и перед этой беспощадной ясностью тают все миражи, за которыми гонятся люди, пока не пришел их

последний час. Суетны все потуги заслониться от жестокой очевидности, посвящая себя карьере, помощи ближним, заботе о дальних, гражданскому служению или еще чемунибудь в том же духе...».

«Заслониться – вот максимальная реакция его сознания на жестокую очевидность, по существу – на закон бытия, который, в общем-то, заслуживает более серьезного отношения».

«Бог, якобы предписывающий то-то и то-то, – сплошная выдумка, пустые небеса хранят гробовое молчание, свидетельствуя, что в мире нет разумного и рачительного хозяина и с точки зрения отдельной смертной песчинки все погружено в хаос...».

«Ничего себе хаос! Создавший мироздание и сознающую себя личность. А чтобы рассуждать о рачительности хозяина, хорошо бы сначала объяснить, что именно этот страдалец счёл бы благополучным существованием, о котором следовало бы позаботиться хозяину».

«Невесть зачем явился на свет, невесть почему исчезнешь без следа – вот и весь сказ о смысле, точнее, бессмыслице жизни, который выслушивает от глухого к его запросам мироздания всяк правды взыскующий».

«Почему бы тогда не воспользоваться возможностью обеспечить себе богатое, приятное и относительно безопасное существование, зарабатывая деньги и не озабочиваясь способом их приобретения? Пока твоё невежество не приведёт к фатальному столкновению с действительностью, и не настанет время обратиться к жалобам.

Но взыскивать и капризно требовать – разные вещи. К капризному, ничем себя не обязывающему требованию мироздание вправе оставаться глухим.

Ещё один вариант откровения того, кто по тем или иным причинам изолирует себя от мира, остаётся в добровольном карантине. Такое мировоззрение скорее всего вынесет из уединения слабая душа».

Это лишь часть его эссе, но я хотел тебе показать, какой ракурс этот парень выбрал. Тут, в общем-то целая новая этика. Или анти-этика, невозможность почувствовать боль.

- Отвращение – чувство довольно болезненное.

- И прекрасно, если ты сознаёшь, что вызывает его дело твоих собственных рук... - Дальше нельзя было забираться, не упоминая о Риде, чего он сделать не мог. Тот знал кое-что и о нетерпении, но не стоило растаскивать его мысли по частям. Да и выход он нашёл незавидный. - Но ты не слушаешь самого паренька...

- Да слышу я, слышу... Много у тебя таких?

- Которые не капризничают? Немного, но есть.

- Стареем мы что ли?

- Ты меня спрашиваешь?

- На Бермуды-то я всё-таки поеду.

- Скатертью дорога.

- Что ж ты ругаешься...

- От слабости. От невозможности почувствовать боль.

- Прости, старина.

- До Рождества не уплывёшь? Джулия предложила нам всем у неё собраться.

- Но это же совсем другое дело!

* * *

Конверт из Ватикана выглядел так внушительно и красочно, что хотелось его сохранить.

«Дорогой господин Гатов:

Я продолжаю оставаться под впечатлением нашей встречи и мысленно возвращаюсь к её отдельным темам.

Надеюсь, вам удаётся сохранить достаточно душевного покоя, чтобы не слишком терзаться печалью и не терять интереса и пристального внимания к жизни, которые вы столь утешительно продемонстрировали в нашей беседе.

Благодарю вас за возможность познакомиться с госпожой Джулией Рид. Вы оказались правы, и знакомство это было равно необходимо нам обоим. Боюсь, что его кратковременность могла создать впечатление о моём недостаточном внимании к ней. Постарайтесь её в этом разубедить. Её горе поместилось глубоко в моём сердце, и часть его отправилась за нею следом.

Рукопись господина Рида представляет собой интереснейший материал, который безусловно заслуживает всеобщего внимания. Мой скромный опыт подсказывает мне, однако, что у формы Записок в наше, перенасыщенное информацией время слишком мало шансов такое внимание обрести. Так что я позволю себе обратиться к вам одновременно за советом и сотрудничеством.

Первым, что мне вспомнилось, были несколько выдающихся произведений, в которых авторы прибегали к жанру псевдоисторических литературных находок. Мне показалось, что это могло бы стать удобным способом собрать записи воедино, может быть реорганизовав их, если это окажется полезным, и сообщить повествованию впечатляющую непрерывность и движение. Простите меня за излишнюю смелость в области, в которой я не могу себя считать даже дилетантом. Это всего лишь непосредственная фантазия воображаемого будущего читателя.

Я очень рассчитываю, что ваши знания и опыт смогут отыскать наиболее подходящую форму для подобного опуса.

Из беседы с госпожой Рид мне не удалось составить представление о подлинных причинах, заставивших её супруга совершить этот ужасающий акт. Есть ли у вас какие-либо догадки о внешних и внутренних обстоятельствах, которые могли вызвать такое решение? Я спрашиваю об этом не из любопытства. Продолжая свою самонадеянную попытку исследования возможных жанров, я представляю себе, что из некоторых подробностей биографии господина Мэлвина Рида, равно как и из его глубоко личных обстоятельств мог бы сложиться некий дополнительный сюжет, пусть даже отчасти вымышленный, который содействовал бы ещё большему единству и живости повествования.

Всё это, разумеется, станет возможным лишь при согласии и участии госпожи Рид. Но у меня сложилось впечатление, что она может оказаться расположенной к такого рода мистификации.

Я, со своей стороны, поищу способа предложить эту публикацию с некоторым оттенком покровительства Папского престола. Это должно вывести труд из области популярного коммерческого книгопечатания, но, как мне кажется, сможет привлечь к нему довольно широкий круг читателей. Пока у меня нет ясного представления, что это может быть за способ – ничего подобного в истории Ватикана, насколько мне известно, не случилось. Но такой пустяк не может нас останавливать. Вы это знаете лучше меня.

Признаюсь вам, что в воображении своём я уже вижу смутный облик этого издания, и возможность участия в нём переполняет меня радостным чувством совершённого долга.

И последнее. Вы, вероятно, полагаете, что меня должны смущать те фрагменты рукописи, где речь идёт о христианстве. Они напротив вызывают чувство глубокого воодушевления. Уже очень давно церковь не встречается с заинтересованной и серьёзной критической мыслью, и это невероятно ослабило ту внутреннюю силу, которая была свойственна ранней вере и должна быть готовой выдерживать любые испытания. Ваш автор поднимает вопросы, которые, как я надеюсь, заставят нас найти столь же глубокие ответы – если церкви суждено выполнить свою миссию в мире Божьем.

Буду рад услышать от вас любые соображения, независимо от того, как вы отнесётесь к самой идее.

Пожалуйста, передайте мой поклон госпоже Рид.

Да благословит вас Господь.

Счастливого Рождества Христова!

Франциск I».

29. Пока живёшь...

Соскочив с тренажёра, можешь оказаться отнюдь не на мощёной дороге. И велика вероятность, что угодишь как раз на вязкую, мало подходящую для прогулки почву. А долгая отвычка от серьёзного сопротивления может повергнуть в уныние. Тут легко забыть, что только теперь открылась сама возможность двигаться вперёд.

Но что же всё-таки происходит? Удаётся ли власть имеющим управлять колёсами истории, спасаясь от ускоряющегося влечения к неведомой цели? И да, и нет. Они притормаживают и слегка меняют направление, а цель остаётся неведомой. Похоже, что ни у власть имеющих, ни у нас – их пёстро и растрёпанного окружения нет представления о том, куда хотим попасть, уж не говоря о том, куда попасть стоило бы.

Не станем приуменьшать своих заслуг. Кажется, мы избежали очередного катаклизма и выиграли ещё немного времени для поиска. Но что если изнурительный поиск как раз и есть то заблуждение, которое обрекает каждую новую затею на новый провал.

У ночного кошмара о чудовище, прижавшем человека к земле, была другая, лёгкая и бесхитростная аллегория.

Приглянулась царю красавица-жена его солдата, и приказал он служивому, по совету злой старухи-колдуньи, пойти туда, неведомо куда, и принести то, неведомо что – то есть, поставил его перед невозможным выбором. Ясно же, что ни дойти туда, ни принести этого нельзя. Как и отказаться от приказа. Мой меч – твоя голова с плеч.

В подобном оцепенении задержался мир, не в силах понять, что следует делать. Нынешнее существование бесперспективно, способы его исправления – невообразимы, и выхода нет. И мы продолжаем прикидывать, чем бы таким это неведомое могло оказаться, на что оно может быть похоже – гипнотизируем себя маятником, не слыша «тик-так». Или вздумаем себя убедить, что «не знамо что» это глобализация. Но царь недоволен. Он требует не глобализации, она – ведомо что.

Сказка, однако, только начинается...

Да пусть оно тогда таким и останется – неизвестно чем! Единственное, что мы можем знать с определённой уверенностью, это что оставаться на месте нельзя, и что не найдя его, мы обречены. Но тогда и надо поискать именно – неизвестно где, и именно – неизвестно чего. Положиться на живущего рядом верного человека и приняв от него в дар клубок ниток, да вышитое полотенце, сунуть рушник за пазуху, бросить на дорогу клубок, и отправиться в путь. Но теперь уж смотреть в оба, чтобы не пропустить то, что поможет добраться до цели.

И главное – отложить на время мысль о том, что всё предприятие как будто затеяно Провидением на гибель. Такая перспектива напоминает предсказания Оракула, но ведь называя спасительную цель неведомой, он не утверждает, что её нет. Да, неизвестно где и неизвестно что. Но оно есть. Злая колдунья, сочинившая приказ, о мироздании знает не так уж много. Она сильна в делах, полезных низким душам, преследующим неправедные цели.

Так что, не пытаясь заглядывать слишком далеко вперёд, доверимся обстоятельствам и попробуем пойти... пока туда, куда катится клубок ниток. Именно это советует сделать светлая душа, красавица-жена, дав на дорогу два простых и полезных предмета. Что-то непременно встретится на пути и поможет определить дальнейшие действия.

Кто мог предположить, что нехитрые предметы приведут тебя к сводной родне, среди которой жива ещё мудрая старуха-тёща. И хоть сама она пока не знает, чем тебе помочь, но тоже не оставляет усилий разведать у зверей и птиц, а потом у рыб и гадов морских. И вот, казалось бы уже в последней попытке обнаруживается всеми позабытая, тридцать лет живущая в отставке колченогая старая лягушка, которая – скажите на милость! – знает, куда надо идти. Она давно живёт, и ей известно то, чего не знают пославшие на гибель, и о чём позабыли все остальные.

С помощью этого колченогого создания ты сумеешь преодолеть оставшиеся мелкие преграды и попадешь, куда надо. Но теперь всё будет зависеть от тебя самого – последний совет помощницы только приоткрывает будущие возможности.

Понаблюдав из укрытия, как два каких-то посторонних старца вызывают невидимого но всесильного духа и пользуются его услугами, ты после их ухода повторяешь трюк и, в отличие от необщительных стариков, приглашаешь духа разделить с тобой трапезу, которую он тебе обеспечивает. Чем несказанно изумляешь его, не привыкшего к такой доброте. Этого не предлагала тебе делать многомудрая лягушка, которая знает, что учить доброте нельзя, и что предписанная доброта мало чего стоит. И этот дух с подходящим именем Шмат-Разум охотно соглашается покинуть неблагодарных стариков и поступить в услужение к тебе.

Достаточно ли невероятно развивались до сих пор события, чтобы догадаться, что доброжелательный и могучий дух может быть как раз и есть «то, не знаю что»? Достаточно ли долог и полон новых впечатлений путь от первого невнятного распоряжения до первых представлений о «неведомо где» и «неведомо чём»?

Теперь открываются ворота настоящим чудесам, которые приводят к обретению трёх новых волшебных предметов. В твоём распоряжении оказываются вырастающий и исчезающий сад, появляющийся по распоряжению многочисленный флот и несметное войско.

Ты так давно странствуешь, что уходят в беспмятство прежние условия, вынудившие тебя предпринять путешествие. Поселяешься ты во дворце, построенном для

тебя Шмат-Разумом, и возвращается к тебе жена – светлая душа, которая вынуждена была всё это время летать по лесам сирой горлинкой, уклоняясь от притязаний властительного злодея, отправившего тебя на смерть. Сам же злодей, решивший теперь использовать грубую силу, терпит поражение от твоего войска. И ты занимаешь его место в царстве.

Кто помнит, с чего всё началось? Кому удалось удержать в памяти бессвязную изначальную идею «пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что»?

Эх! Что нам в ней!

Но как быть, если чья-то корыстная воля и вечно находящаяся у неё на подхвате злая колдунья поставят тебе новое безумное условие?

Перечитать эту волшебную сказку, родившуюся задолго до поучительных и обескураживающих философских систем, собраться с силами и опять пойти... Туда.

* * *

Большинству собравшихся на Рождественский ужин эта европейская сказка была ещё незнакома.

Две счастливые пары, двое одиноких, которые парой стать не могли и не обещали, но оказались связанными утратой, дети Джулии, тоже являвшие собой некое единство, и два новых лица, с которыми всем только предстояло познакомиться – дочь Николаса и его коллега по университету. Десять живых душ.

Ник с Наташей пришли раньше всех и он успел показать Джулии ватиканское письмо. Этот секрет, который они, не сговариваясь, удерживали при себе, заставлял то одного, то другого невпопад улыбаться. Но в общем настроение вечера не искало праздничного веселья и склонялось к простому дружескому застолью.

- О какой мистификации он говорит? – спросила Джулия, пока они ждали остальных гостей.

- Я не знаю. Догадываюсь, что это могло быть что-то вроде «Избранника» Манна. Эта папская легенда должна была ему на глаза попасться.

- Надо почитать.

- Почитай, почитай. Меня другое тревожит – где автора найти. Я никогда не пытался писать и не думаю, что мне следует за это браться теперь.

- А ты подумай. Пока я почитаю.

Для Джулии это было первым самостоятельным Рождеством, для Николаса – третьим, и разница это тоже не имела значения. Обоих временами схватывала тоска и дикость своего присутствия на этом торжестве, и они старались погасить эти приступы, ища взглядом друг друга.

Ник с трудом уговорил дочь провести праздник в малознакомой компании. Никакой иной цели, кроме как побыть в этот день вместе, у него не было, хотя оставалась слабая надежда, что эти своеобразные люди могут совершить чудо, овладеть её вниманием, а то и согреть её заледеневшее сердечко.

Он оказался прав, но не предполагал, какой болезненной может оказаться для неё такая перемена. Быстрее всего схватила ситуацию Патриша Холман, и вместе с Джулией они быстро справились со скрытой застенчивостью Наташи, мягко отстранили её привычную манеру притворной общительности и, прикрыв её от мужчин, вынудили сначала ожесточиться. Отсюда начинался путь к оживлению, и обе женщины не оставили ей никаких сомнений в том, что будет на кого положиться на этом пути.

Николас не очень понимал, что происходит. Изумлялся только, что давно уже не видел дочь в таком состоянии. Сыграли свою роль и удивительные дети Ридов – с ними ей было легче. Её природная тяга к детям, которую не в состоянии были исказить никакие внутренние переживания, встретила немедленную отдачу. С Кейси они обсуждали живопись, которой обе увлекались. Юджин сразу предложил им сделать совместный сайт для их картин, о котором Наташа давно задумывалась, так до сих пор и не собравшись его создать. Поселиться на таком сайте вдвоём казалось веселее и как будто снимало лишнюю ответственность.

Попытки разговорить актрису и режиссёра о следующей работе встретили дружелюбный отказ – такова была профессиональная этика и тайное суеверие. А оказавшись в какой-то момент с Ником наедине, Джулия кивнула в сторону детских комнат и сказала:

- Вот же твой писатель. По крайней мере соавтор.

И он подумал, что это может оказаться правдой. Дочь писала и стихи, и прозу, свидетельствовавшие о несомненной одарённости.

- Тебе придётся самой её об этом попросить, - ответил Николас.

- А что ты думаешь, и попрошу, жалкий трус.

И вот посреди утешительного застолья и радующих впечатлений его заморозило отчётливое ощущение, что всё это ему совершенно безразлично.

Так ли уж сильно его волновало состояние высшей школы? Или он увидел способ обеспечить себе надёжную нишу для занятий тем единственным, что ещё способно было доставить хоть какую-то радость? Действительно ли глубокое сострадание влекло его к знакомству с этой женщиной? Или инстинкт подсказывал ему, что он сможет найти в ней хотя бы отдалённое созвучие собственной боли? Заставляла ли его пойти навстречу просьбе уважаемого главы государства простая порядочность? Или забота о будущем страны? Или его погоняла почти нереальная возможность прикоснуться к религиозной тайне и, может быть, разделаться наконец со страхом воспоминаний?

Выходило, что не судьба пейзажа занимала его, а пытался он за его счёт утолить тоску своей, не знающей покоя души. По неведомым причинам мир шёл ему навстречу, и попытки удавались. Но не он искал у мира выгод – пейзаж сам предлагал ему подходящие обстоятельства и, стало быть, признавал его нужду справедливой. Значит мучительное его положение не было каким-то жестоким уродством, а представляло собой хотя и загадочную, но вполне естественную, приемлемую для мироздания форму бытия?

Вот только сам пейзаж оставался слишком живучим и изобретательным, вызывая опасения, что за ним не поспеваешь. Но почему, собственно, следует за ним поспевать? И почему бы не обратиться к пейзажу ещё с одним с предложением – побыть в покое? Кажется, им обоим это может пойти на пользу.

Покой большого озера, ночного неба и Четвёртой симфонии Брамса. Покой границы между монастырём и монастырским кладбищем. Многообещающий покой семян, завёрнутых во влажную ткань памяти – свидетельств, оставленных отчаявшимся соотечественником и ждущих случая пойти в рост.

Помимо действующих лиц сказки должен быть тот, кто способен её сочинить. Для этого может не хватить одного участия в событиях.

Рано или поздно речь должна была зайти и о том, что ожидает их всех. И начался разговор с упорного предложения Маркуса отправиться на Бермуды, теперь обращённого уже ко всем присутствовавшим.

- А что, треугольник вы уже разогнули? – спросил Эндрю.

- В него я вас и заманиваю. Лучше, чем по ту сторону, никому не будет.

- Правду говорят, что у тех, кто искусственным разумом занимается, нормальный человеческий отшибает, - сказал Николас. – А заодно совесть, и чувство юмора, и прочие приличия. Лена, ты прости меня, но кому-то приходится ковбоя твоего придержать. Тебя, капиталист, я уже предупреждал.

- Да нет, это вы нас извините, вернее – его. От него уже все жилетки разбежались, в которые можно поплакаться.

Марк покраснел и помрачнел.

- Ладно. Извините. Я действительно предлагаю всем отдохнуть. Из самых добрых намерений. С Рождеством! – и он выпил свою рюмку водки, не дожидаясь остальных.

- У нас тут с профессором Нортонем секрет образовался, - решился наконец Ник, поняв, что никакого удобного момента ждать не следует. - Меня мучает совесть, потому что я воспользовался этим секретом, чтобы заманить его в компанию. Хотя на самом деле совершенно не было нужды в посторонних причинах, чтобы он тут среди нас оказался. Ну и теперь я секрет открою, чтобы от этих причин избавиться. У нас пересеклись учебные интересы. Бенджи счёл, что я ему как-то анонимно помог в его семинаре, и решил отплатить мне одной из своих идей. А я, догадываясь о значении этой идеи, подумал, что всем вам интересно будет с ней познакомиться. И Бен согласился. Так что, если у вас есть настроение, в качестве Рождественского подарка мы можем предложить вам бесплатную лекцию на уровне столичного университета. Но, как я сказал, это не обязательно, это уже не условие присутствия профессора Нортоня за эти столом. Ну как? Хотите дармовой мудрости?

- Всегда, - первым ответил Маркус.

- Как я вам сочувствую, Бенджи, - проговорила Патриша Холман, качая головой, - После такого вступления никакого гонорара не захочешь. Но вы забудьте все эти многословные любезности – они в самом деле излишни. Расскажите лучше, что вам такое пригрезилось.

- Охотно, миссис Холман. И знаете что, я, пожалуй, рискну разочаровать профессора Гатова. То, о чём говорит Николас, касается довольно специфической темы – одного из литературных жанров. Я по-прежнему считаю, что предмет этот может быть интересен, но в основном – профессору Гатову. В любом случае, прежде чем к нему приступить, нам пришлось бы заставить Николаса изложить смысл нескольких его семинаров. Я, если позволите, хочу предложить вам другое. По чистой случайности мы в ходе своих лекций одновременно встретились с особым историческим феноменом, когда философия внезапно вступает в тесный союз с литературой. Пока это случилось дважды – в эпоху Просвещения и в относительно современный период широкой популярности философии экзистенциализма. И вот тут мне кажется таится некая связь, которая, возможно, позволит нам яснее понять, в каком положении находимся мы сейчас. А должок профессору Гатову останется пока за мной.

Но это как раз и было тем, на что рассчитывал Ник. Остальные приготовились слушать.

- Речь пойдёт о символе «Второго рождения». Вам должна быть знакома эта идея: природа не рождает людей. То, что рождается, есть лишь потенциальный человеческий материал, в котором людям ещё суждено родиться – испытать «второе рождение». Оно определяется способностью к самостоятельному независимому мышлению. Иногда это называют «бодрствующим состоянием». И чтобы к нему прийти, чтобы родился человек, нужны вспомогательные силы или приспособления. Их символы закреплены в мифах, религии и искусстве. О них говорит философия. Этот акт происхождения человека оставил нам традицию и наследство, которое мы называем культурой.

То есть, человек – существо, само себя рождающее процессом, который называется история и культура. В личной судьбе он довольно труден, потому что ему сопутствует страх перед бодрствующим сознанием, рождающий вопросы: «Хочу ли я?», «Смогу ли?» и, наконец, «Стоит ли?». Человек может относительно благополучно существовать и в первоначальном своём состоянии биологической личности с мышлением подчинённым социальным или идеологическим обстоятельствам.

Но рождение Человека, и, соответственно, Человечества – это и есть цель эволюции. А «бодрствующее состояние» обеспечивает именно культура, которая включает в себя философию, искусство, религию и науку. И, как средство поддерживающее доступ к этим элементам – образование.

Значит, будем считать, что мы по достоинству оценили важность культуры, без которой у «второго рождения» шансов не остаётся.

Историческое явление, как и весь процесс является производным нескольких составляющих – экономической, социальной, идеологической и культурной. В самом явлении мы этих оттенков не различаем, воспринимая его целиком, как свершившуюся данность. Но в разные периоды отдельные составляющие могут преобладать, подавляя другие. В последний период такому подавлению подверглась культура, так как на первое место вышли экономика и идеология, в большой мере овладев направлением развития общества. В крайней форме это было сформулировано в словах, часто приписываемых Геббельсу – насчёт культуры и револьвера. На самом деле это реплика одного из персонажей нацистской пьесы, но это не важно. В этой фразе несколько фарсовым образом выразился дух эпохи.

Уничтожить культуру невозможно, но влияние её на мировой процесс и на его цель – «второе рождение» – может сокращаться, замедляя и искажая этот процесс и вызывая проблематичные и иногда катастрофические общественные явления. Обществу следовало бы заботиться о том, чтобы поддерживалось равновесие влияний.

Постепенное сокращение влияния культурной составляющей происходит незаметно, и скрыто от нашего внимания. Мы видим только его результаты. Экзистенциализм заявил о нём громче всего, но в философской его форме он остался уделом специалистов. А вот его писатели распространили этот клич довольно широко. Сделали его, так сказать, достоянием общества.

Николас, вы отметили, что это явление – неожиданное сотрудничество литературы с философией – уже однажды имело место в эпоху Просвещения. И мне показалось, что есть способ связать эти два исторических феномена. Экзистенциализм, как, собственно, и Просвещение, не смог открыть новую эпоху, но, может быть, ему удалось подвести черту под новым «мрачным средневековьем».

Просвещение не касалось культуры или искусства напрямую. Оно формировало общественные структуры, способные обеспечить культуре равные возможности.

Этот процесс образования механизмов, призванных наделить культуру необходимыми правами, был прерван в XIX веке индустриальной революцией, соблаздившей человечество благополучием. Она победила, и её торжество продолжается по сей день.

Восторжествовала буржуазная идея опекаемого, управляемого и воспитываемого человека, которая противоположна свободе самостоятельного мышления, тому «бодрствующему состоянию», которое обеспечивает культура. Оно, помимо прочего, предполагает метафизическое одиночество перед лицом нашего назначения, в выполнении которого уже никто не может нам помочь. Но это – отдельная тема.

Властвующей сейчас идеологии необходимо ограничить и подавить «бодрствующее сознание», потому что оно не позволит свободного, бесконтрольного развития капиталистического производства. Разумная критика этой системы, которая раздаётся в последнее время – это и есть отдельные проявления бодрствующего сознания. Но она разрознена. Каждый новый аргумент возникает как бы ниоткуда, выглядит частным мнением, приписывается в результате одной из множества уже существующих теорий и, поскольку ни одна из них не совершенна, утопает в поверхностной полемике.

А решающим в этой полемике являются не доводы властвующей стороны – они несколько не сильнее. Её торжество определяется весомым присутствием в общественном сознании единого самостоятельного корпуса идей и представлений, утвердившейся в XIX веке буржуазной идеологии под названием Капитализм. Её повсеместность и авторитет являются той неназванной, но признанной силой, сопоставимой по воздействию с религиозной идеей, которая без труда разделяется с любым сопротивлением, поскольку за ним такого авторитета нет. Подчиняющая мир агрессия этой идеологии такова, что она ухитрилась обзавестись целыми тремя всемирными центрами экономики, финансов и торговли. Назовите мне международный центр Культуры, хотя бы один.

За сопротивлением тоже стоит определённая сила, но никто о ней не слышал – она не присутствует в сознании с такой же очевидностью, как всем известный Капитализм. Имя этой силы – культура. Потенциальной мощью своей она во много раз превосходит полемические возможности идеологии. Этим объясняется её устойчивое присутствие.

Несколько раз в истории культура совершала попытки овладеть сознанием человечества, но каждый раз выступала под именем лишь одной из своих составляющих. Во времена классической греческой цивилизации она называла себя философией; затем, на рубеже тысячелетий – религией; позднее, в период Возрождения – искусством. Но ей так и не удалось укрепиться в общем сознании в своём полном значении – как единственная опора в процессе рождения человечества. Она лишь продолжает терпеливо свидетельствовать о своём праве на участие в мировом процессе.

Если согласиться с гипотезой о крайнем истощении влияния культуры, о котором заявил экзистенциализм, и принять во внимание инструменты социальной организации общества, дарованные человечеству Просвещением, но остающиеся неиспользованными, можно предположить, что пора культуре назвать себя полным именем и вернуть себе соответствующее и необходимое место в историческом процессе.

Сложность в том, что её элементы обладают неравноценными возможностями в широком овладении сознанием. Философия требует сильно развитого мышления, значительно превосходящего средний уровень. Религия опирается на такую эфемерную способность, как вера. Наука нуждается в значительных исходных знаниях и, как правило, очень специализирована. Но искусство, по природе своей, всегда остаётся широко доступным для каждого. До поры до времени этот доступ могла ограничивать разобщённость. Торжество искусства эпохи Возрождения, оставив впечатляющий след в

истории культуры, не сумело удержаться в качестве определяющей эволюционной силы, может быть только потому, что не было распространено на всё население Земли.

Таких ограничений больше не существует. Отныне у искусства нет пространственных преград. Но соперничая с другими силами исторического процесса – экономическими, социальными и идеологическими – оно не располагает оружием. В его системе ценностей отсутствует понятие «победы». Как у Добра нет причин или оснований, так и искусство не предполагает выгоды, интереса или пользы и не может конкурировать с экономикой или идеологией, которые всегда обслуживают чьи-то интересы. Искусство нуждается в защите.

Вы вправе ожидать, чтобы я предложил какие-то определённые способы такой защиты. Эта задача превышает мои знания и умения. Но я всё же попробую сделать хотя бы ещё несколько шагов в этом направлении.

Искусство нельзя стимулировать или поощрять, как таковое. Но можно обуздать силы, которые препятствуют его естественному развитию и распространению – бьют лежащего, так сказать. Выровнять игровую площадку. Не только с помощью меценатства или государственных субсидий, но, например, ограничивая экономические преимущества остальных влиятельных сил.

Искусство вполне способно соперничать с идеологией прагматизма, и больше всего терпит ущерб от вынужденного соперничества с популярными зрелищами и развлечениями, которые попали в сферу влияния пользы, выгоды и интереса. Их шум не только заглушает голос подлинного творчества, но вводит в заблуждение, поскольку эти зрелища, без всяких оснований узурпируют имя искусства. В основе их, как правило, лежат коммерческие интересы, в немалой степени определяющиеся рекламой. Возможно, эту связь следует разорвать, не ограничивая право на существование ни того, ни другого, предоставив зрелища – зрелищам, а рекламу – рекламе: хотите зарабатывать на зрелищах – это ваше право. Но исключите из механизма прибыли рекламу других товаров. Полагаю, что число желающих обогащаться собственно производством зрелищ сильно сократится. Участие так называемых «звёзд» в рекламной индустрии, в соответствии с правами личности, вероятно следует оставить на усмотрение самих звёзд. При растущем присутствии подлинного искусства, их самооценка может подвергнуться существенному пересмотру.

И, конечно же, следует по крайней мере уравнивать субсидии, предоставляемые индустриальному производству, с субсидиями на культуру. Ни заставить, ни даже поощрить людей обратиться к искусству нельзя. Но можно избавить их от лишнего, отвлекающего шума. Ещё раз оговорюсь: я тут берусь не за своё дело, и, вполне возможно, предлагаю глупости. Но какие-то шаги необходимы, и кому-то из вас предстоит их совершить.

Николас не мог сообразить, сколько времени заняла речь. Казалось, что она длилась долго, но вполне вероятно, что это были всего лишь те считанные восемь минут, о которых писал Рид. Трудно было представить себе, чем следовало бы разрешиться тишине, последовавшей за монологом. Её правомерную, хотя и неловкую тяжесть без труда приподняла Патриша Холман, наградив философа мягким аплодисментом. Её примеру последовали и остальные.

- Сасибо, спасибо, - бормотал профессор Нортон, - Может быть я заработал и чашку кофе?

- Я сделаю, - отозвалась Кейси, которая вместе с братом не отрывала глаз от Бенджамена в течение всего монолога. – Кто-нибудь ещё хочет кофе? Или чаю?

- Завари чаю, девочка, - попросила Джулия, - И посмотри, как там наше печенье.

- Бенджи, вот этот человек, который ещё не человек, но сам этого не знает, - вернулся к разговору Эндрю МакГрат, – Вы считаете, что есть какой-то способ ему на это намекнуть? Ему ведь не понравится услышать, что он ещё не родился. И его естественной и справедливой реакцией будет: «А в чём преимущество «второго рождения»? Чем ты лучше меня? Какими достоинствами отличаешься?». Ну слепота, да. Слепота того, кого Ницше называл «полом человеком». Но назвать его слепым – значит ещё дальше оттолкнуть от возможности хоть что-то увидеть. Выглядит, как безнадёжная затея.

- Называть так, я думаю, никого и нельзя. «Полый человек» – это абстракция, фигура речи. Ни один из нас не может с уверенностью сказать, что находится в состоянии бодрствования. И все мы, в большей или меньшей степени можем лишь к нему стремиться. Свидетельством его могут быть только наши действия, не поучения. Если вам пришла в голову концепция, включающая представление о «полом человеке», можно лишь в меру своих возможностей стараться обеспечить всем как можно более благоприятные условия. Иногда бывает достаточно обдуманного правила и уважительного следования им. В цивилизованном вечернем Берлине, группа туристов решила облегчиться в городском парке после обильных пивных возлияний. Один из них, обернувшись увидел стоявшего за его спиной шутмана. Тот поднял руку в успокаивающем жесте и сказал: “Bitter, bitter”. Но по совершении непотребства, жест изменился на требовательный и последовало распоряжение: “Eine mark”.

- Вот я и говорю, - продолжал настаивать Энди, - Значит, прямое общение невозможно – линии коммуникации отсутствуют.

- Так и есть. Это ведь довольно сложная концепция. Вы подумайте, сколько времени и умственных усилий было потрачено, чтобы к ней прийти. Но если вы хотите убедиться, что такое положение естественно и не противоречит природе Бытия, нам придётся всё-таки вернуться к тому, с чего начал профессор Гатов – к новой трагедии. И к проблеме метафизического одиночества. Хорошо, давайте попробуем обойтись без предварительного курса, который так убедительно излагает Николас в своих семинарах. Я упоминал о вопросах, встающих перед каждым на пороге «бодрствующего состояния». Последний из них – «Стоит ли?» – мне кажется, связан и с тем, о чём вы говорите, Энди. Ко всему уже сказанному можно прибавить, что состоянию «бодрствующего сознания» свойственна жертвенность, которую можно сравнить с судьбой трагического героя. Может быть, даже его обречённость. И в этом выражается трагическая коллизия современного человека. Первым представлением о трагедии был неумолимый Рок. В искусстве, у греков, оно приобрело форму ожившего мифа. Вторым стала личная судьба, как осознанное действие в рамках трагической коллизии – его нам продемонстрировал Гамлет. Он ведь тоже не пробовал никому ничего объяснять. Максимум того, на что он решился, это пьеску показать. Третье представление – наша общая судьба. Предощущение действий в рамках мировой трагической коллизии. Исходной точкой этого мирового сюжета можно наверно считать Распятие – как напоминание о всеобщем долге становления или Второго рождения. Что следует делать – и стоит ли – каждый решает сам. Сейчас, например, на мой скромный взгляд, культура готова требовательно заявить о своих правах. Не посягая ни на чьи чужие, отказаться служить мальчишкой для битвы, никчёмным привеском цивилизации. Убедить, что кроме пользы, к которой она не имеет отношения, есть в мироздании ценности, столь же, если не более необходимые человеку.

Но убедить не объяснением, то есть – прямым общением, которое, увы, невозможно, а действием, соответствующей организацией общественного бытия.

- Вот видишь, Ник, - вставил, наконец своё слово Маркус, до сих пор проявлявший несвойственное ему терпение, - А ты говоришь «холодный саапозжник», частный фермер. Сам, мол, за себя постоит. Тут, можно сказать, речь идёт о культурной революции.

- Ну, это вы несерьёзно, - усмехнулся Нортон, - Это чепуха, оксюморон. Революция не может быть культурной. А культура не предполагает ничего революционного, разрушительного. В её основе – взращивание, непрерывное развитие. Как вы помните, так называемая «культурная революция» в Китае, например, была прежде всего направлена на уничтожение культуры, исторических памятников и на преследование интеллигенции. Назвать её культурной могла только безграмотность, которая так свойственна любой идеологии. Может лучше вообще избегать программных заявлений. А уж если как-то определять направление, можно в случае крайней необходимости говорить о реформации, новом способе восприятия действительности. Ну, всё. Давайте отдохнём. Вот вам для развлечения совсем свежий символ: Принцип взлетевшего ящера. Трагический катарсис служил вспышкой в темноте, освещающей на мгновение рельефы истинного Бытия. Новый способ восприятия мира – способность, например, непосредственно воспринимать двойственность, видение в темноте.

Хорошо бы, чтобы здесь оказались и Дэвид Бернс, и Франциск Первый, и Рик Шульц из Лордсвиля. А может быть и все студенты их двух семинаров – вообще как можно больше слушателей. Но всё это вполне могло быть впереди, и в некотором смысле зависело от всех присутствующих. Можно было вообразить, что здесь незримым образом присутствует и Мэлвин, хотя теперь он услышал бы лишь нечто, знание о чём он, надо надеяться, наконец обрёл.

- Марк, я беру свои слова назад, - сказал вдруг Николас, поднимая рюмку. – Твоё предложение о путешествии на Бермуды, идея хорошая. Но у меня есть к ней добавление. Что если мы возьмёмся заложить нечто вроде международной академии. Академии Мэлвина Рида, - поймав испуганный взгляд Джулии, он улыбнулся ей ободряюще, - И плавание твоё используем, чтобы всё это обдумать. Вы понимаете, о какой академии пойдёт речь – о практической, где все вы будете необходимы. И новое поколение на подходе.

«Искомый выход для Франциска, - продолжал он размышлять уже молча, - который непременно должен будет присоединиться. Издание Академии, при участии Святейшего Престола».

- Молчи, дурак! – Елена крепко стукнула по плечу мужа, который весь трепетал, готовый выпалить какую-то восторженную тираду.

- Вот именно. Береги силы. Тебе, как одарённому и богатому организатору придётся возглавить всё предприятие.

- Странная мысль, - медленно проговорил Эндрю МакГрат. – Не хочу сказать, что слабая, но не очень схватываю смысл.

- Мне самому он не так уж ясен. Но почему бы не существовать какому-то центру, фокусу, куда могли бы собираться полезные идеи. Он оказался бы вне популярных влияний, а с другой стороны – смог бы сосредоточить в себе представление о культуре, стать тем символом, о котором печётся профессор Нортон, и координировать общие

усилия по её защите. Что-то вроде средневекового монастыря, saņ монахи, - Ник взглянул на Патришу.

- А почему имени Мэлвина? – спросила Пат, - Он безусловно достоин, я уверена, но есть тут ещё какое-то особое значение?

- Есть. Может быть я сумею вам об этом рассказать. В открытом море.

- Придётся поспешить, - заметил Эндрю, - а то не выпустят. Или обратно не пустят.

«Вот и хорошо, - думал Ник, - там, на волнах не услышишь ни скрежета, ни визга.

Движение никогда не останавливается, и ты не сможешь с определённой сказать, находишься ли ты ещё в пейзаже или уж изъят из него.

- Да будет вам, Энди, - сказал он, - вы ломитесь в открытые двери. Никому неохота их запирасть.

- Я знаю. Но хорошо бы все додумали эту идею до конца. Хотя бы в своём воображении. Может, образумятся, придут в себя.

Николас извинился. Покинув всех, он вышел на балкон и зажѐг сигарету. Через минуту рядом с ним возникла Джулия.

- Ты сошёл с ума! Столько шума опять поднимется. А ты у нас такой бестелесный, хрупкий... Не рассыплешься?

- Не знаю. Я, было, зарѐкся общественными делами заниматься... Но будь оно всё проклято! Если осталось ещё несколько лет, лучше перестать о себе думать. Может и не заметишь, как они истекут.

Оставшиеся за столом сговаривались, как заставить Николаса рассказать о римском путешествии. О поездке Джулии никто не знал.

- Джин, - тихо позвала брата появившаяся в дверях девочка, - иди – поможешь мне.

Дом.

«Бог благословляет сердца, которые, как он предполагает, бьются, и обнимает в своей бесконечной нежности те из них, которые не знают, бьются они или нет».

Эмили Дикинсон

- Так где ты находишься?
- Здесь.
- Нет, не то, что ты сознаёшь как своё я, и что мне отвечает. А тот кого ты привык называть собой, кто выполняет твои обязанности, и кого другие плохо различают. Как можно определить – где он находится?
- Никак нельзя определить. Нигде.
- Вот видишь.
- Разве это не одно лицо?
- Лицо одно, но потерявшее способность проецировать своё обличие в окружающий мир.
- Как это возможно?
- Это ты мне скажи, как это тебе удалось.
- Может быть, так было всегда.
- Ты бы не с ней не встретился.
- Наверно я не хочу себя проецировать.
- Это другое дело.

Находишься ты там, у сожжённого гнезда на Финикийских полях. Терпеливо ждешь, чтобы восстать из пепла вместе со своей Жар-птицей. Это будет новый пейзаж – там тебе найдётся место. И там будет твой дом.

Содержание

	Пейзаж.	1
1.	Разрыв.	2
2.	Дружеское назидание и другая педагогика.	5
3.	Власть.	12
4.	Déjà Vu	16
5.	Пора.	21
6.	Какая она – литература?	27
7.	Божий город.	30
8.	Один. Тени разума.	36
9.	Как мы читаем.	45
10.	Скрытые возможности.	49
11.	Монолог.	54
12.	Беда в датской державе.	65
13.	Редкие собеседники.	73
14.	И трудные соотечественники.	78
15.	Учимся у детей.	82
16.	Такая женщина.	89
17.	Невозможное задание.	93
18.	Звери, святые и прочие отдельные особи.	98
19.	О сыре и Моисее.	108
20.	Тот, с кем можно молчать.	111
21.	Кому следует беспокоиться?	117
22.	Близость	122
23.	Зверей в вольере много.	125
24.	Дети взрослеют.	128
25.	Микроб глухоты.	134
26.	Частные тюрьмы и мнимые враги.	138
27.	Нас покидающие.	142
28.	Время отдыхать и время работать.	150
29.	Пока живёшь.	156
	Дом.	166